ЛЕВ МОРОК

Книга вторая

Конец Истории

Лев Морок

На флажке

Книга вторая

Конец истории

Все герои вымышлены, и только маньяки настоящие.
Автор

...мы на роли героев вводили себя.
Владимир Высоцкий

Пролог эпилога

…Вместо грохота выстрела всего лишь натужно скрипнула пружина спускового механизма. Но старые добрые «Три слона», даже не досанкционные, а те, самые первые, настоящие, всё ж не подвели.

Меньше, чем за мгновение до того, как на нём сошлись пунктиры пути птичьей стаи, выверты её мурмураций, трансформировавшихся с такой скоростью, что Игорь просто не улавливал новые очертания, зонт раскрылся. Изначально добротная и непромокаемая ткань, износившая за минувшие годы под ветрами и дождями, конечно же, не выдержала такого натиска. И меж спиц в прямом смысле проклюнулись две или три чёрные головки. Пробив зонт, они так и застряли в нём, трепыхаясь и пытаясь разевать клювы.

Но дыр было куда больше — чёрный зонт светился как решето. Сиял дырами, словно купол планетария звёздами. Ведь каждый клюв, вонзившийся в ткань, оставил свою отметину. Чаще рваной раной. Словно туманностью на звёздном небе. Но были и аккуратные дырочки. Когда птицы, ткнувшись в зонтик, пробивали его насквозь, но не застревали и молниеносно уносились прочь. Эти по себе оставляли отдельные звёзды. Или планетарные системы. Если рядом втыкались в зонт две-три птицы. А они втыкались. И даже порой по четыре за раз.

Ещё больше обезумевших птах, галки, как понял Гребнев, разглядев своих пленниц, застрявших в куполе зонта, просто скользнули по ткани, обтекая и зонт, и его самого, укрывшегося под «слонами». Скользнули, и

унеслись в небо. Чтоб опять спикировать на беззащитную фигуру на пустынной улице. И пикировали вновь и вновь. Как только хвост мурмурации полностью миновал цель. И тогда на неё вновь заходила та часть, что была вроде как головой. Хотя в полёте все эти хвосты и головы многократно менялись местами. И если кто и остался на своих, то это были Игорь, посреди улицы, и те три птахи, что не смогли выбраться из ткани зонта.

Но только один в поле не понял.

Воином-то он не был абсолютно точно. А теперь ещё и не понял.

Не понял, чем прогневил вселенную, что она на него так ополчилась.

Да, гнев всякого рода то ли прислужников власти, то ли ещё кого-то — за время своих мытарств и приключений он так и не разобрался в сущности преследователей, был понятен. Вполне. Ведь он посягнул на их единоличное право ходить по межвременным струнам. Если они ходили. Он-то ходил. И это, ибо ничего другого на ум не приходило, кому-то мешало. И этот кто-то за это объявил ему войну. Да так объявил, что Игорю небо с овчинку показалось.

Но, как говорил всё тот же Николай Фоменко, пригвоздивший его с непониманием, «Мне чужого не надо, поэтому и продаю!». Уж не за это ли ему перепадало? Ведь Гребнев, по сути, торговал своим навыком. Ну как торговал. Чаще безвозмездно отдавал, не надеясь даже на спасибо…

Бывал ведь он не столько в отдалённых местах, сколько в иных временах. И порой мешал обычному ходу истории. Вроде как на пользу людям старался. Но… Люди — твари неблагодарные, им сколько ни дай, всё мало. А чем больше даёшь, тем больше требуют, возводя в обязанность то, что делалось от щедрости души, по доброй воле.

Так что, занятий своих не оставив, Гребнев в какой-то момент всё ж и пыл поумерил, и людскими интересами стал не то чтоб пренебрегать — меньше на них ориентироваться. Поэтому его вмешательство в историю сделалось минимальным. Он даже так и не довёл до конца дело своего первого знакомца из иных времён — Якушева. Хотя тот фактически и признался в убийствах, но искать доказательства для последующей их передачи куда следует Игорь не стал. Не в силу какого-то доброго отношения к Якову, который и без того судьбой был не жалован. Да ещё и Гребнева едва не сдал в последний его визит. Точнее сдал, но не выгорело у тех, кто за Игорем пришёл. Так что вроде как и следовало бы вывести подлеца на чистую воду. Но…

Чудес на свете не бывает. Да, случаются рождественские сказки. А вот чудеса — нет. Одна такая сказка как раз и случилась, когда в канун рождественской ночи Игоря почти что убили. Если бы не табакерка из иного времени.

Через два дня, пришедшихся на выходные, морщась от боли в сломанных рёбрах, Гребнев узнал от Ольги, вышедшей на службу после болезни, что ещё до начала рабочего дня в приёмной с заявлением об увольнении появилась его несостоявшаяся любовница и убийца. Катерина Шевелюха, с заплывшими от синяков глазами, что не скрывали даже тёмные очки, уже сами по себе странные для пасмурного декабрьского утра, прошла в кабинет министра не раздеваясь. Прошла, не обращая внимания на Ольгу, пытавшуюся её остановить, но немного запоздавшую с рывком из-за огромного стола, занимавшего изрядную часть приёмной министра. Но сам министр лишь гневно зыркнул на секретаршу, растерянно заглянувшую в распахнутую дверь кабинета. И мигом подмахнул заявление. Молча.

— Так что зря ты, Николаич, за неё заступался, бросила она работу. — В министерстве все знали, что, не вмешайся Гребнев на последней аттестации, не видать недалёкой по уровню знаний Шевелюхе прибавки к жалованью. У неё только и было что молодость да умение нравиться мужикам. Вот и попался Гребнев на удочку, судачили министерские кумушки. — Ушла она, — резюмировала Ольга. — Без скандала, но с форсом. Даже добавкой к окладу не прельстилась. Неблагодарной оказалась. И поведение… Ну, скажи, где ты видел женщин с разбитым носом и синяками под глазами утром в понедельник? И когда? — Игорь дёрнул кадыком, но не стал говорить, что видел. И совсем недавно. Ольга даже не заметила наметившейся паузы. — А она? Перед самым новым годом! Ладно после, бывает, но до праздника…

Перекладывая бумажки на столе, Ольга по старой дружбе выложила Игорю новости, удивительные для начала последней рабочей недели перед новым годом. И министр явился в несусветную рань, и Шевелюха с фонарями под глазами, и уволилась она… Но и это было ещё не всё:

— Ты бы тоже свои дела в порядок привёл. — Ольга скорбным взором прошлась по Гребневу. — Сегодня как взбесились все. Кадры на месте. Бухгалтерия на месте. И министр сам кабинет отпирал. Мало того, что Катюху уволил, так то она сама напросилась, заявление накатала, прямо тут. Так что он злой, и уже всем сестрам по указанию роздал. Но и ты, Николаич, прощавай. Приказ о твоём выходе на пенсию подготовлен, премию с благодарностью и грамотой выписали. Можешь собирать манатки. Тебе ж исполнилось намедни шестьдесят? Вот, получи и распишись.

Эта новость оглоушила Гребнева едва ли не сильнее, чем выстрел Катерины. Хотя он и подумывал завязывать со своей гражданской службой. Но не так же…

Что ж это значит? Прощайте поездки в прошлое? Ну так это вряд ли, наоборот, времени свободного только прибавится. И уставать он не так будет. Хотя кто его знает, может, с увольнением дорожка-то и закроется. Ведь неясно, с чего она вдруг открылась, как действует и насколько её хватит. И почему она забрасывала его именно туда, где он оказывался. Всякий раз в случайном времени и месте, без какой бы то ни было системы.

— Спасибо, что предупредила. С меня причитается, — Гребнев не стал углубляться в рассуждения о предстоящем увольнении. Точнее, выходе на пенсию. Он и так уже был пенсионером. Военным. Теперь же становился обычным пенсом. Но на вполне законных основаниях. И, что немаловажно, во второй раз. Какая-никакая, а прибавка к выходному пособию. Жаль только, что одноразовая.

— Да ладно, это с меня причитается. Спасибо тебе, Николаич, пристроил к месту, ни разу не попрекнул, что ушла, когда тебе не просто было. Да ещё и помогал по мере сил. Так что на твои проводы приду с бутылкой. Если позовёшь.

— Считай, уже позвал. А когда всё случится? В смысле, официально…

— Ну так сегодня и случится, не будет же министр до нового года откладывать старые дела. Иди, готовься. Тебя вызовут.

— И кто же? Сам, что ли? Наталия-то в тюрьме баланду хлебает, другие замы не при делах, так, только щёки надувать…

— Не скажи. Отстал ты за выходные от жизни. Выпустили Благоеву. Будет сегодня к десяти наша Наталия.

Звонила уже. И тебя аккурат к тому времени призовут. На дембель.

— На дембель выходят, а не призывают, — Игорь постарался не показать виду, что второй новостью — о возвращении проворовавшейся и посаженной в кутузку Наталии Благоевой — поражён куда больше, чем своим предстоящим увольнением. Хотя чему удивляться, в стране, где воровство возведено в достоинство, чуть ли не в дворянский титул, только такие и выживают.

— Иди уж, грамотей. Твой ум никому здесь более не нужен, — в унисон его мыслям отозвалась Ольга. — Здесь нужны преданные. Те, кого можно предать. И кто сам предаст. Случись такая оказия. Но с такими проще, чем с умными. Так что, Николаич, не обессудь. Не ко двору оказался ты, а не Наталия. Там, как я знаю, подрядчик вину взял на себя…

— Кто бы сомневался, — Игорь перегнулся через стол и чмокнул Ольгу в щёку. И как она только умудрялась всё знать и в голове держать? Ведь была же на больничном. А вот поди ж ты, осведомлена куда лучше, чем Игорь. Пусть и был он недострелённым в те же дни. — Бог с ними со всеми. Но лично тебе спасибо. За всё. Эх, будь я помоложе…

— Ты и сейчас вполне себе, — Ольга не отстранилась, и ответила таким же дружеским поцелуем. — Но упустили мы момент, Николаич. Теперь уж и не стоит начинать…

Ольга, как всегда, была прямолинейна и честна. И права — начинать не стоило. Особенно сейчас. Это Гребнев, как уходящая фигура, должен был прежде всего сообразить — не стоит женщину подводить под монастырь порочащей связью с уходящей натурой. Тем более будучи не в состоянии хоть что-то предложить. Помимо поцелуя. Да и то всего лишь дружеского.

Так закончился первый акт сказки. Второй финишировал перед самым новым годом. Буквально накануне. Утром тридцатого. Когда, едва сменившись с дежурства, Марина заскочила на квартиру к нему, уже вторые сутки как безработному пенсионеру, и сообщила, что уезжает. Домой, в Ярославль.

Уехала она, не дожидаясь вечера, уехала на своей машине, пока пробки окончательно ещё не сковали город. Уехала, и вернуться не обещала. Наоборот, ей вроде как и должность в родном городе уже предложили. Может, и менее оплачиваемую, с учётом всех её московских подработок, но зато без бесконечных дежурств на скорой и несчётных смен в медицинском центре. В общем, если уж потери, то только во всём и сразу.

Ничего удивительного в том не было. Он-то ведь так и не удосужился даже расспросить свою новую подружку о её житьё-бытьё. Вначале приходил в себя после выстрела в упор, потом зализывал раны. Вначале телесные, затем и душевные. А после и вовсе был не только выбит из колеи, но и из деловой жизни. И на что он рассчитывал? Сам ведь хотел таких — абсолютно свободных — отношений. Вот Марина и ушла. А он получил свободу. Полную. Так что не только сказки скоро сказываются. Порой и жизнь летит стремглав.

В одиночестве — младшая дочка только позвонила поздравить с новым годом, старшая и до того не снизошла, Игорь, не дожидаясь боя курантов, выпил пару порций вискарика, и завалился спать. Опустошённый, он поутру, задолго до рассвета, памятуя о своём опыте поездки в прошлое на самой ранней электричке, выбрался на станцию, поболтался на платформе в маетном ожидании и…

И ничего не случилось. Напрасно Гребнев переходил из вагона в вагон, туда и обратно. Электричка была вполне себе обыкновенной. И пустой — мало у кого было

желание после новогодней ночи ехать куда-то. Гребнев тоже не был исключением. Желания ехать у него не было. Но был мендокусай. Так, одним словом, японцы описывают довольно сложное явление, когда не хочется что-то делать, но делать надо, потому как иначе никак.

Вот Игорь и поехал. Хотя эта поездка и была ему сто лет не нужна. Но ведь его могли ждать неприятности, а он не любил заставлять себя ждать. Так что — да здравствует мендокусай!

Увы, даже с мендокусаем ничего не срослось. И он вернулся домой. Вздремнул. Пообедал салатами, приготовленными к новогоднему столу, за которым оказался в гордом одиночестве. И теперь нужно было доедать всё, что он наготовил. Впрочем, у него это давняя и обычная новогодняя традиция. Независимо от числа участников застолья. Другая же традиция — к вечеру первого дня нового года выбраться на улицу.

Игорь уже малость нарушил традиционный ход. Но, учитывая, что первый выход не задался, решил повторить. И вновь отправился на станцию. Рассчитав время поездки в центр, он собирался проехаться обратно на электричке в восемнадцать ноль две.

Увы, в расписании таковой больше не значилось. А на электричку, отправившуюся в семнадцать пятьдесят пять он опоздал. По неведению. Не учёл, что с нового года новое расписание. Которое обычно менялось с переходом на летний сезон. А тут железнодорожники внезапно решили подвязать перемены к новому году. Тоже мне, последователи Петра Великого…

Но, как бы то ни было, чудеса закончились. И сказка тоже.

Привалившись лбом к стеклу, Игорь, которому уже даже мысленно было вроде как не положено к себе так обращаться, всё-таки солидный человек, пенсионер, пялился

в темноту, угадывая за огоньками улицы и дорожные развязки города. Этот пейзаж Гребнев знал едва ли не наизусть. Столько раз мимо проезжал за минувшие годы…

Вот и пересечение с МЦК. За ним сейчас мелькнёт стройка таможенного терминала. Грачёвка. А там уже и до Ховрино рукой подать.

Всё так. Но внезапно за стеклом и без того тусклый свет строек и промзон разом померк. И под окном покатилась назад едва освещённая единственным фонарём платформа. Её название своим оформлением как-то выбивалось из общего стиля. Да и не читалось в такой темноте.

Минута, и позади осталось уже и станционное здание. Перед которым застыла в напряжённом ожидании немного скособоченная фигура.

Гребнев встрепенулся. И тут же вскочил на ноги, рванул на выход, обратив на себя внимание парочки пассажиров, о чём-то пьяно спорящих. Не удивительно, новый год. Не то удивительно, что спорят, а то, что не сильно пьяные. И не шибко шумят. Только покосились на пронёсшегося мимо Игоря.

Но он опоздал.

Поезд уже проследовал станцию без остановки. Потому что, видать, некому было сходить. В тамбуре, куда он запоздало сунулся, было пусто. И чего бы там быть кому-то, если и в вагоне кроме него были лишь те двое мужиков, что проводили его недоуменными взглядами. Но Игорь уже не сомневался.

Поезд пришёл по назначению. Опять в прошлое. Ещё не ясно когда. Однако узнаваемо куда. Лигово. Хотя это и не имело особого значения. Главное, что узкая тропинка вне времени оказалась на месте. Если и в стороне, то совсем чуть-чуть. Однако не настолько, чтоб промахнуться. А значит…

Часть первая

«Не настолько же я и ничтожен для вечности, раз было столько попыток меня убрать. Или хотя бы устранить. Пусть только и на время».

Письмена хоть и не вспыхнули перед глазами, но отчётливо прозвучали миленьким голосом Катюши. «Мене, мене, текел, уфарсин». И следом — грохот выстрела.

Там, куда ударила пуля, задержанная серебряной табакеркой, привычно саднило. И сломанные рёбра напоминали о себе тягучей болью. Фантомной. Но он был жив. Всё ещё.

И то ладно, под лежачий камень всегда успеется. Игорь, отгоняя наваждение, потянулся, разминая занемевшие плечи. По мышцам приятно заструилась живительная сила. Ну, или просто сила. Которой он давно не ощущал в своём стареющем теле. Так то в стареющем.

Сейчас у него было тело едва ли сорокалетнего. Да и ему самому было не более сорока. Тридцать с лишним, если быть точным. Все годы свыше оказались лишними. И исчезли без следа. А вот жизненный опыт, знания и навыки никуда не делись. И только мир, в котором он их приобрёл, не только померк, но и растворился. В прошлом ли, которого уже нет. В будущем, которое ещё не наступило. А может ещё где-то. Но привычного ему мира было. Был такой же, но не тот.

И Гребнев был не тот. Он был почти юн — что такое для мужчины тридцать с хвостиком? Здоров. Крепок. Силён. Но мудр — не по годам. Вот бы всё это ему там, в мире, где прошли шесть десятилетий его жизни! Но он был в ином мире. В котором очутился почти случайно. Хотя и осознанно шёл к этому. А очутился — случайно.

Что-то испортилось в отлаженном механизме, который раз за разом отправлял его в прошлое. Но возвращал порой через какое-то невнятное будущее. Которого он почти не видел за стёклами вагона. Однако понимал, что там иные годы, в которых он ещё не жил. И будет ли жить… Как знать. Только сойдя с поезда можно было понять. Но электричка останавливалась либо в прошлом, либо в его Ховрино.

1

…Ещё не выйдя из вагона — в таких ему прежде не доводилось ездить, Гребнев похвалил себя за предусмотрительность. Перед поездкой он дома с антресолей над дверью в кухню вытащил из древнего, ещё лейтенантского его чемодана старую куртку. Бушлат почти что. Сохранившийся не столько как память о флоте, а как удобная вещь для гаража — снег там почистить, мусор вынести. Хотя и не было уже давно ни машины, ни гаража, но дафлкот сохранился. Разве что мех с воротника-капюшона давно повытерся. Фуражка с шитыми серебром листьями по козырьку и такой же кокардой была не в пример новее. Её белый верх был хорош летом, для которого она и была куплена. Но и с капюшоном смотрелась вполне себе. Ни дать, ни взять — моряк с иностранного судна. Середины прошлого века. Если не ранее. А что до холодов… Так Игорь ещё с юности привык форсить в фуражке в любые морозы, и только из-за объявления по гарнизону формы номер пять вынужденно напяливал шапку. И, раз пошла такая пьянка, натягивая её поглубже на уши, первыми реагировавшими на минусовые температуры.

Этот же зимний день морозов не обещал. По крайней мере, свирепых. Так что, оглядев в поисках соглядатаев свой вагон, он шагнул в соседний, отставший, как оказалось, на полвека. Если не более.

Уже на переходной площадке его обдало горячим дымом. Даже несколько крупинок сажи упали на лицо. Одна показалась раскалённой. И он машинально отмахнулся. Но только поднял мутную пургу вокруг глаз. А сажи лишь прибавилось. Этого ещё не хватало — запорошить глаза и сослепу сверзиться под колёса поезда…

Гребнев поспешно вошёл в тамбур, рукой в кожаной перчатке захлопнул дверь за собой. Словно отрекаясь от прежнего мира. Не только своего, но и уже виденного прежде. Ведь и вагон был совсем не такой, как всегда. Он это понял, даже не заходя в салон, отгороженный от тамбура двустворчатой раздвижной дверью, которую по центру надвое делил стояк. Сквозь неплотно прикрытую одну из половинок двери в тамбур тянуло табачным дымом. Или махорочным — горло от запаха драло немилосердно. И это ещё и минуты не прошло, как Игорь здесь оказался. А в салоне дым и вовсе висел коромыслом. И народу было для вечернего пригородного поезда изрядно — фабричный и служивый люд по домам спешил. Вот только из какого года были все эти люди?

На фоне фуфаек, вытертых едва ли не до дыр шинелей и комиссарских кожанок, засаленных полушубков и бекеш дафлкот Гребнева не особо выделялся. Пальто на вате с отложным воротником было разве что у двух-трёх представительных мужчин, удобно устроившихся у самой пепельницы, литой, округлой, подвешенной под окном. У женщин, совслужащих, или как там их звали после того, как они добились равноправия и потому теперь стояли в проходе между лавками, — длинные, почти до щиколоток, слегка приталенные пальто. У самой двери маячила дамочка в жакете из плотного шерстяного сукна. Ну так она одна такая модная была. Такой же одинокой была и комиссарская кожанка на выдающейся женской груди, на которую своими куцыми хвостиками отбрасывала тень

алая косынка. Судя же по обилию сдвинутых набок асимметричных фетровых шляпок без полей и беретов всех возможных фасонов — самое начало тридцатых. А вот мехов не наблюдалось. Или дамы типа Эллочки-людоедки не ездили в пригород вечерами?

Эту моду Гребнев не то чтоб знал, но помнил по фильмам. Мужчины своим внешним видом только подтверждали примерную датировку. Многие донашивали старую военную форму, проглядывающую из-под верхней одежды: гимнастёрки с широкими кожаными ремнями, косоворотки и холщовые толстовки, порой полосатые пиджаки и оливковые френчи. Конец НЭПа? Или он уже умер?

Выяснять, так ли это, Игорь не стал. Напоследок бросив быстрый взгляд на обшитый досками тамбур, выкрашенный до пояса суриком, а выше чем-то ядовито-зелёным, он сошёл, не дожидаясь Лигово. Как только огни Москвы померкли, и из темноты показалась платформа. Дачное, видать, если память не подводит. Его и тут могли ждать, но в Лигово-то однозначно встречал бы Яков. Разве только что прибывал Игорь ещё до его назначения. Всё-таки одежда пассажиров указывала на то, что большая война ещё впереди. Да и сам состав был больно уж старым. Начиная с паровоза и заканчивая окраской вагона. Или это казалось ему потому, что больно не нравился дым, забивавшийся в тамбур сквозь разбитое стекло? Но тягато паровозная, к гадалке не ходи, и вагон действительно древний. Обычный пригородный, а не моторвагонная секция. Хотя и было время, когда в пригородном сообщении ходили секции из трёх вагонов, одного моторного и двух вот таких, пригородных. Но всё равно без паровоза, плюющегося дымом в окно тамбура. А выехал-то он на электричке. И прибывал всегда в ней же. Прежде. Но время отправления изменилось. Да он и сам изменился, пенсом

стал. Настоящим пенсионером, а не по флотской выслуге. Так что возможно было всё. В смысле перемен. Главное, что он уже в прошлом. А в каком — разберётся. Если не подставится прежде. Поэтому и сошёл до Лигово.

На платформе Гребнев по инерции шагнул по ходу движения поезда. И буквально в два шага поравнялся с паровозом. Значит, вышел из первого вагона. Ну, да, ведь в нём же курили. А это было… Да, до начала тридцатых. После начали прикручивать гайки. Хотя народ в поездах и позже дымил. Даже после полного запрета уже в годы Гребнева. Но то вагон. А тут — паровоз. Серия Су. Причём, судя по всему, и прежде всего по номеру 90-96 на кабине, первого выпуска. Даже если родоначальник серии, курьерский Св, лучший в России, тоже был в этом номерном списке. Значит, точно в год этак тридцатый он попал. Во как провалился… Это тебе не послевоенные роковые сороковые… Даже если и сделать скидку на то, что этот паровоз продолжали эксплуатировать долгие годы после постройки, и первый выпуск Су можно было увидеть даже ещё и в конце пятидесятых. А в музеях и на постаментах и того позже.

Да уж, занесло… Это ему за прогулы, — про себя, но мрачно пошутил Игорь. Ведь только на второй день нового года, впервые с выхода на пенсию и после покушения Шевелюхи, выбрался он в прошлое. А здесь нигде ничего не уточнишь — платформа и без того малолюдная, мигом опустела, едва состав, громыхнув сцепками, подобрал вагоны в одну сплошную нить.

Гребнев сошёл с платформы, как моряк сходит с корабля на берег. Решительно и бесповоротно. Вопрос «куда дальше?» перед ним не стоял, ещё дома всё продумал. Попал, конечно, пальцем в небо. Но не отступать же…

Можно было перейти на другую платформу, дождаться встречного и доехать до Балтийского вокзала в относительном комфорте. Но Игорь уже вновь чувствовал себя как в морозной Казани, во время бегства из психушки — в крови гулял адреналин. Пусть и не было в том необходимости, и вряд ли бы его поджидали на вокзале, но он решил идти пешком. Ещё до поездки решил. Прикинув что на всё про всё у него уйдёт часа два. Прогулка опять же. Да и вдруг свидится с кем-то. С кем и ночь потом проведёт. Хотя умом и понимал, что Рита если и родилась уже, то вряд ли ещё созрела до тех утех, что были у неё с Игорем. В ином, послевоенном времени. Но ведь на Рите же не сошёлся свет клином. К тому ж после неожиданного разрыва с Мариной Гребнев особенно остро чувствовал нужду в женском обществе. Как развязавший алкоголик маялся — его организм требовал если не выпивки, то чего иного. О чём не принято детям рассказывать…

Вот за этим он и отправился в питерскую ночь. Или уже ленинградскую?

Только зашагав по мостовой, Гребнев неожиданно осознал, вспомнив, что вплоть до 1922 года выйти ночью на улицу Петрограда и не стать жертвой грабителей было настоящим чудом! В чьих-то дневниках той поры он читал, но к принятию решения запамятовал фразу: «Снова слышно шлёпанье босых ног — это возвращались домой ограбленные петроградцы». А запамятовал потому, что оказался всеми брошен. И это было обиднее всего. Эта-то обида и застила глаза. А пуще — ум, когда он планировал свою вылазку. Но возвращаться было уже поздно. И оставалось надеяться, что год не 1922-й.

Как и в психушке, когда он вещал проявившей к нему участие медсестре Зое о всякого рода открытиях, в которых Россия упустила или добровольно уступила

пальму первенства мировых достижений, у Игоря внезапно проклюнулись чужие воспоминания.

...В начале двадцатых годов двадцатого же столетия под видом уголовника в преступную питерскую среду был внедрён оперативник, что уже было бы достойно фильма. Он и был снят, но лишь косвенно относился к прообразу — «Мой друг Иван Лапшин». Хотя повесть, по которой Алексей Герман снял фильм, называлась «Наш друг Иван Бодунов». И написал её отец режиссёра Юрий Герман. Но дело не в имени с фамилией, хотя опера действительно звали Иван Бодунов. Сама история была потрясающей.

«Засланный казачок» поработал отлично, нашел все концы и вывел чекистов на «малину», где «залёг», спасаясь от преследования, самый первый вошедший в советскую уголовную историю питерский бандит. Но вышло так, что недоброй памятью помнят Лёньку Пантелеева, который был уже позже. Но и его шайку, как и банду Ивана Белки, разгромили, благодаря Ивану Бодунову. Причём, громили Белку почти как в голливудских блокбастерах. Со стрельбой, штурмом притона, в котором шёл воровской «сходняк». И хотя неожиданного захвата не получилось — на шухере стояли не «лохи», с бандой, на счету которой были десятки убийств, сотни краж, разбоев, грабежей и угонов автомобилей, было разом покончено. Как и с её главарём. С ним же погибла и его маруха, тоже стрелявшая в чекистов. Выживших же бандитов подлечили и… расстреляли. Но и это ещё не всё.

Через два года Бодунов участвовал в поимке уже Лёньки Пантелеева, чуть позже — в разгроме банды «Чёрный ворон». Причём, Пантелеев-то был вроде как свой.

Ещё в 1918 году Пантелеев записался добровольцем в Красную Армию, воевал отменно, дослужился до должности командира пулемётного взвода, но попал под

демобилизацию, и в 1921 году был уволен в запас. Однако стихия войны, атмосфера риска, азарта, насилия настолько захватила будущего именитого бандита, что ни о каком возвращении к прежней мирной жизни не могло быть и речи. Хотя в бандиты, даже в благородные разбойники он поначалу и не помышлял податься. Ибо была в ту пору не менее азартная, щекочущая нервы своей безнаказанностью служба — в ЧК. Вот только в «чрезвычайке» Пантелеев надолго не задержался. Сперва сослуживцы начали подозревать Лёньку в употреблении наркотиков, затем прошла информация, что он-де участвовал в самочинных «обысках» — грабежах под их видом, если говорить прямо. Наконец на обыске настоящем куда-то вдруг запропала золотая безделушка, которую якобы видели у Пантелеева в руках… Весомых доказательств Лёнькиной вины не было. Но, как и сам он к ним не особо питал пиетет к своей работе, так и к нему отнеслись — без должного уважения к презумпции невиновности. И вышибли из ЧК. А он-то планировал сделать головокружительную чекистскую карьеру!

Лёнька предпринял несколько попыток восстановиться в органах, однако ему окончательно указали от ворот поворот. Тогда-то и остался у него один путь — в банду. Не прижившись в государственной «малине», подался Пантелеев в уголовную.

4 марта 1922 года, ограбив квартиру меховика Богачева, Лёнька совершил свой первый налёт. Тогда ещё без стрельбы и без жертв — были лишь угрозы оружием. Через четыре дня — новое ограбление, на этот раз квартиры врача. Помимо налётов на богатые квартиры шайка, в которую кроме Пантелеева входило ещё с десяток бандитов, не брезговала и обычным гоп-стопом — они раздевали на улицах припозднившихся прохожих, поддатых посетителей ресторанов, игроков, покидающих

подпольные игорные заведения — катраны. Все эти бедолаги потом и шлёпали босиком по мостовым.

26 июня 1922 года Пантелеев со своими подельниками Гавриковым и Беловым, переодевшись матросами, совершили налёт на квартиру известного врача Лёвина. 9 июля, представились сотрудниками ГПУ, нанесли «визит» ювелиру из «Гостиного двора» Аникееву. 14 июля по такой же схеме была очищена от ценностей квартира доктора Ишенса в Толмачевом переулке. Банда Пантелеева знала, у кого можно поживиться. Лёньку, скорее всего, кто-то постоянно снабжал ценной информацией. И как бы не бывшие сослуживцы. Мало отличавшиеся от бандитов. Что тогда, что сейчас. О Пантелееве постепенно начали ходить по городу романтические легенды. Дескать, Лёнька грабит исключительно буржуев, скопивших богатства за счёт обмана и эксплуатации трудового народа. В общем, всё как в песне: «Лёнька Пантелеев, сыщиков гроза, на руке браслетка, синие глаза…»

К Лёньке прочно прилипла кличка Фартовый. Он и сам стремился походить на благородного разбойника: франтовато одевался, «гнул пальцы» на публике, устраивал показательные «эксы»...

Но сколь верёвочке ни виться… 4 сентября в полдень Пантелеев и Гавриков остановили на углу Морской и Почтамтского переулка артельщика пожарного телеграфа Мануйлова, переносившего чемодан с деньгами. Скорее всего, это вновь была чья-то наводка, с чемоданами, полными денег, и сейчас не особо рискуют ходить без охраны. Ну, разве что с коробками из-под ксерокса, да и то когда это было. Чего уж говорить о 1922-м.

После удачного дела бандиты зашли обновить свой гардеробчик в магазин на углу Невского и Желябова. И надо же такому случиться, с теми же намерениями в магазин зашёл начальник 3-го отделения милиции товарищ

Барзай, который узнал Лёньку. Началась пальба, Барзай был убит, но этот день, так хорошо начавшийся для Пантелеева, испортился окончательно. Неподалёку оказалась довольно большая группа чекистов, среди которых был и Иван Бодунов. После ожесточенной перестрелки бандитов удалось захватить живыми…

Однако, когда дело уже почти дошло до суда, в ночь с 10 на 11 ноября 1922 года во всей тюрьме, где содержались члены шайки Пантелеева, вдруг погасло электричество. Пантелеев, Гавриков, Рейнтон (Сашка Пан) и Лысенков (Мишка Корявый) покинули камеры и спокойно спустились по винтовой лестнице с четвёртого этажа, миновали главный пост, прошли в комнату для свиданий, выбили там стекло в окне, выскочили во двор, потом перелезли через двухсаженную стену и скрылись никем не замеченные. Якобы не замеченные…

Вот тут уже начался настоящий бум вокруг имени Пантелеева — куда там до него было убитому в перестрелке Ваньке Белке…

А шайка Пантелеева между тем снова начала раздевать прохожих на улицах. Но 9 декабря 1922 года Пантелеев и Гавриков попали в засаду у ресторана «Донон». И вновь Фартовому удалось уйти. Петроград уже просто кипел от слухов — люди в открытую говорили, что милиция в доле с бандитами, поэтому Пантелеев неуловим. На стенах питерских домов стали появляться издевательские надписи, типа: «До 10 вечера шуба ваша, а после 10 — наша!» Стоит ли говорить, что и это «творчество» молва приписывала Пантелееву, хотя он, скорее всего, к нему никакого отношения не имел. Леньке было не до шуточек. Он хотел одного — быстрее сорвать крупный куш и уйти за кордон. Страх, наркотики, алкоголь постепенно превратили Пантелеева в полусумасшедшего, которого стали бояться даже ближайшие подельники. Во время налётов на

квартиры Ленька безжалостно стрелял в беззащитных людей. Видимо, убийствами Фартовый пытался заглушить свой собственный ужас. Особо зверским было убийство семьи профессора Романченко, где расстреляли всех, не пожалели даже собаку.

Меж тем правоохранительные органы, получив информацию о намерении Пантелеева уйти за кордон, поняли, что медлить больше нельзя. В местах возможного появления Фартового были организованы не менее 28 засад — для тех времён это более чем круто. Наиболее «перспективным» местом считалась «хаза» на углу канала Грибоедова и Столярного переулка, которую содержал дальний родственник Лёньки. В ночь на 11 февраля 1923 года Фартовый действительно пришёл туда, но увидел на окне сигнал тревоги — горшок с геранью. Лёнька это вам не профессор Плейшнер, с которым ветер свободы сыграл плохую шутку. Отстреливаясь, Пантелеев ушел и на этот раз. Но запас его везения закончился. По агентурным каналам чекисты получили информацию, что в ночь на 13 февраля по адресу Лиговка, 10, состоится «сходняк», на котором должен быть и Пантелеев. В последний момент кто-то вспомнил, что у Мишки Корявого, ускользнувшего из засады вместе с Лёнькой, есть любовница-проститутка, некая Мицкевич, проживавшая по адресу Можайская, 38. На всякий случай засаду послали и туда. Но, поскольку Фартового ждали на Лиговке, на Можайскую отправили самого молодого сотрудника, Ивана Брусько, с двумя приданными красноармейцами. По закону подлости Пантелеев, проигнорировав «сходняк» в доме барона Фредерикса, явился как раз на Можайскую. Брусько и Пантелеев выстрелили друг в друга почти одновременно, но фарт Фартового иссяк — он промахнулся, а вот пуля молодого чекиста Вани оказалась смертельной… Мишку Корявого

удалось взять живым, в эту же ночь на Международном проспекте был задержан и Александр Рейнтон.

Но питерцы не верили, что Лёнька убит, и властям пришлось пойти на беспрецедентный шаг — выставить труп Пантелеева на всеобщее обозрение. После ликвидации банды Фартового питерский бандитизм понемногу пошёл на спад. А вот карьера Ивана Бодунова — наоборот. Но это уже другая история. Хотя и Бодунову под занавес его карьеры вновь пришлось вести бой против своих. На сей раз убивших по шевелению бровей Сталина известного театрального режиссёра и еврейского общественного деятеля Соломона Михоэлса. Но это как раз и доказывает, что большой разницей между бандитами и теми, кто им должен был противостоять, даже и не пахнет…

Минут через сорок, спотыкаясь на булыжной мостовой, Гребнев, вслух чертыхнувшись, в который раз мысленно пожалел о принятом решении. Но теперь и думать нечего было вернуться. По его прикидкам, идти оставалось всего ничего. Хотя тьма уже полностью завладела серым январским городом. Или же то был иной какой месяц?

Игорь впервые не представлял, где оказался. Да, Питер. Хотя, скорее уж Ленинград. Улица, левее которой ещё угадывается железнодорожная ветка, по которой паровоз домчал его до Дачной, абсолютно пустынна. Да и улица ли? Так, безлюдное направление…

Это был далеко не казанский пейзаж, с его церквами — пустующими жилищами запрещённого в ту пору бога и унылыми обитаемыми домами верующих и атеистов. Потому что до того времени ещё много лет? Или это в Питере такая даже не окраина, а вычеркнутая из жилого фонда зона? Не исключено, что где-то здесь, в землянках или ещё в каких ветхих и убогих укрытиях обретается

питерское дно — уголовники, беглые каторжники, бандиты типа Пантелеева… Впрочем, здесь даже им нечего делать — нечем поживиться, негде укрыться. И это недавняя столица!

Мрачности картине придала кирпичная ограда чуть сбоку от его пути и груды битого камня вперемежку с железным ломом, в котором угадывались каркасы куполов. Кладбище? С порушенными церквями? Не то ли это Митрофаньевское кладбище, где в безымянной могиле закопали Лёньку Пантелеева после того, как его труп сослужил ЧК последнюю службу? Хотел-то он, конечно, иного добиться, но послужил всего лишь наглядным пособием…

Гребнев непроизвольно ускорил шаг. А когда от направления, в котором он двигался, вправо потянулась ещё одна дорожка, свернул туда. Чтоб не встречаться с кладбищенскими призраками. Пусть он и знал, что бояться нужно живых, первобытный инстинкт взял верх. Чтобы привести к гибели. Потому как уже в следующую четверть часа он понял, что окончательно заблудился. Ведущая к Балтийскому вокзалу железка исчезла из виду, света не прибавилось, людского жилья тоже было не видать. Хотя и осталось кладбище по левую руку — его пришлось обходить, потому что путь его упёрся ещё в одну железнодорожную линию. Но топать по шпалам Игорь не собирался. Поэтому колею он пересёк в надежде выйти на параллельную ей улицу. Память, скромно намекнувшая, что это, возможно, колея на Варшавский вокзал, других сведений не дала. Перейдя железную дорогу, он упёрся в какие-то склады, и вынужден был продолжить путь прямо, понимая, что удаляется от Балтийского вокзала всё дальше и дальше. Что его не особо волновало. Домой он не спешил. Там его никто не ждёт. Прежде работа держала, и нужно было возвращаться из путешествий во времени. В надежде, что в его времени день будет тот же, что

и в начале пути. Сейчас это значения не имело. Даже если он вернётся спустя несколько дней, никто и не заметит. Во-первых, рождественские каникулы. Но ещё до во-первых было главное — пенсия. Это когда тебе не нужно идти на работу. Хотя и прожить на это пособие по безработице можно только в том случае, что платит тебе Министерство обороны. За четверть века службы. Царю и Отечеству.

Не особо жалуя нынешнего царька, хотя и прежних елеем не поливая, а ещё поминая Отечеству все его промахи и подлости, Гребнев всё ж исправно третьего дня каждого месяца дожидался денежного перевода на карту Сбербанка. А теперь вот грузно топал по промёрзшей мостовой, слабо представляя куда его выведет эта дорога. Он шёл уже второй час, и до сих пор обутый и одетый. Неужто вся питерская преступность на дно залегла?

И тут же впереди появился неясный силуэт.

Ну вот, накаркал…

2

Банды Питера никуда не делись с кончиной одиозных главарей, вошедших в историю. За собственный счёт, правда, вошедших, но всё ж. Но к середине двадцатых того же двадцатого века городские банды уже промышляли не банальным грабежом, сопряжённым с убийствами, а более цивилизованно, что ли. В моду начали входить преступления ненасильственного характера. Однако наличие у несознательных граждан денег, не желавших хранить их в сберегательных кассах, было красной тряпкой для другой части граждан, закононепослушных. Вот они и старались изъять ценности любыми доступными способами. Незаконными, само собой. Наименее преступным из которых было — выиграть их в карты. Или иную игру. Азартную, естественно. Не в футбол же на деньги играть, до тотализатора мошенники, воры и каталы в ту

пору ещё не дошли. В России, по крайней мере. Да и ногами у наших соотечественников почти на протяжении всей истории российского футбола всегда получалось не особо, чтоб на этом можно было заработать. Куда проще кинуть на продаже драгоценностей, к примеру.

С 1923 года питерских любителей дешёвых каменьев стала беспощадно щипать шайка фармазонов, прямо на улице предлагая купить бриллиант по очень смешной цене. Человек оставлял фармазону денежный залог и отправлялся к для оценки ювелиру, куда кидале ход вроде как был заказан по любой достоверной причине. Ювелир, естественно, устанавливал, что бриллиант изготовлен из хорошего стекла, но мошенник с залогом к тому времени уже исчезал. Это было примитивно, однако действенно. Не случайно же на дорогах до сих пор нет, нет, да и появляются желающие продать «цыганское золото» — мол, до заправки чтоб доехать. С такими разве что фальшивыми долларами расплачиваться можно, иначе надуют, впарив вместо золота в лучшем случае хорошо надраенную медь.

То ли «бриллианты» быстро закончились, то ли примелькались фармазоны, но свернулась и эта афера. Однако тем временем стали появляться большие деньги в кассах разных учреждений. И тут же активизировались питерские шнифера, потрошители несгораемых шкафов и насыпных сейфов. Только с июля по октябрь 1923 года из несгораемых шкафов в десяти государственных учреждениях было похищено в общей сложности 168425 рублей. Не такие уж и большие деньги. Но и немалые. Писатель за своё творение, будучи начинающим, без литературных чинов и званий, получал 5000 рублей. И потиражные. За минусом налогов. Но это за полгода-год работы! Бригадир на производстве при перевыполнении норм имел в месяц по тысяче. Обычный рабочий — 250-300. А цены? Не будем мелочиться, зайдём с козырей: французская булка

стоила два пятьдесят. Ну, это если вам не хватило ржаного по семьдесят пять копеек. Говядина средней упитанности, то есть, жирная, стоила уже девять с полтиной. А рабочему силы нужны, гайки крутить или сталь плавить. Одним ржаным не обойдёшься. Даже с французской булкой. Так что при небольшой вроде сумме похищенного была она вполне существенной. Для тех, кто работал на ограбленных предприятиях. А грабежи продолжались до конца 1925-го…

Тем временем подрастала шпана, «лучшие» представители которой становились заправилами питерского дна. И пока страна создавала пионерские дружины, эти «юные герои» формировали свои «юнармейские» отряды. На Васильевском острове промышлял Алексей Кустов по кличке Кукла, чрезвычайно миловидной внешности юноша, которого, как правило, принимали за подростка не старше 12 лет, хотя Алёшке было уже около 16. Он представлял, можно сказать, уголовную династию: его отца расстреляли за грабеж еще в 1919 году, два старших брата были рецидивистами, сестрёнка тоже профессионально занималась воровством. Оказавшись на улице, он принялся строить из беспризорников настоящую шайку — со строжайшей дисциплиной и чётким разделением труда. Одни его подчиненные крали из домов, другие — из магазинов, третьи шарили по карманам. Для поддержания дисциплины в организации Кукла держал при себе здоровенного туповатого амбала по кличке Комендант, который, не задумываясь, избивал нарушителя по Алёшкиному сигналу. Похожая организация существовала и на Петроградской стороне, в трущобах беспризорников в районе Гатчинской улицы, и на Лиговке. Именно к Лиговке, к самому её началу и подходил Игорь, выбираясь из дебрей, в которые сам себя загнал, решившись на пешее путешествие по ночному Питеру. Который был отнюдь не ровня тому

городу, что знал Гребнев. Что в годы своей службы в Кронштадте, что позже, во время нечастых визитов в северную столицу.

И вот сейчас он мог за это поплатиться.

— Эй, паря, ты не заплутал часом?

Обращение «Эй, ты!» всегда приводило Гребнева в тихое бешенство. А фамильярное «паря» и вовсе сорвало стоп-кран.

— А мы что, по ходу баланду вместе хлебали? — едва сдерживая себя, откликнулся Игорь. И не узнал свой голос.

Вообще-то свой голос никто никогда не узнаёт. Но Игорь уже столько прожил, что привык к своему тембру и интонациям. А тут его голос не то чтобы сорвался на фальцет, но взял довольно высокие ноты. И «а» тянул. По-московски, что ли? Так он-то москвич лишь по проживанию при службе. А так — из далёких краёв. Где говор куда мягче. Это он уж приспособился, чтобы не выделяться. А тут — на тебе, заакал.

Но и у тени говорок был южный:

— А ты хлебал?

Гребнев вовремя одёрнул себя, чтоб не ляпнуть привычно, мол, четверть века лямку тянул. Что было недалеко от истины. Да только не по тюрьмам, а по кораблям. И командировкам в точки, именуемые отчего-то «горячими». Хотя там порой был лютый холод. И голод, само собой.

Но нельзя было и заикаться про четверть века. Даже судя по голосу, Игорь помолодел. И похоже, весьма значительно. Ведь за два часа пешей прогулки по задворкам Питера ничуть не устал. Он и прежде спокойно преодолевал такие расстояния. Но тут была ещё и ужасающая дорога, на которой то и дело подворачивались ноги. А он — как новенький. Так что на вид ему должно было быть

куда меньше истинного возраста. Но насколько меньше? Провалившись так глубоко во времени, не помолодел ли он как раз до двадцати пяти? Хотя бы на вид. Тогда его фраза о четверти века баланды будет выглядеть не просто ужасно. А станет приговором.

— Шёл бы ты своей дорогой, — попытался отмахнуться от вопрошавшего Гребнев. Но не тут-то было.

Спрашивающий, видать, для того и поставлен был. Вопросы задавать, чужих не пущать. А куда? Не пускать, в смысле, куда?

Гребнев, большую часть жизни проживший без нормального обоняния, в последнее время всё лучше и лучше стал различать запахи. Прежде он не озадачивался тем, что с трудом по запаху отличает бензин от спирта, позже его не волновало то, что неожиданно стал разбираться в ароматах духов. Сейчас же всё было просто: Гребнев уловил смутные запахи жареной пищи. Может, даже не столько носом, сколько неожиданно проголодавшимся желудком. Который и подсказал направление движения. Сразу после того, как склады показались тупиком.

Неожиданно тьма сама подтвердила подозрения Игоря о наличии поблизости кабака. Или трапезной. Никак монастырь? Не, ну а чо, кладбище рядом, церкви порушенные… Могли монахи здесь укрыться?

Могли. Но вряд ли. В смысле, вряд ли это монахи. Что и доказала вспыхнувшая во тьме прямоугольная брешь. И на её рыжеватом фоне, дрожащем от пламени свечи или керосиновой лампы, появилась ещё одна тень.

— Пиля, с кем ты тут базаришь?

— Да я и сам не пойму. Вышел тут, понимаешь, из-за складов, мелет, что баланды вдоволь нахлебался. А себя не называет. Грит мне: иди своей дорогой. А куды мне иттить, коли тут я поставлен. Для дела.

— Заткнись, Пиля. А ты, мил человек, покажись! — вторая тень подняла над головой фонарь, который Гребнев не разглядел сразу. Потому как этот мутный Прометей, нарисовавшийся из освещённой двери, до того прикрывал его полой своего лапсердака.

А из открытого дверного проёма потянуло умопомрачительными ароматами…

Нет, конечно, это не запахи французской кухни поразили рецепторы Гребнева. Обычная еда. Разве что горячая. И дико оголодавший организм Игоря откликнулся на призыв страстным желанием. Хотя он вроде бы и заправился изрядно перед поездкой новогодними салатами, приканчивая их прежде, чем выйдет срок хранения.

— Да я и так на виду, — буркнул Гребнев, делая несколько шагов навстречу к выставленной у тёмного трактира охране. В том, что это охрана, сомнений не было. В наличии за распахнутой дверью трактира Игорь малость сомневался — там могло быть и обычное жильё. Или всё ж трапезная, монастырская, как он сразу подумал. Но уж больно густыми были аппетитные ароматы, так для монахов готовить никто не станет. Даже не в пост. Да даже и на семью, пусть и очень большую, тоже. К тому ж дух сивушный витал над этими двоими, что принимали Гребнева если не в объятия, то под свой пригляд.

— Вместо того, чтоб тыкать, да вопросами изводить, пригласили бы внутрь, обогрели, накормили…

— А мож, мы лучше того… Приглашать не станем, а просто карманы вывернем, по шеям надаём, да и отправим без штанов к Московской заставе… Там-то, небось, народная милиция умаялась без дела, — предложение Пили его подельник встретил одобрительным смешком. Но не поддержал:

— Ты бы, Пиля, попридержал лошадей. А вдруг человек хороший? Да и многого не просит. Приютить да

обогреть. Проходи, скиталец. И познакомимся, и выгорит мож чего… К взаимному интересу…

Трактиры и рестораны в любой стране мира всегда были и остаются точками притяжения для разного рода законопослушного люда. Игорь, оказавшийся в столице в разгар такого же слома устоев, как и тот, в который он угодил здесь, на питерской тёмной окраине, сам был свидетелем тому. По заведённой традиции, он, вступая в должность на новом месте, пригласил вновь обретённых сослуживцев в недавно открывшийся частный ресторан. А в это же время туда на разборку завалила братва — со стволами и уже взятыми на вооружение на западный манер бейсбольными битами. Тогда Игорь особо геройствовать не стал. Так, свалил с ног двоих, слишком близко подошедших к его столику. Исключительно в целях самообороны. У парней стволы были, и они палили в белый свет как в копеечку. Неровён час ранили бы кого. Из тех, с кем Игорь пришёл. О других он и не подумал — вокруг шло нехилое рубилово, и разбираться кто за кого не было смысла никакого. Шёл передел рынка, на котором у Гребнева не было интересов от слова вообще. Вот он и не стал вмешиваться — отвёл непосредственную угрозу, и остался дожидаться приезда наряда милиции. И сам на пол улёгся, и коллег убедил. Выходные костюмы жалко было, конечно, других-то не было. Но поймать пулю и бесповоротно испортить не только одеяние, но и шкуру было ещё жальче. Всё так. Но то было в Москве, и лет на шестьдесят позже того, что разворачивалось перед Игорем сейчас.

В городе на Неве и примерно в эти годы одним из бандитских центров был трактир «Бристоль». Здесь же, на Лиговке, разве что несколько подальше от места, где Гребнева остановил южнорусским говорком некто Пиля. В «Бристоль», как и в заведение, охраняемое Пилей с напарником, чужие не ходили. В трактире собирались местные

«большие люди», обсуждали и решали свои дела. А заодно и отдыхали. По мере своих запросов. Не очень, впрочем, изысканных. Хозяин «Бристоля» Вадим Нефёдов был хорошо знаком еще царской полиции, поскольку в 1913 году привлекался за скупку краденого. Но открутился. При новой власти он стал держателем местного общака.

В ленинградском угро прекрасно знали, что с трактиром очень и очень неладно. Но одно дело знать — другое поймать. Вора, преступника. А когда он ещё и всё чужими руками? Тут и вовсе дело швах. Так что «Бристоль» с его хозяином процветал. Пока туда однажды не пришла девушка.

Нет, и до неё пытались внедриться в трактир опера. Но трое молодых парней, связавших свою жизнь с угро и подписавшихся на это дело, прожили совсем немного. С той поры, как вошли в «Бристоль». В опера-то приходили по путёвкам от партийных или комсомольских организаций, где уж тут быть умению жить по волчьим законам. Пусть и понарошку. Не вышло. И за это они жизнями своими заплатили.

А вот у Марии Евдокимовой получилось. Она только-только пришла на работу в уголовный розыск, поэтому в уголовной среде её никто не знал. Мария выдавала себя за хипесницу — вроде и проститутка, но никто не мог похвастаться, что переспал с ней. Никому не давала, хотя и предлагала себя. Вот только динамила она клиентов. Зато деньги брала исправно. И, спасаясь от праведного гнева обманутых, искала место, где бы отсидеться.

Хозяин «Бристоля», крайне подозрительный, и подумать не мог, что перед ним — женщина-опер. И доверил девушке мелкую должностишку в трактире — не крышевать же её просто так. А Мария оказалась отличным работником. Умеющим смотреть и слушать, а не только столы протирать. Так что через месяц в распоряжении

оперов оказалась масса нужных сведений: кто, где, когда, чего и сколько. Более того, Евдокимова смогла вычислить и источник утечки информации из милиции. «Кротом», точнее предательницей оказалась одна из работниц канцелярии, Ирина Смолова, которая частенько захаживала в «Бристоль». «Ссучилась» она, говоря языком её подельников, из-за безответной любви к деньгам и к красивой жизни. Ничего, в общем, нового. И после неё таких было в ментовской среде как грязи. Из-за чего милиционеров и звали «мусорами». За что презирали даже бандиты. И не считали за людей граждане, которых они должны были защищать.

А Мария Евдокимова вошла в историю. И в народные песни. Пусть и в одну. Но вы её знаете. «Мурка». Хоть раз, но практически все слышали эту блатную песню. Только это уж точно другая история. А тогда, в ноябре 1926 года, ленинградский уголовный розыск, получив сведения от Мурки, зашухарившей всю воровскую «малину», мобилизовал не только все свои силы, но и привлёк в помощь курсантов военных училищ, тогда ещё командирских курсов. И с помощью по сути пацанов, вооружённых винтовками, по Лиговке прошла грандиозная облава, выглядевшая покруче голливудских боевиков.

За один вечер опера взяли несколько десятков крупных бандитов и толпу разнообразной шпаны, пятерых, оказавших вооружённое сопротивление, там же и положили. Трактир «Бристоль» прекратил свое существование, а его хозяин отправился в «Кресты». Это была одна из первых в СССР массовых зачисток города от криминального элемента.

…Игоря, едва ли не под конвоем Пили и его старшего товарища, действительно старшего, как он разглядел при свете фонаря, препроводили через большой предбанник или деревенские сени в ещё большую комнату. Но

Гребнев не стал вглядываться в полумрак притона. Он беззаботно улыбался. Ему неожиданно на ум пришёл анекдот из времени, в котором он оказался. И о тех же местах, где он собирался провести ночь. Потому как другого места не придумал.

А анекдот был забавный, даже по нынешним меркам. Если знать историю питерской топонимики. В общем, бабуля, божий одуванчик, спрашивает у милиционера: «Милок, а как пройти в Пассаж?» «Это, вам, гражданочка, с 3-го июля надо повернуть на 25-е октября». «Милый, это што ж мне, три месяца топать?!»

Три не три, но Садовая в то время называлась Улица 3 июля. Мало того, что это было неудобно. Так ещё и назвали её так в честь несостоявшегося события — на 3 июля 1917 года большевики планировали захват власти. Но силёнок тогда было ещё маловато, не вышло. Зато кронштадтские матросики, которых успели доставить в город, обратно на свои стальные коробки, позже вмёрзшие в лёд, не спешили. И два дня куражились в Питере. В память о чём и осталась улица, которой настоящее имя — Садовая — вернули только в январе 1944 года.

А улицей 25 октября, кстати, был Невский проспект…

— Чего лыбишься? — Пиля, неслышно ступавший нога в ногу с Гребневым, ощерил зубы, кривые и редкие. Видать, доставалось ему в драках больше, чем он отвешивал противнику. Хотя и был он в возрасте, отсвечивая плешью в свете свечи, да не одной — их на всю комнатушку штук двадцать набиралось, и запах стоял, как в церкви.

У напарника Пили, сухощавого, но с мясистым носом и перекроенной шрамом щекой, зубы прятались под неухоженным кустом седых усов. Там же кривилась и злорадная ухмылка. Которая мгновенно исчезла, едва из-за

занавески, делившей комнату надвое, раздался властный голос:

— Кого вы там притащили, Косой?

— Да это… Отирался один тут… Грит, баланды нахлебался в своё время… — опередил старшего Пиля.

И тут же получил отлуп:

— Не тебя спрашивал.

— Ну так мне и добавить нечего, — старший обошёл Гребнева, похлопал его по груди и плечам. Игорь инстинктивно, не дожидаясь приказа вскинул руки прямо над головой.

Обыск? Нет проблем. Но кто ж так обыскивает?

Косой вытащил из кармана дафлкота Игоря ключи, на кольце — пара, всё, что осталось от некогда большой связки: работа, гараж… Гараж пропал первым. Вместе с машиной. От которой Игорь сам отказался.

— Московские, — упредив вопрос, буркнул Гребнев, не опуская рук. Но именно такой ответ на незаданный вопрос мог породить целую кучу новых: откуда у скрывающегося от власти человека какие-то ключи, от каких таких дверей? Однако пронесло. И Косой собственноручно вернул ключи Игорю в карман.

— Документ есть? — поинтересовался он, подёргивая щекой со шрамом.

— Был бы документ, отирался бы я да шарился по задворкам, — опуская руки передёрнул плечами Гребнев, словно передразнивая нервный тик Косого.

— Я тут пощупал его… Чист… — доложился старший из задержавшей Игоря парочки. Но голос из-за занавески не унимался:

— И чего он хочет? Не наелся баланды?

— Да ты, мил человек, меня самого спроси, што ж ты шестёрок мытаришь? — внезапно вклинился в

разговор Гребнев, не потерпевший, что в его присутствии о нём же — и в третьем лице…

В тот же миг занавеска, разделявшая комнату надвое, распахнулась. За ней, в тусклом золотисто-розовом свете от керосиновой лампы из-под абажура оказался широкий стол, вокруг которого сидели четверо мужчин. Ещё один стоял прямо перед Гребневым, удерживая в пудовых кулаках мятый ситчик занавески.

Все пятеро в косоворотках. На стоящем перед Игорем ещё и жилетка. С выставленной напоказ цепочкой карманных часов. Золотых, однако. На столе за его спиной — небрежно брошенные карты. Тоже напоказ. Засаленные, с потёртыми краями, некогда, скорее всего, тоже золотыми. Если судить по дорогим картинкам.

Одного взгляда хватило Игорю, чтоб понять: колода хоть и замусоленная, но не из дешёвых. Тем более — не рисованая, как виделось Гребневу применительно к подобному шалману. Романовы, так звалась такая колода в игорной среде. Хотя и затесался средь известной фамилии ещё и некий штаб-ротмистр под маской пикового валета. Других деталей и подробностей, в том числе и имён художников, создавших русский картёжный стиль, Гребнев не помнил. Но карты лежали. Так, чтобы их обязательно заметили. Ещё бы, ведь они лежали на кучке денег. Бумажных. Хотя и серебро поблёскивало вокруг картишек. Видать, начали по-маленькой, а потом, как водится, вошли в раж. Во что играли? В секу, в буру, в преф? Ну так записей не видно. Значит, что попроще выбрали. Да и лица на интеллектуальную игру не тянули. Морды, а не лица. Угрюмые, испитые, даже без признака интеллекта. Зато со злобной решимостью в глазах. И при этом — с собачьим заискиванием на лоснящихся физиономиях. Не перед Гребневым заискивающих — перед стоящим к ним

спиной мордоворотом. Который был, если такое возможно, образцовым образчиком мордоворота.

Щёки едва ли не лежат на плечах. Косоворотка обтянула до состояния барабанной кожи отвисшее пузо, которое не скрывает жилетка. Она и сама по этой же причине никогда, видать, не застёгивается — не сходится на животе. Зато рукава рубахи хоть и свободного кроя, но не скрывают бицепсы. И всё же главное — рожа. Низкий лоб. Маленькие, прижатые к стриженой голове ушки. Узкие щёлочки глаз. Почти без ресниц. Или они такие бледные, что их в таком свете не различить. Ни дать, ни взять — хряк. И при этом едва ли не детские губы. Припухлые. Но крепко сжатые.

Однако во всём этом облике, с детскими чертами, помимо недюжинной силы, едва губы разлепились, почувствовалась ещё и лютая злоба.

— Ну так я и спрашиваю, — стриженый под машинку крепыш глазками-щёлочками вперился в Гребнева. Лет ему было на вид не больше сорока. Вот только кто ж его знает, как возраст сказывается на людях этого времени? «Я видел пьяниц с мудрыми глазами и падших женщин с ликом чистоты», — вспомнились откуда-то строки. Но Гребнев не стал гадать: при любом раскладе он старше всей этой братии, разве что Косой со своим шрамом выглядел на шестьдесят, если не больше. — Говори, чо пришёл?

— Да я и не приходил, мимо шёл. Это твои орлы пристали. Кто да куда. Ты лучше своему кривому скажи, пусть часы вернёт.

Их пропажу Игорь заметил сразу. Как только Косой, которого он намеренно кривым обозвал, охлопал его со всех сторон. Часов было не жалко, они ещё с той поры, как он с Якушевым дружил, были приготовлены на обмен. Там, куда он заглядывал время от времени, рубли из

реальности Гребнева были неконвертируемы. А другого способа получить соответствующую времени валюту Игорь не придумал. Вот и приобрёл по случаю древние часики на механическом ходу, даже без автоподзавода. Но сменять у Якова не успел. Зато прихватил с собой. А их спёр Косой. Непринуждённо так. Да только Гребнев чего-то подобного ждал, потому и заметил.

Мордатый хохотнул в занавеску. Буквально — прикрыв мясистые губы ситчиком. Его поддержал подобострастным смешком кто-то из сидевших за столом, кто — Гребнев не разглядел. Но главарь, это было и без представления даже козе понятно, уже повернулся к Косому, с издёвкой бросив:

— Совсем нюх потерял, даже лоха не ощипал. А ещё учить кого-то надумал…

— Так я это, Стас, того…

— Помолчи лучше, Косой, не то пойдёшь вместо Пили на шухер. Кстати, а чего это он прохлаждается тут?

Пиля, стоявший у двери, тут же выпорхнул в ночь. А Косой зашёлся кашлем.

— Вот, вот, — уже почти беззлобно, пробурчал вожак стаи, засевшей на хазе. — Если б не твоя болячка, жил бы ты под мостом. Как все, кто в тираж выходит. А я тебя подобрал, когда морду тебе попортили — заштопал, да и к делу пристроил. Но ты не оправдал. Ни надежд, ни сил моих. А я в тебя если не душу, то денег вложил немерено. На ноги поставил. Держу при себе. А ты? На цацку позарился? Гостя нашего обидел?

Игорь не поспевал за словесными эквилибрами пахана. Но общий смысл уловил.

Косой, видать, некогда был карманником, или как их там величают, щипачом, что ли. Потом что-то случилось. За что пахан, похоже, был перед ним в долгу. И взял

его под своё крыло. А тот прокололся. Опять. Не смог незаметно снять с Гребнева часы.

— Я не в обиде, — вставил свои пять копеек Игорь. — Но на эти часы я мечтал поужинать. Стаканчик опрокинуть. С самой Москвы не ел, вторые сутки, почитай пошли, как брюхо подвело к позвоночнику.

Последнее было враньём чистейшей воды. Да, живот подвело, но ел-то он максимум часа три-четыре тому назад. Даже для перекуса ещё рано.

Пахан перевёл взгляд с Гребнева на Косого. И мрачно задышал себе под нос.

— Да я што… Я ничево…

Косой сунул руку куда-то под лапсердак и с видом фокусника выудил потёртую «Чайку», но в поблёскивающем позолотой корпусе, с фосфоресцирующими стрелками. Мечта, а не часы…

— Вот…

Главарь бросил намётанный взгляд на добычу.

— Это где ж ты, мил человек, раздобыл такое добро? — он покрутил часики, почти полностью исчезнувшие в его громадной лапище. К глазам поднёс. Ещё повертел. Протянул кулак с исчезнувшими в нём часами к Игорю. Но разжимать не спешил.

— Так это… Нету уже там, — Гребнев пытался подстроиться под приблатнённый говорок.

— Пошто так? Последнее отнял?

— Никак нет, вашбродь, — Игорь наигранно подобострастно вытянулся в струнку, щёлкнул каблуками. — Далеко это было, и давно. А такие цацки не растут на деревах. Даже в столице. Так шо… Где ж им там взяться теперича, когда я их умыкнул?

Главарю, похоже, понравилась молодцеватая выходка неожиданного гостя. Пусть и не проявляющего

благоговейного трепета. Но и не шарящего по карманам в поисках нужного слова.

— Из умников никак?

— Стас, как я понял… — Гребнев стёр с лица дурашливое выражение. А главарь, всё ещё теребящий одной рукой занавеску, подобрался, желваками заиграл.

— Кому как, — бросил он исподлобья. — Для лучших людей — Анастас Михалыч.

— Ну, мне и так сойдёт. Видать, не лучший я. Потому и не углядел гостеприимства. А это не по-людски. Не по понятиям тем более. Мало того ещё и чуть ли не силком в гости затащили. Дак и я, кажись, ясно сказал: ищу ночлег и пожрать, устал, из Москвы убегая. А меня ещё и грабят средь бела дня. — Много чего из претензий Игорь и наговорил, утрируя. Да и ночь на дворе. Но почти без паузы он закончил, как отрезал: — Или, как минимум, пытаются грабить…

— Косой, ужин по-быстрому организуй, — не став пререкаться с гостем, скомандовал Стас, проглотив отсутствие почтительного обращения. И даже не покосился на своих подельников, заелозивших за столом после такой отповеди. — Да и нам пора перекусить. Пусть сообразят там, — он мотнул головой, — на всех. Гость платит.

И Стас не без сожаления бросил подручному изъятые у него часы. Хотя вроде как должен был Игорю вернуть. С извинениями за своего халдея. Но Гребнев сам сказал: отужинать собирался за эти часики. Пусть и не собирался угощать всех. Ну да этим и поступиться можно. Сдачи-то всё равно не получил бы…

Косой тут же исчез за ещё одной дверью в предбаннике, которую Игорь и не приметил поначалу, уйдя в свои мысли. По поводу перехода с 3-го июля на 25-е октября. Но за тот короткий миг, что дверь была открыта,

предбанник и вся комната за занавеской наполнились ароматами кухни и сдержанным гомоном подвыпившей толпы.

Значит, там всё ж трактир. Кухня как минимум. А тут — укромное место для тех самых лучших людей, что именуют Стаса Михалычем. Анастасом. Почти как Микояна. Хотя ни тот, ни другой о существовании тёзки не ведают, скорее всего. Уж партийный-то деятель так точно.

— Ну, проходи, мил человек, ужин мы сейчас организуем. Присаживайся покуда, ща всё будет. Погрейся с дороги. Да нам поведай, кто да откуда, какими ветрами в наши края. Нужда какая, или чо?

Гребнев не позволил упрашивать себя, решительно шагнул под занавеску, услужливо придержанную Стасом. Хотя и было ему понятно, что суёт он голову в петлю.

Стульев за массивным круглым столом, накрытым белой скатертью с бахромой, было шесть. С гнутыми спинками, с расшитыми вышивкой крестиком подушками на седушках. Так что никому не пришлось уступать место вновь прибывшему.

Обходя стол к свободному месту, Гребнев прошёл мимо резного буфета, занимавшего большую часть комнаты. Покосившись в слегка помутневшие стёкла, ставшие зеркальными из-за этого, снял свою белую фуражку. И тут же отшатнулся. Оттого что не узнал своё отражение.

Из глубины и мрака старинного стекла на него смотрел наглый юнец. Если и не совсем уж юный, то никак не старше тридцати. С пышной шевелюрой там, где он в свои шестьдесят привык видеть приличную плешь. Которая появилась едва ли не сразу после сорока, едва ли позже. Сейчас же от высоких залысин не было и следа. Наоборот, кудрявился чуб, закрывающий половину лба. Кок, достойный Элвиса Пресли. Которого ещё нет. Кого из них — Пресли или его знаменитого кока — Гребнев

уточнять не стал. Нет одного, нет и другого. Он просто растерялся, увидев себя таким.

Таким… Молодым. Импозантным. Не просто брутальным, а брутально опасным. Он и в собственной юности таким не был. А тут скачок во времени подарил ему новую жизнь. Или начал сначала старую…

Гребнев даже застыл на мгновение перед буфетом. Точнее, перед своим отражением. Но хозяева если и заметили заминку, то не поняли причину. Гребнев же лихим жестом — откуда что и взялось, взбил свой чуб. Как только выпал он из-под фуражки. Вроде прихорашиваясь перед стеклом в буфете за неимением зеркал.

Пройдя ещё два шага, Игорь опустился на стул, пристроил фуражку, которую мусолил в левой руке, на краю стола. Расстегнул дафлкот. Но раздеваться не стал. Откинулся на скрипнувшую спинку стула, выложив руки на стол — перчатки он ещё в предбаннике в карман сунул.

— Хороший у тебя бадлон, — Стас даже причмокнул от зависти, отирая вспотевшие руки о свою косоворотку.

Гребнев вначале не понял о чём это он, но быстро сообразил. Так пахан обозначил его водолазку, вязаную. То была память о жене — она и шерсть выбирала сама, и узоры спицами плела, долго маялась, зато вышло знатно. Но не памятью он руководствовался, поддевая плотную шерстяную вещь ручной вязки под дафлкот.

Питерскую сырость и холод можно было только так пережить — утеплившись с запасом. И Стас по достоинству, сам не первый день пребывая в сырой северной столице, оценил одежонку гостя.

— Не жалуюсь, — без эмоций бросил в ответ Гребнев. И уставился на сидящих напротив него. Они все были напротив. И все — против. Против него. И не спускали с него глаз.

— В картишки? — пряча взгляд, тут же предложил сидящий с дальнего краю. Тот самый, судя по голосу с характерным дребезжанием, что подобострастно хихикал. Остальные тут же зашевелились, оживая. А то ведь сидели как в рот дерьма набрав.

— Не азартен, — отрезал Игорь.

— Ну, тогда мы с твоего дозволения продолжим, а ты, мил человек, рассказывай. Как дошёл до жизни такой. Что кинул в краю родном, что в наших местах ищешь, — Стас занял последнее свободное место за столом. — Сдавай, Гульден, на тебе вроде круг закончили.

Надо же, Гульден! Валютчик, что ли? Такие клички фартовым дают, которые по иноземцам специализируются. Ну, или по их денежкам. Хотя фартовый само по себе кличка…

Гребнев внимательно вгляделся в худосочного, с вислым носом и впалыми щеками мужчину, потянувшегося за колодой. Карты в его руках плясали как заведённые. Он скорее шулер, чем мастер валютных операций. Хотя чем чёрт не шутит…

— Ты не молчи, мил человек, — напомнил Стас. — Рассказывай. Ночь хоть и долгая, да утро всё равно придёт. И всем надо будет ответ держать.

— Перед кем? — буркнул Игорь, понимая уже, что по добру из этого шалмана ему не выйти. На что не просто намекают — в открытую говорят.

— Ну, кому перед всевышним, а кому перед братвой. Всего лишь, — Стасу выпало ходить, и он уставился в свои карты, отложив допрос.

— Вы не отвлекайтесь, парни, играйте себе, я расскажу. Всё расскажу. С мыслями только соберусь, с чего начать. Потому как даже у «хозяина» я мало говорил. А в гостях у своих и подавно больше молчать привык.

Стас поверх стола зыркнул на Гребнева, но промолчал. И вновь вперился в свои карты. Что за игра такая? Гребнев в преферанс разок играл как-то, продулся весьма солидно. Но о долге тогда никто так и не заикнулся. Хотя долги и надо отдавать, но играли вроде как без денег. На интерес. Пусть и называли вполне конкретные суммы. Которые к концу игры вросли неимоверно. А оборвалась игра проигрышем Игоря, но без долга. Ни у кого не повернулся язык истребовать тысячи, когда деньги были ещё те, до всяких реформ и перестроек… Но проигрыш хотя и был болезненным для самолюбия и никакой для кошелька, Игорь хотя бы понимал, как шла игра. Пусть и сложившаяся неудачно. Тут же и наличных было полно, однако правила или были просты до безобразия, или безобразно недоступны для его высшего образования.

Игорь всё ещё молчал, а перед ним разворачивалась прерванная его появлением игра. И, судя по всему, прошёл круг.

— Пас.

— Пас.

— Открываемся?

Карты упали на стол.

— Свара…

— Ну, что варим? — поинтересовался Стас, когда остальные карты сбросили и против него остался один игрок, кивком принявший предложение. — Сдавай, Гульден. Только мне втёмную.

— Я тогда тож варю, — к игрокам присоединился ещё один, из тех, кто карты бросил, пасуя. Он чем-то неуловимо напоминал сидевшего по кругу прямо перед сдающим Гульденом. Такое же вытянутое лицо, в сетке морщин, как печёное яблоко. Не только лоб, но и щёки. До самых ушей, огроменных, как лопухи. У его копии лицо было не столько пропечено, но ушам тоже позавидовали

бы даже локаторы. Братья? Но больно стар. Отец или дядя. — И тоже втёмную.

— Отвечаю, — сидевший по правую руку от сдававшего Гульдена игрок добавил денег в банк на столе, вытащив смятые ассигнации из засаленного кармана заправленных в сапоги порток в широкую полоску. В деле опять были практически все сидевшие за столом — уж больно хорош банк, даже Игорь это понял, не будучи ни игроком, ни азартным человеком.

— Вскрываемся?

Стас потянулся к своим картам.

— Не спеши, — остановил его Гребнев. Которого за язык дёрнуло отражение в буфете. Но теперь уже не его. Не его отражение. А вот язык, несдержанный, как всегда, был его. И в этом было всё дело. В языке. Который он и показал. Всей компании. Не очень честнóй. Тем более — нечестной.

Когда он шёл через комнату, стекло буфета было на уровне глаз. И отражало только его. Присев же за стол, Гребнев стал видеть происходившее по другую его сторону. То, что никто другой видеть не мог. А вот он — видел…

И увидел Игорь, как сдающий Гульден незаметно для играющих выудил словно из воздуха ещё одну карту. Которая и легла на стопку перед соперником Стаса. Тем самым лопоухим, у которого сумма в предыдущем круге совпала с суммой карт пахана. На чём они и решили варить. Ещё один присоединившийся был им не в тягость — он просто подкинул изрядную часть банка. И поддержав игру втёмную, и решив участвовать в сваре — это Гребнев понял. Но не знал, кто победит. В честном поединке. Потому как условия были непонятны. Да они и не имели значения. Ведь всё должна была решить тайно подброшенная карта. Иначе зачем была бы такая таинственность.

Стас недоумённо перевёл взгляд со своих карт, всё ещё лежащих рубашками кверху, на Гребнева. В глазках-бусинках мелькнул немой вопрос.

— Я ваших правил не знаю, — разжал губы Игорь, так и не представившийся компании, которая оказалась не совсем чéстной, — но, думаю так, что карта не из колоды, к тому ж подложенная втихаря, — это не совсем то, что должно быть при хорошей игре.

Так и не притронувшись к картам, Стас потянулся к сдающему. И не просто так потянулся.

В руке Стаса сверкнул нож, лезвие которого пригвоздило подброшенную карту. Прямо между пальцев Гульдена, не успевшего одёрнуть руку. А теперь уже и убрать её, не поранившись, он не мог.

— Не рыпайся, гнида, — прорычал Стас, не отводя взгляда от карты.

Сосредоточившись на ней, он упустил куда как более важную деталь уже не игры — свары. Только не картёжной. Настоящей.

Гребнев, наблюдающий происходящее в двух плоскостях — перед собой и в стекле шкафа, разглядел, как под столом второй из игроков, похожий как отец на затеявшего свару в картах, перехватил в левую ладонь рукоять финки.

Стас меж тем перевернул подложенную карту.

Шестёрка пик. Всего лишь? Но судя по тому, как вытянулось круглое лицо Стаса, в этой игре такая шестёрка была поважнее тузов…

И тут же всё понеслось в режиме ускоренной съёмки. И опять виной тому был Гребнев.

— Берегись, Стас! — крикнул он в тот момент, когда пахан попытался поднять на всеобщее обозрение карту, выдернув её из-под ладони Гульдена.

И тут же за ситцевой занавеской хлопнула дверь, впуская новую порцию запахов. А стол от сильного толчка снизу вздыбился едва ли не вертикально, сбрасывая и карты, и руки тех, кто не участвовал в сваре. Что в картёжной, что в творящейся на глазах у всех.

Это вам не круглый стол короля Артура. Обычный стол, деревенский, хотя и с круглой столешницей. Но в низеньком помещении, да поставленный на попа, он достал едва ли не до потолка. Что, в общем-то и не требовалось — столешница и без того сшибла лампу под абажуром, и в закутке за занавеской стало почти темно, запахло керосином. В прямом смысле. В смысле запаха. А тьма… Только тлеющая лампада в красном углу под иконой, которая стала только теперь видна, когда не стало розоватого отблеска света керосиновой лампы. Пробивался ещё свет свечей из предбанника сквозь тонкий ситчик, но он почти не разгонял мрак, в котором всё смешалось. Возня, хрипы, крики…

— Бей его!

— Кончай падлу!

— Руку, руку… А, бля!

Один за другим хлопнули два выстрела.

Кто-то захрипел. Потом что-то упало.

— Убил! Сука, ты меня убил!

Внезапно образовавшуюся после падения лампы тьму разорвала взлетевшая к потолку занавеска. Не сама она победила мрак, а свет, ворвавшийся из предбанника, когда исчезла пусть и лёгкая, но преграда на его пути.

Он ворвался, и осветил побоище. Ведь теперь свет свечей загораживала только фигура Косого, за спиной которого маячил мальчишка с тяжеленным подносом руках, вон как его перекосило, на автомате отметил Гребнев. А заодно и то, что над подносом струился пар одновременно

с двух или трёх глубоких мисок, смешанный с непередаваемыми ароматами.

Игорь мог бы и захлебнуться слюной, если бы не продолжение бойни прямо перед его носом. А так ему пришлось резко опустить правую руку. И тут же по рукаву дафлкота ему в ладонь упал наган Якушева.

Косой, охлопавший незваного гостя, никак бы не обнаружил оружие, хитроумно пристроенное у Игоря подмышкой. Он и не обнаружил. Зато теперь Гребнев мог за себя постоять. Пусть и было в барабане нагана две пустых каморы, а в остальных — давшие осечку патроны. Но хотя бы один раз он-то должен был пальнуть…

И наган пальнул. Когда Косой со спины полоснул ножом своего благодетеля, всё ещё бодающегося с Гульденом. Тот хоть и был тощим, но, видать, не больно-то уступал силой мордовороту Стасу, жилистым оказался.

Косой, когда пуля ударила ему в лоб, в недоумении обратил мгновенно мутнеющий взор к Гребневу: как, откуда? Я ж тебя, падлу, обыскал…

Обыскал. Но позарился на часы. Вот и получил сполна. Как и затеявший свару. В картах. Хотя, не исключено, и в жизни тоже. Ведь это ему предназначалась карта, ставшая спусковым крючком к драке. Да, первым, опережая нож, нажал на курок Игорь. Но нечего было мухлевать…

Тот, кто стрелял в рухнувшего на пол инициатора свары, тоже свалился под стол, вокруг которого уже замелькали язычки пламени — разлившийся из лампы керосин начал гореть. Пока ещё медленно, неспешно, словно нехотя. И в этом пламени чернеющим зевом распахнулось горло стрелка, от уха до уха вскрытое родственничком сварщика. Не того, что трубы варит, а затевавшего разборку. И тоже получившего пулю в сердце. А вот его родственник получил рану не смертельную. Был жив ещё и

Гульден, которого Стас всё же достал своим ножичком в плечо. И по пальцам — когда вздыбился стол. И по груди. Но у Стаса у самого была располосована на пояснице жилетка, и рубаха под ней быстро напитывалась кровью.

В это время с грохотом распахнулась входная дверь, и в предбанник ввалился Пиля.

На автомате, ориентируясь только на звук, Гребнев вскинул руку с наганом и вновь нажал на спуск. Револьвер, давший осечку, когда его ствол был нацелен на Игоря, плюнулся огнём. В прямом смысле — патрон, видать, оказался какой-то левый. То ли пороха в него положили с избытком, то ли сам порох был каким-то не таким. Однако из ствола в буквальном смысле вырвался факел огня.

Будь Пиля ближе, его бы ещё и опалило, как свинью после забоя. А так он просто осел в дверном проёме с дыркой во лбу. Дыра была чёрной. Такой тёмной, словно сквозь простреленную черепушку стоявшего на шухере Пили в предбанник заглянула сама ночь.

Мальчонка, уронивший свой поднос, неожиданно взвыл, перекрывая звук последнего выстрела. И предсмертный хрип Гульдена, до горла которого всё ж дотянулся Стас.

Налитыми кровью глазами пахан обвёл поле боя. Точнее, побоища.

— А ты фартовый, — на миг задержался он на Игоре, не задавая вопросов ни по поводу оружия, неведомо как оказавшегося у обысканного гостя, ни почему принял сторону хозяина притона. Хотя, казалось бы, дело шло к тому, что Стас его и убить может, а смерть пахана отдаляла бы последний день так и не представившегося гостя на неопределённый срок. — Заткнись!

Это он уже пацану бросил. Тот бы и так заткнулся — голос уже сорвался на фальцет, а потом из горла и вовсе только сип раздавался. А Стас, морщась, отёр свободной

ладонью с лица кровь, брызнувшую из распоротого горла Гульдена. И шагнул, нетвёрдо покачиваясь на подгибающихся ногах, в сторону последнего живого бандита, стонущего от боли.

Похоже, он хотел наклониться над ним. Но вместо этого неуклюже осел на пол. Прямо в лужи крови, сдерживающие распространение огня.

Стонущий, словно почуяв свой смертный час, затих.

— Кто? — только и выдавил из себя Стас, поднося окровавленный нож к горлу раненого. — Ты или сынок твой?

— Что ты, Стас! Это всё Гульден! Я ваще не причём…

— То-то ты и стол вовремя перевернул, и моего охранника по горлу полоснул…

Силы покидали Стаса буквально на глазах. Но и он не хотел оставаться в долгу, покидая этот мир.

Навалившись всем телом, пахан вдавил нож в горло предателя. Да так и сам затих. И только отблески огня, разбежавшегося по комнате, отражались на круглом лице.

В наступившей тишине, нарушая покой мёртвых, лишь Гребнев судорожно дышал, да сипел, потеряв голос, мальчонка.

Переступая через трупы, Игорь добрался до стрелка, успевшего поразить двоих покушавшихся на его пахана. Не будь он столь меток, ещё неизвестно, как бы сложились дела в итоге. Но Гребнева сейчас интересовало другое.

Оружие.

Он, прислушиваясь к нарастающему гомону за стеной — напуганные стрельбой из трактира, похоже, поспешно валили в ночь все его посетители, вытащил из

холодеющей уже руки наган, такой же, как и у него самого. Откинул барабан, высыпал на ладонь, удерживающую свой револьвер, патроны. Мало, конечно, но и то дело. Сунул добычу в карман дафлкота. А вот шарить по карманам порток, измазанных в крови, в поисках запасных патронов не стал. Надо было выметаться отсюда, раз уж гости трактира так шустро принялись разбегаться. Да и огонь разгорался, пожирая всё, до чего дотягивался. Керосин горит медленно, но верно. Не хватало ещё, выжив в бойне, сгореть живьём. Или попасть в руки органов правопорядка. Он от них и в своём времени едва ушёл. Конечно, вряд ли, сюда нагрянет милиция. Всё-таки глухой угол, и что чекисты, что уголовный розыск не ломанутся сюда без разведки — кому охота нарваться на шальную пулю. Но раз свара шла в банде, то она могла бы и продолжиться, на поле боя должен был остаться один победитель. Ну, или мародёры. И выживший, и грабители в любом случае не пожалуют случайного свидетеля. Так что ноги нужно было уносить, и поскорее. Но не раньше, чем он получит награду.

Гребнев хоть и был неазартен, но бросать сорванный банк счёл делом неблагодарным. Его чуть не убили, так не стоит ли пережитое хоть какого-то вознаграждения? Тем более, что местных — по времени — дензнаков у него не было. Он, конечно, не выяснил, в какой год его занесло, но вряд ли за стеной притона сорок девятый. А у него и последний шанс выменять денежку исчез вместе с заказом ужина на всю компанию.

Наклонившись за фуражкой, Игорь торопливо сгрёб сколько удалось за раз рассыпанных по полу бумажек, сунул их во внутренний карман дафлкота и сразу же развернулся к выходу.

Вот только дорогу ему преградило тело Пили. Тот так и лежал с дыркой в голове и с ножом, зажатым в руке.

На большее его не хватило. И за кого он был, уже не имело значения. Был он бандитом. И за это кара его настигла. То, же что судьба сделала это рукой Гребнева… Ну, не каждому дано быть рукой судьбы. А ему вот выпало.

Словно споткнувшись о труп, Гребнев обернулся к мальчонке, глядевшему на него глазами, полными ужаса. Вот только интересовал Игоря не он. А часы, которые служка нацепил на руку. Или ему нацепили. Как свидетельство, что заказ оплачен. Но ввиду того, что не был он доставлен, часики можно было и вернуть. Что Игорь и сделал. А мальчонка даже не попытался противиться.

В свете не столько свечей, сколько в зареве разгоравшегося пожара Гребнев разглядел и поднял с пола ещё тёплого цыплёнка. Вскинул руку с наганом над головой, возвращая оружие в тайник. Его, конечно, нужно было перезарядить, но это могло и подождать, пока не видно явной угрозы.

Оружие тут же утонуло в рукаве дафлкота, а у Игоря свободными оказались обе руки. Чтобы можно было нормально заняться зажаренным трупиком.

— Ты меня не видел, — буркнул он мальчонке перед тем, как, лишь символически отряхнув вывалявшуюся в грязи на полу птицу, впиться в цыплёнка зубами, снова молодыми и крепкими.

И, переступив через труп Пили, шагнул в ночь.

3

…Выплеснувшийся в кровь адреналин уходил медленно. Но и спешить Игорю было некуда. Он, позабыв об осторожности — ну не может такого быть, чтоб за одну ночь его дважды попытались убить, грыз резиновую по ощущениям курицу и неспешно шёл в выбранном до вынужденной остановки направлении. Делать ему здесь, в этой точке времени, было больше нечего. Дойдёт до

вокзала, сядет в электричку — и домой. Пора завязывать с глупостями. Сколько можно мотаться в прошлое, в любое, без планов и конкретных целей. И ведь уже не раз нарывался. Но чтоб во так, как сегодня…

Нет, это было в последний раз. Отныне только план, тщательно разработанная операция по выходу в иное время. С конкретной целью. То же, что попадание во времени всякий раз приблизительное… Это неизбежное зло. Которое нужно учесть. И иметь на всякий случай план «Б». Но не рисковать так больше. Подумаешь, обидели его. Вытурили с работы. Бабы бросили. Одна так вообще чуть не убила. Так не убила же. Вот и нечего подставляться. Тем более — сопли распускать. Не то точно кто-нибудь прибьёт.

Сегодня ему повезло. Несказанно. Как никогда прежде. Если не считать портсигар в кармане в момент выстрела Шевелюхи. Как там — всё, что нас не убивает…

Вряд ли благодаря покупке из прошлого, спасшей его от смерти, стал он сильнее. Моложе — да. Так портсигар здесь тоже не причём. Это всё игры времени. Чем глубже он проваливался в прошлое, чем дольше в нём оставался, тем моложе становился. Но не настолько же!

С сожалением бросив под ноги последнюю обглоданную куриную косточку, но так и не насытившись, Гребнев наклонился, подхватил горсть серого снега, дождался, чтоб он начал стекать меж пальцев грязными струйками. Без мыла и горячей воды отмыть руки от жира получалось плохо. Платком он вытер ещё липкие, но уже не слипающиеся пальцы. Повертел батист в руках, оценивая его загрязнения, и без сожалений, скомкав, бросил чуть в сторону от тропы, по которой шёл, надеясь выйти на железнодорожные пути. Которые и приведут его к вокзалу. Хотя мог бы и извозчика себе позволить, денег — полный карман. Правда, их покупательную способность

Гребнев затруднялся оценить. Что не отменяло другой причины его пешего перехода — где ж искать извозчика среди ночи в каких-то дебрях городских? Даже не джунглях — это была выгребная яма города. И по запахам, и по заброшенности. А главное — по оторванности от цивилизации. Пусть и немного её было в городе этого времени, но всё ж где-то и трамваи бегали, и таксомоторы или извозчики, вероятно, тоже есть. Но не здесь. Вот и топал он пешком. Надеясь, что с направлением не ошибся.

Однако угнетало не то, что район он совсем не знал, и шёл по наитию. Время. Он привык его контролировать, знать который час и сколько его ушло. Но часы на продажу без подзавода, и потому давно, ещё в воровской «малине», видать, встали. Или сломались, что было куда хуже. А взять вторые, свои, Игорь не решился, и оказался прав. Как и с оставленным дома смартфоном — то-то бы Косой подивился, нащупав такую штуковину в его кармане. Тогда более глубокого обыска было бы не избежать. И плакал бы его наган. А вместе с ним и его такая молодая жизнь.

Стараясь как можно быстрее выбросить из головы случившееся, Гребнев прислушался к себе. К организму. Которому требовались ещё дрова для подпитки жара, омолаживающего тело. Для выращивания тех же волос, что покрыли его давно стремившуюся со лба к затылку плешь. Да мало ли что ещё в его организме происходило! Вот он и требовал пищи. А впереди никаких тебе огоньков. Тем более трактиров. Не говоря уж о ресторанах. Уже чудо то, что ему оставленный за спиной трактир при «малиннике» попался. Из которого он всех посетителей разогнал. Кстати, странно, что никого из них он так и не заметил за время пути. Может, всё же свернул не туда?

Немного погодя ответ всё ж нашёлся. Вышел-то он из трактира с чёрного хода! Как и вошёл. Вот и топал в

сторону от маршрута, которым разбегались посетители шалмана. Разбегались, даже будучи не связанными с бандитами. Никому не хотелось даже в свидетелях оказаться. А всё потому, что общение с представителями государства у нас в стране никогда не доводит до добра. Скорее наоборот. Добра при таком общении можно лишиться куда быстрее, чем при встрече с уголовниками. Это бандиты последнее не берут, пусть и по слухам только. Государство загребущими руками своих верных слуг отнимет не только последнее, но и заберёт то, что могло бы появиться в будущем! Стоит всего лишь лишить надежды, например. А в этом оно изрядно поднаторело. Едва только пробьются ростки стабильности — и всё, тут же все свободы затопчут, кислород перекроют. Сколько раз такое было только на веку Игоря. А сколько всего! И не сосчитать…

Привыкнув в своём времени за годы странствий видеть неоновые ночи даже в самых захудалых уездных городках там, за пределами страны, именуемой родиной, Гребнев никак не мог принять черноту ночей отечественных. Он-то и родился такой же ночью, далеко от освещённых улиц, в глухом селе. Но и там, сколько он себя помнил, горели фонари вдоль дорог. И окошки светились. Мамино так вообще частенько до утра, когда засиживалась она над тетрадями, исправляя ошибки недорослей. Ладно, отброшен он на полвека в прошлое. Ну так это ж не село, а почитай столица! Пусть и вторая. Да и в самой Москве вряд ли сейчас светлее. Даже в его времени московские ночи — ой, вы, ночи, московские ночи! — были сплошным сумраком в сравнении даже с самыми захудалыми турецкими курортами, не говоря уж о маленьких испанских приморских городах или какой-нибудь Пальме-де-Мальорке. В темноте подданных проще грабить? И это тоже. А главное — зачем рабам свет по ночам? Их дело трудиться

днём в поте лица, добывая себе пропитание. Трудиться так, чтоб ночью хватило сил только на акт размножения — рабы должны плодиться. Ибо иначе они не воспроизводятся. Но для этого свет не нужен. Тем более на улицах. Наоборот, он отвлекает от главной задачи — штамповать ночью себе подобных. Да и днём рабам усталость после бессонной светлой ночи, чтобы читать, к примеру, ни к чему — работать надо, нормы выполнять. За что будет дано вознаграждение. В виде пайки — хлеба там или брюквы. Ровно столько, чтоб на следующее утро хватило сил на продолжение работы. И никогда — с запасом. Нечего рабам копить. Не то мысли у них могут всякие появиться. О том, чтобы куснуть руку дающего. Потому как она больше под себя гребёт, чем делится с теми, кто хлеб выращивает, дома строит, у станка стоит…

Вот и у Гребнева мысль мелькнула. Едва завидел он фонари вдоль дороги. Там, впереди. Куда он шёл, утратив чувство времени и пройденного расстояния.

Мысль, как водится у них, у мыслей, была крамольной. И это ещё без того, чтоб разобраться в том, где он и что вокруг.

Каким бы ни был год, в котором он оказался, Игорь уверенно мог заявить: если и добились чего большевики, так это ещё большего затягивания рабских уз на шее своего народа. В «Окнах РОСТА», в иной пропагандисткой мишуре, а после в телевизоре — ох уж этот телевизор — об этом, конечно, не было ни слова. До самой перестройки. Но даже сами партийные бонзы уже тогда признавали: до революции они, не будучи ещё большими начальниками, получали куда больше. За обычную работу. Слесарем, к примеру. Как Никита Хрущёв. Но, став главным «кукурузником» страны, о том он быстро позабыл. И гнул своё. Пока его не нагнули. Свои же. Однако опять же совсем не в интересах народа, именем которого

и Берию с бандой расстреляли, и Хрущёва сняли. А потом и саму партию подмяли. Не сразу, с первой попытки не вышло — не успел Андропов, помер. Тот самый, которого ещё Брежнев Леонид Ильич, на коего всех собак позже понавесили, раскусил. Ну, да, был застой. Но, бабник и жизнелюб, тот дорогой Ильич и сам хотел пожить, и народу особо не мешал. А вот Андропов всерьёз взялся. Но не за порядок и дисциплину, как это пытались и пытаются представить. Он запустил забуксовавшую на некоторое время репрессивную машину на всю катушку. Чтоб, значит, ни малейших поползновений со стороны подлого сословия. Рабов. Коим надлежит трудиться и плодиться. Молча. Но не преуспел Андропов, сорвалась резьба, которую он накручивал. И в кои-то веки у немытой России появился шанс выбраться из-под насилующих её господ, стать вровень с другими державами и народами. Вот только недолго музыка играла. И народ, поверив обещаниям, сам сунулся в кабалу. Если бы святош… А то ведь худших представителей своего рода. Потому как порядочный человек в вертухаи служить не пойдёт, даже в царские времена жандармов служилые за офицеров не считали. После же всех революций и вовсе сплошь отребье повадилось в охранители. Потому как если что охраняешь, то что-то и имеешь.

Что не срослось у ВЧК-НКВД-КГБ, получилось у ФСБ. Сразу после сращивания правоохранителей с криминалом. Ну как сращивания… Это слишком громко сказано. На самом деле криминал шестёрками пошёл в услужение ФСБ. Не смог блатными замашками противостоять отлаженной машине, готовой безжалостно давить всё и всех. Да и потом, так грабить, как грабили эфэсбешники, никакой криминал не сумел бы. Вот и пришлось уголовникам признать верховенство закона. В смысле беспредел его представителей.

И ведь видели все. И всё, что творилось. Давно видели и знали. И про заградотряды знали, которые не столько врага останавливали, сколько своим в спины стреляли. А командармов и вовсе к стенке ставили. Пачками. И про то, что в космос не благодаря, а вопреки этим подлейшим из подлых полетели — ведь Королёв, которому, пытая его в застенках, сломали челюсть, мог бы и не выжить, как не выжили сотни и тысячи других выдающихся учёных, практиков, да и просто порядочных людей. Но народ тупо приговаривал: дыма без огня, мол, не бывает. И покорно шёл на плаху… А после и вся страна, строем, добровольно пошла под венец, когда явился тот подлец, с виду рубаха-парень, якобы свой в доску. Ну, разве что гробовую...

…Как истосковавшаяся по мужской ласке вдова, страна упала ему в руки — без всяких условий и обязательств, тем более брачных контрактов. Упала не в объятия, а именно в руки — жадные, загребущие. Она-то полагала, что руки будут ласковы и заботливы. Ведь он обещал. Но, увы. Руки эти и прежде уже отметились в выворачивании карманов. В колыбели всех революций. Но то были так, детские шалости, по сравнению с тем, какие перспективы перед ним открылись с ней. А уж карманы... Хотя ему едва ли не впервые в истории государства Российского выпал шанс всё изменить. Причём, без особых усилий.

Ведь в кои-то веки страна любила власть — безответно, но истово. И с этой её любовью он, как лицо власти, вместе с ней мог бы горы свернуть. Но вместо этого всего лишь выворачивал карманы. Её карманы. Первым делом прописавшись на её жилплощади. А потом пустив и своих друзей — якобы просто пожить. Ну и кому верить, как не друзьям — убеждал он её. Хотя друзья тащили всё, что плохо лежит. И что хорошо — тоже. А ещё гадили. И не

только по углам. А она на всё закрывала глаза. Стерпится — слюбится, убеждала она себя. Но любила и терпела она, а он пользовался. Хотя с выданным кредитом доверия мог бы даже не врать, не обещать золотые горы. Надо было только дать по рукам. Вороватым. Но то были руки его друзей. Такие же вороватые, как и у него. И друзья не позволяли ему о том забыть. А он не был президентом Сингапура, искоренившим коррупцию, пересажав вороватых друзей и такую же родню. Он сам входил во вкус воровства. Если же и был он безжалостным, как подобает воину света, то не к преступникам, а исключительно в мести за мелкие личные обиды.

И он уже не только брал, но и давал. Давал её — своим друзьям. На время. Ну что такого, подумаешь, ведь не девственница же. И это я мог бы что-то там подумать, говорил он ей, но я же не в претензии. Тебе-то чего, ну, побыла с другим. Зато поняла, что со мною лучше. Ведь правда же?

Она уже и не знала где правда. Хотя всё ещё верила ему больше, чем себе, чем тем, кто хотел открыть ей глаза на его вороватые руки. И на вереницу пропавших вещей, пропащих навек. Ибо оседали они в бездонных карманах его друзей. Да и себе он не особо отказывал. Хотя скрывал. От неё. Но она находила всему оправдание. И даже поддерживала его. Во всём. Ну или почти во всём. Пусть и всё меньше с каждым годом.

А всё потому, что верила. Верила в его слова о духовности и одухотворённости. И о том, что им уготован рай, а все остальные просто сдохнут. Он брал в долг — она отдавала. Он продавал её добро, но только ей в убыток. Или травил — не анекдоты, а её саму, лживыми словами и посулами. Когда же её вера начинала слабеть, он брал её. Не на супружеском ложе, а на виду у всех — нагло, грубо, стараясь причинить боль. И чем больше она

уставала от него, тем больнее он делал. А мог просто унизить. Пообещать, и сделать наоборот. Когда она расслабится. Хотя порой вроде как и подарки подкидывал. Правда, отнимая их у других. И она опять истово верила, что всё ещё будет…

Но ничего уже быть не могло. Он дряхлел, уставал от обыденности, начинал задираться на каждом углу. С ним не хотели связываться, а он полагал, что его, такого сильного, боятся. А значит уважают. И, само собой, любят. Ведь она ж вроде как любила. Хотя другие презирали. И старались перейти на другую сторону, завидев его издали.

«Боятся», — думал он, поигрывая дряблыми, несмотря на тренировки, мускулами. Но то была брезгливость. Которую переносили и на неё. И даже начинали презирать её больше, чем его. Ведь она-то должна была понимать, с кем связалась! Не могла ж она не чувствовать запашок…

А она просто притерпелась к запаху. И возмущалась, когда слышала, как о нём нелестно отзываются. Что ещё больше заставляло других презирать её. Но среди самих презиравших тоже было немало с душком. И это вроде как позволяло оправдывать и её, и его: мол, сами вначале отмойтесь, а потом учите других. Но диалог по принципу «сам дурак» до добра ещё никого не доводил. Хотя и подобное сожительство тоже…

Гребнев вспомнил, как в годы его детства в селе, где он родился, случилось такое дело. Уголовное. Через дом от родительского, по соседству считай, жила старушка. Которой детишек пугали. Мол, пряха она, значит, с ведовством знакома. Хотя она всего-то ткала из материалов заказчика половики и прочие нехитрые поделки для сельчан. И жила она не в лесу, на отшибе, а в своём доме почти на центральной улице, жила с дедом, маленьким,

сухоньким да тощим. Но жилистым. На работах всяких и по хозяйству он до старости крутился. Темне не менее, как обычный мастеровитый мужик, и попивал изрядно. А в подпитии частенько побивал старую. Чтоб языком не молола чё ни попадя.

Терпела старуха долго. Всю молодость. И даже в старости. Но однажды…

Дело было летом, дед опять пришёл на бровях или на том, что от них осталось с возрастом — под семьдесят им со старухой было. В общем, пришёл он пьяный в дым. И в дом старуха его не пустила, знала, что будет битой. Оттого и заперлась изнутри.

Дед улёгся на травке у крыльца, благо тепло, сухо, птички поют…

Вряд ли он бы смежил очи, зная, что открыть их ему будет не суждено. Старушка, хоть и не была богатырского сложения, вышла из своего убежища, подняла камень — таких валунов было в каждом дворе по паре штук точно, и уронила его. Камень-то был не из лёгких, некогда ледниковый период занёс, да и забыл среди степи. А убрать ни у кого рука не поднималась — тяжёл камень. Потом здоровенные мужики пытались его поднять, да не у всех вышло. Но старушка не просто подняла и уронила камень. Она уронила его на голову деда. И от головы мало что осталось. Наутро, когда приехала милиция, только присыпанная землёй лужица указывала на место преступления…

Ну так вот, подвёл итог рассуждениям Гребнев…

Даже у бабки терпение лопнуло. Так что обещание стерпится-слюбится — это так, для самоуспокоения. Ведь гусь тоже думал, что купается, пока вода не закипела. И что случится раньше — страна однажды не стерпит очередного унижения, его ли друзья возжелают большего или враги перешагнут через презрение и испачкают руки,

неизвестно. Но мысль, пришедшая в голову Гребнева, была о другом.

Сожительство, как он его видел, как оно и было на самом деле, зашло в тупик. И выхода из тупика уже нет. Поздно. Пути отступления зацементированы. А загнанная в угол крыса от безысходности так просто не сдастся. Искусает, заразит трупным ядом. Хотя яд от никчёмного сожительства уже и так проник во все клетки не только поражённого ложью и пустыми обещаниями мозга, но и одряхлевшего, многократно изнасилованного тела страны. Значит, что-то должно случиться. Но что?

Его рассуждения оборвались, когда он ступил в круг света. От фонаря, стоящего почти впритык к дому. И на доме том — табличка.

Международный проспект. Ниже — номер.

109.

Ничё се! Вот это номер! А где же вокзал?

4

О таком проспекте в Питере Игорь даже не слышал. Куда это он попал? Да, он не лучшим образом знал город, но всё равно такое название, когда он служил в этих краях, ни разу и нигде не звучало. Но это точно проспект. Не только по названию в табличке на облупившейся стене двухэтажного дома. Вон и фонари вдоль проезжей части, и трамвайчики бегут… Знать бы куда…

Минут через десять стало ясно откуда. Слева от осевой проспекта, где были проложены пути, даже во тьме, постепенно редеющей по мере приближения утра, стали угадываться здания, ошибиться в предназначении которых было довольно трудно. Трамвайное депо. Три вытянутых корпуса, в середине которых надстройка второго света. Из-за нехватки освещения электрического. Да и вообще в традиции строить такие коробки корпусов депо, на

железной дороге точно такие же до сих пор стоят. В смысле, во времени Игоря. А тут эти корпуса, которых он никогда прежде не видел, высовывают из своих ворот языки рельсов, сливающихся в общую колею, выходящую на проспект. И на эту линию выкатываются, позвякивая на стыках, вагончики, попарно бегут. Чтоб скучно не было в пути. Ну и чтобы за раз побольше перевезти тружеников, строителей коммунизма. Который так и не будет построен, а останется несбыточной мечтой. Хотя те, кто призывал к его строительству, уже тогда жили в нём. Да и во времени Гребнева живут…

Покрутив головой, Игорь пришёл к выводу, что ошибся он с выбором направления. И от корпусов трамвайного депо повернул назад, к улочке, из которой вышел на проспект. Не доходя до темнеющего своим зевом закоулка, он решил, что теперь-то уж всё точно. Верное направление. Ведь над трамвайными рельсами посреди проспекта на двенадцати колоннах высилась арка. Не триумфальная, конечно, но тоже какая-то победная. Узнаваемая. Потому как победила беспамятство и незнание Игоря. И всё встало на свои места.

Московские ворота. И проспект, стало быть, Московский. Хотя прежде был, видать, Международным — не верить табличке не было оснований.

Мимо на стыках прогрохотал трамвай.

Гребнев машинально отметил его номер — вдруг сгодится. Это тебе не московская «Аннушка» — трамвай номер восемь. И не забит битком — с подножек никто не свисает. Но сидячих мест в двух сцепленных вагонах почти не осталось. Так что Игорь даже не ускорил шаг, чтоб добраться до остановки прежде, чем трамвай продолжит путь. А тут и гудок паровозный раздался там, куда убегал трамвай. Значит, мы точно на верном пути, товарищ.

Поправив фуражку, которая не грела от слова совсем — всё-таки долго он бродил сырой ночью по тёмному городу, Игорь зашагал веселей. Оно всегда так, когда проглядывает финиш. Вон они, пути железнодорожные, пересекающие проспект и трамвайную колею вместе с ним.

Дрожащий рассвет морозной изморозью норовил забраться под дафлкот, щипал за уши. Именно поэтому Гребнев, взявшийся их оттирать, дабы не отморозить, не сразу понял, что там, впереди происходит.

Трамвай, весело позвякивая квадратом окружности колёс, летел вперёд, а сбоку и чуть впереди сновали какие-то люди. С бревном, что ли?

Да это же шлагбаум, догадался Игорь. И он должен был закрыть путь трамваю. Который собирался пересечь железную дорогу. Но запоздали на переезде вручную опускать полосатый брус. Это тебе не автоматический шлагбаум, падающий, как карающий меч. Иногда даже на крышу машины, не остановившейся вовремя. Вот и трамвай не остановился. Но шлагбаум и не думал падать. Хотя по железной дороге, словно сам собой, без локомотива, из темноты провала по другую сторону проспекта уже катил товарный вагон. Обычная теплушка. За ней — ещё несколько.

Гребнев остановился, уже понимая, что сейчас произойдёт непоправимое.

С подножки выкатывающегося из темноты вагона кто-то оглушительно засвистел. Но даже богатырский посвист или Соловей-разбойник не остановили бы надвигающийся на трамвай железнодорожный состав. А тут в свистюльку дул какой-нибудь худосочный сцепщик. Которого в кабине сдающего задом паровоза вряд ли кто услышал за гоготом пламени в топке и шипением избытка пара, вырывающегося из сухопарника.

Вагоновожатый уже должно быть увидел опасность. Но, начни он тормозить, накатывающие из темноты вагоны подмяли бы его. А надежда проскочить обещала жизнь. Не всем. А только тем, кто был в головном вагоне.

В ту же секунду, когда головной вагон трамвая пересёк рубикон переезда, концевой вагон поезда, как оголодавший по женскому телу насильник, налетел на его прицепной моторный вагон, опрокинул и взгромоздился на обломки всем своим гружёным нутром. Взгромоздился, подминая под себя, давя и истребляя всех и вся. Но как минимум — ехавших на работу во втором вагоне трамвая номер восемь…

Со страшным стальным скрежетом, сквозь который к чёрным небесам словно из одной лужёной глотки вырвался крик ужаса и боли, грузовой вагон раздавил трамвайный, как букашку. Безобидную и безвредную. Но сам-то он букашкой не был. Он был молотом. И был наковальней. И бил, бил, бил, продолжая сминать трамвай в своём неудержимом движении вперёд. Хотя и шёл назад. Точнее, задом. А его подпирали, толкали закончить начатое другие вагоны…

Скрежеща и разваливаясь, трамвайный вагон полз вдоль железнодорожных путей. А из его покорёженного нутра вырывались отчаянные мольбы о спасении. Тех немногих, кто ещё был жив. Но и эти крики, как и предсмертные хрипы тех, кому повезло умереть сразу, даже не успев ничего осознать, уже начинали затихать.

Ноги Гребнева словно корни пустили в брусчатку. Да и сам он, хоть ветра и не было, дрожал, как осиновый лист.

Игорь одеревенел.

Сил сдвинуться с места не было от слова совсем. Да и не бегают деревья, разве что в сказках. Так что он бы долго так стоял. Целую вечность. Но продлилась она всего

несколько секунд. До тех пор, когда, словно осознав, что он натворил, в морозное утро не ворвался гудок паровоза.

Гребнев сорвался с места, сразу перейдя в режим спурта перед финишем.

Ещё не понимая, чем он может помочь, Игорь несся так, как никогда не бегал. И даже сердце не рвалось из груди. То ли провал в прошлое затянул в нём раны вместе с омоложением организма, то ли свершившееся у него на глазах придало сил. Но полсотни метров, или даже чуть меньше, что отделяли его от места катастрофы, он пролетел на одном вдохе. И оказался едва ли не самым первым перед развороченным чревом трамвайного вагона.

Вот только подобраться к пострадавшим не было никакой возможности.

Грузовой вагон обеими своими колёсными парами стоял на трамвайном, смятом и перевёрнутом на крышу. И из этой груды металла, затихая, доносились стоны, слушать которые, не имея возможности помочь, не было сил.

Сдвинув фуражку на затылок, Гребнев примерился, подобрался к одному из трамвайных окон — ему показалось, что там шевелится кто-то. Но это опрокинутый трамвай всё ещё двигался по рельсам лёжа на крыше. И в выбитом окне, как предостережение, качалась чья-то зажатая рука. Словно трамвай грозил кому-то пальчиком. Вот только вместо пальца была вся рука. Уже мёртвая. А потому принадлежащая трамваю. И он ею грозил тем, кто только что убил людей, доверившихся восьмому номеру. Который, как водится, оказался шестнадцатым. По интересам погибших.

Рискуя свалиться в месиво вагона, Гребнев добрался по обломкам до качающейся руки.

Рука была женской. И в предсмертной судороге сжимала брезентовую сумочку на защёлке.

Защёлка, соединявшие две серые половинки блестящим стальным зажимом, не выдержала удара и открыла нутро сумки. Из которого на битое стекло скатились два или три рулончика билетов, новогодним серпантином свисая посреди разрухи и на виду у смерти. Зато как на новогодней ёлке. Вот только у кого-то ёлки не будет. Если уже настали времена, когда в СССР позволено встречать новый год. Да ещё и под ёлкой. Но в любом случае той, чья рука маячила в выбитом трамвайном окне, уже никогда ёлкой не любоваться. Разве что склонившейся над её могилой.

Саму женщину не было видно — её тело накрыло боковиной трамвая, да так и придавило, расплющив, раздробив все кости. А рука, вывернутая под неестественным углом, осталась на виду. Но уже и она, пока Игорь добрался до оконного проёма, опала. Как перчатка на банке перебродившей браги.

Сравнение, конечно, с учётом момента, было не лучшим. Но ничего другого в голову Игорю не пришло. Разве что…

Он наклонился, вглядываясь в провал того, что прежде было окном. Но, ничего не увидев, едва ли не носом ткнулся в брезентовую сумку, разинувшую ему навстречу свой зев. В котором ещё остался рулон билетиков и втиснулась в складки материи серая книжица.

Паспорт.

Понимая, что делает что-то не то, Гребнев вытащил документ двумя пальцами.

Света было совсем мало — ближайший уличный фонарь горел за переездом. Сверху сыпал снежок, мелкий, назойливый, мешая видеть даже перед своим носом. Из темноты продолжал пыхкать паром и дымом паровоз. А вокруг уже собирались люди. Много людей. Большинство из которых, как и Игорь, голыми руками пытались помочь

тем, чьи голоса уже ушли в вечность, и они теперь не нуждались в помощи. Но ещё были раненые в головном вагоне, и к ним, заслышав стоны, часть набежавших, поняв, что вручную с завалами не справиться, кинулась с неменьшим рвением, чем прежде к обломкам. И только Игорь, стоящий на обломках вагона, высился над всем этим могильным холмом, пытаясь в утреннем сумраке разобрать буквы в паспорте. Но прежде он ошарашенно замер, увидев маленькую плохонькую фотографию на первой странице.

Женское лицо показалось ему знакомым. Хоть и не знал он здесь никого…

По привычке Игорь хотел было вытянуть руку, чтобы лучше разглядеть то, что было в ней зажато. Но неожиданно понял, что омоложение организма вернуло ему и зоркость. И он не только детально разглядел фото, но и прочёл витиеватые — паспортист, видать, был «из бывших» — строки.

Якушева Мария Осиповна.

То-то лицо показалось знакомым… Сестра? Да нет, же! Мать!

С неведомо откуда взявшейся силой Гребнев потянул раму окна на себя, выворачивая её из боковины сплющенного вагона. И она неожиданно поддалась. Хотя и не было в том особого смысла — рука женщины давно была холоднее, чем забиравшийся под дафлкот Игоря утренний бриз.

Рискуя пораниться засевшими в раме осколками, Гребнев отбросил обломившиеся куски, вытащил ещё какую-то деревянную панель.

Но лучше бы он этого не делал…

Женщина, лежавшая спиной на противоположной стенке вагона, была буквально сплющена, а вокруг неё всё

— забрызгано кровью. Да нет, не забрызгано — залито. И кровь была не только её.

Из-под придавивших тело панелей оказавшегося сверху борта трамвая видны были ещё чьи-то ноги. И руки. И тоже в крови. Но не это оглоушило Игоря.

На него взглянула сама смерть.

Лицо женщины не сильно пострадало, так, царапины на щеках, лоб разбит, но прикрыт враз поседевшим локоном, выбившимся из-под косынки. И если бы не косынка…

И в этом было всё дело: не будь косынки, Гребнев мог бы поклясться, что перед ним Яков Якушев. В тот самый миг, когда Игорь решил, что убил его. Одно лицо. И такое же удивлённо-болезненное выражение. Но перед ним был не Яков. А мёртвая женщина. Хотя и это нельзя было сказать с полной уверенностью — от её тела почти ничего не осталось. Видимого. Вся мёртвая плоть была под рухнувшей боковой стенкой трамвая. И вряд ли там хоть что-то уцелело.

При всём том, что женщина была раздавлена, сплющена, ничто, даже завалившие её обломки, не могло скрыть, что при жизни у Марии Якушевой был довольно большой живот. Для столь хрупкого телосложения. И этот живот, там, где его удавалось разглядеть, был вспорот какими-то железками из конструкции вагона. При всём том, что был трамвай в общей массе своей деревянным, соединительных и несущих балок из металла в нём тоже хватало. Вот один из таких швеллеров и убил Марию. Хотя она могла и раньше умереть — придавленная боковой стенкой трамвая, раздавленная навалившейся массой товарного вагона.

Но, прорвав форменную шинелишку, точку в её короткой жизни поставили именно железяки, разорвав женщине живот от края и до края.

Вывернутые внутренности, саму лишь малость прикрытые полой разорванной шинели, заставили Игоря спрыгнуть с обломков. Он едва устоял, согнувшись в поясе и содрогаясь в конвульсиях рвотных позывов. Но удержал съеденного курёнка в себе. И только что-то горячее потекло по усам.

Он мазнул рукой под носом.

Кровь. Такая же чёрная, как и залившая трамвай вокруг тела Марии Якушевой. Которой и на вид, и по паспорту было едва ли чуть больше двадцати. А крови было так много, потому что она была не одна.

Ну да, ведь это была не только кровь раздавленных рядом с ней. Это была кровь убитого в ней.

Кондуктор Мария Якушева была беремена…

Она не просто потеряла ребёнка. Она умерла вместе с ним. Не сумев пережить потерю.

5

…— Ты чо, морячок? Херово стало? — Гребнева, спрыгнувшего на землю с обломков трамвайного вагона, раздавивших до состояния кровавого месива его будущего знакомца Якова Якушева, прямо в утробе матери раздавившего, кто-то панибратски хлопнул по плечу.

Игорь не ответил. Да и что тут скажешь. Что ему плохо? А тем, кто погиб вместе с Марией, хорошо? Подумаешь, у него-то всего лишь кровь носом пошла. Видать, силы переоценил, когда раму оконную выворачивал, чтоб добраться до женской руки, зовущей и в смерти. Вот и лопнули сосуды. Плохо, конечно, но не настолько, чтобы жаловаться. Чужим, посторонним людям, которые с каждой минутой всё больше и больше заполняли место происшествия.

Да что там происшествия — катастрофы.

Гребневу сложно было судить, сколько погибло, сколько раненых и насколько тяжело. Он, понимая, что ничем и никому помочь не сможет, отошёл чуть в сторону, размазывая кровь по лицу.

А площадь всё заполнялась и заполнялась людьми несмотря на ранний час: милиция, военные, железнодорожники и просто зеваки. Но всем нашлось дело. И только Игорь исключил себя из этого процесса. Он всё ещё сжимал в левой руке паспорт Марии Якушевой. Которой не суждено уже было стать матерью. Как и не суждено родиться Якову.

Но как же он тогда с ним встречался? Или ему просто показалось, что Мария похожа на Якова? Потому как сейчас она была примерно в том же возрасте, как и Яков, когда Гребнев впервые встретился с ним. И фамилия совпала. И Яков, учитывая год их встречи, родиться должен был примерно в тридцатом. Если это, конечно, тридцатый. Не слишком ли много совпадений?

Пока Гребнев ковырялся в своих сомнениях, рядом, прямо на мостовой уже развернулось следствие. Ещё до прибытия следственных органов.

— Куда ты попёр? — орал кто-то на вагоновожатого, стоявшего у своего уцелевшего головного вагона. Вот только у самого вагоновожатого голова не уцелела. Да и лицо было в крови.

— Ну шлагбаум-то открыт был!

— Так мы ж его закрывали! — ответили ему сразу два голоса, мужской и женский.

— И что с того? — не сдавался глубокоуважаемый вагоноуважатый, держась левой рукой за разбитую голову. — Я тут который год езжу, даже после закрытия шлагбаума до поезда остаётся пять минут. Пять! Не меньше! А тут ещё открыто было! Да я десять раз мог проскочить. Если бы поезд не был уже на переезде…

— Ну так и мы закрывать стали, когда вагон увидели, — подтвердил правоту вагоновожатого мужчина из тех, кто кричал о закрытии шлагбаума. — Нас самих никто не предупредил…

Извечный русский бардак, подумал, прислушиваясь к выкрикам на месте трагедии, Гребнев. Один команду не дал, другой не доглядел, третий решил, что авось пронесёт.

Не пронесло. И это ещё Игорь не знал, что ровно за неделю до трагедии в правление Октябрьской железной дороги было направлено предложение Ленсовета о запрете маневров поездов на этом участке в период с 7.00 до 8.00, так как они задерживали движение трамваев, везущих рабочих на заводы. Правление сообщило в Ленсовет, что предложение удовлетворено, и маневры запрещены, но это, как всегда, оказалось ложью, обычным очковтирательством.

Однако следствие, не выявив истинных виновников, как водится, назначило стрелочников. В прямом смысле. И до правления правосудие не добралось. По самому большому счёту никого не волновало, что в трамвае погибли рабочие, ехавшие на заводы — 28 человек. И одна — женщина. Кондуктор. Нужен был показательный процесс. Дело находилось на контроле ЦК ВКП(б), откуда в Ленинград направили телеграмму с требованием немедленно разобраться и найти и наказать виновных. И обстоятельства аварии были установлены в течение суток. А открытый процесс по делу о катастрофе начался уже 4 декабря 1930 года, он проходил под председательством члена облсуда Ростовцева, при участии народных заседателей Зибзеева и Валькова. Ровно через неделю после трагедии, 8 декабря 1930 года, был вынесен и приговор.

Вагоновожатого Савельева, сторожа Борисову, сцепщика Орлова, начальника 41-го околотка Зеваева,

помощника заведующего службой движения Моргунова, инженера Закутина, замначальника эксплуатационной группы 6-го района Левинсона, начальника ст. Ленинград-Варшавская Мурника суд по ст. 16 и ч 1 ст. 112 УК РСФСР приговорил к 10 годам лишения свободы.

Писаревича, помощника Зеваева, по тем же статьям приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях. Сторожа Задорёнок, путевого мастера 4-го околотка Шорец, заведующего 2-м участком службы движения Давыдова, его помощника Царюка приговорили по ст. 111 УК к 3 годам лишения свободы с отбыванием в лагерях.

Главного архитектора Льва Ильина и районного архитектора Долгрину, а также техника 6-го участка Финогенову приговорили по ст. 111 УК к году принудительных работ по месту жительства и работы с оплатой в 50%.

Вот так, чем выше сидела руководящая обезьяна, тем меньше её коснулась железная рука закона. Вина осуждённых была несомненной. Но главные виновники даже не испугались. Ну а чо, таков советский суд, самый бездушный и беспринципный суд в мире. Примечательно, что судья Иван Григорьевич Ростовцев и сам был арестован в 1938 году. Ибо не судите, и не судимы будете. Но то не в России…

Однако трамвайная катастрофа на Международном проспекте — это не только трагические ошибки, за которые кто-то ответил по справедливости и по закону, а кого-то наказали за компанию. Это ещё и совпадение сразу нескольких роковых случайностей.

Первая — авария произошла практически на пустой магистрали. Но это ещё что: в США первая автомобильная авария произошла в штате, где было всего две (!) машины. И они столкнулись!

Вторая роковая случайность — трамвай № 8 по Международному проспекту до этого не ходил. Но 1 декабря 1930 года его перебросили на этот маршрут.

Третья роковая случайность — как это ни удивительно, грузовой вагон не просто въехал в трамвай, а взгромоздился на него сверху. Как такое вообще могло произойти, неясно. Ведь если бы трамвайные колеса в момент удара соскочили с рельсов и состав протащил трамвай перед собой, а не навалился на него, не было бы столько жертв.

В четвертой же случайности можно разглядеть злую иронию. Авария случилась в первый же день объявленной в Ленинграде «Декады безопасности на городском общественном транспорте»…

Похороны 22 из 28 погибших были организованы облисполкомом 4 декабря 1930 года — на Коммунистической (!) площадке кладбища Новодевичьего монастыря. Некоторые могилы сохранились и до наших дней, справа от входа, в дальней, южной части кладбища. Но там не было могилы Марии Якушевой. Её похоронили как безымянную, где-то в другом месте. Торопились, было не до опознания какой-то там девицы. А документов при ней не оказалось…

Ничего этого Гребнев не знал. До самого вечера, когда уже на вокзале не выхватил у мальчонки, торговавшего газетами, сложенный вчетверо листок «Красной газеты». Тогда он и дату узнал.

1 декабря 1930 года.

В вечернем выпуске «Красной газеты» была пусть маленькая, но заметка о трагедии. Гребнев даже позавидовал оперативности, не все центральный газеты поспевали с важными новостями в вечерний выпуск, а о некоторых событиях вообще умалчивали, если от них за версту несло бедой. Как, например, о Чернобыльской трагедии. Или о

давке в Лужниках, где осенью 1982 года погибли 66 человек. И не потому молчали, что боялись напугать граждан. Это мало кого беспокоило. И даже протестное настроение народа после таких новостей не пугало.

Важно было не испортить настроение с пищеварением самому главному начальнику. Чтоб он спал спокойно. Впрочем, со временем и этот страх ушёл. Потому как самому главному, пусть и сменилось их несколько с той поры, с первых умалчиваний, стали давать не газеты, а выжимки из них. Крупными буквами на отдельных листах. Что создавало видимость большого потока информации — вон сколько листов получилось, читать, не перечитать. С учётом же неумения пользоваться интернетом и другими поисковыми ресурсами, это надёжно ограждало деградирующих вождей от душевных волнений, если у них хоть что-то было за душой. Но они по мере просиживания в руководящих креслах всё больше и больше впадали в маразм и самолюбование. Так что это было излишеством. Хоть и ограждало от стрессов по поводу таких пустяков, как трагедии простого люда. Да и просто от реальности ограждало. Ничего нового, для португальского диктатора Салазара вообще печатали в единственном экземпляре его любимую газету Diário de Notícias, рассказывающую только хорошие новости.

А тут провинциальная, считай, газета, в вечер трагедии уже пытается говорить правду…

Игорь быстро нашёл заметку, о которой кричал мальчонка.

«В последнюю минуту

Трамвайная катастрофа

Сегодня, в 7 ч. 58 м. утра на Международном просп. у д. №98 — Бычий Пост Варшавской соединительной железнодорожной линии — произошла катастрофа трамвая маршрута №8. Трамвай шёл по направлению из

города к заводу «Электросила». В это время паровоз осаживал состав гружёных вагонов. Последний гружёный вагон наскочил на моторный вагон трамвая, влез на него опрокинул и своей тяжестью раздавил его. Убито 28 чел., тяжело ранено 8, легко — 11.»

Это всё, что он узнал за день, проведённый в далёком, очень далеком по меркам прежних вояжей, прошлом. Ну и ещё паспорт в кармане. Который он зачем-то сунул туда, да так и забыл отдать, когда место трагедии заполонили все кто угодно, но не истинные её виновники. Которым стоило бы взглянуть на дело рук своих…

6

До самого вечера его одолевали какие-то смутные мысли, сформулировать которые до удобоваримого формата никак не удавалось. Перед глазами стояло лицо Марии. Спокойно-умиротворённое. С выражением «ну, вот, отмучилась»…

На автопилоте он пообедал в каком-то трактире — видать, остатки нэпмановской роскоши, не успели ещё закрыть, перепрофилировать в фабрику питания. Неприкаянным, как в Москве по возвращению из Казани, после побега из психушки, долго бродил по улицам. И не узнавал их. Не по причине других названий. И не ввиду практически полного отсутствия автомобильного движения.

Мимо, на любом отрезке улицы через проезжую часть сновали люди. Чему удивляться, если единственный светофор был на пересечении Невского, точнее проспекта 25 октября с Литейным. Точнее, это Игорь думал, что с Литейным. Но небрежная табличка доказывала, что никакой это не Литейный. А улица Нахимсона. Но такую он знал совсем в другом городе — в Ярославле. Там, где тот и погиб. По одной из версий — зарублен шашками в 1918-м восставшими ярославцами в «Бристоле», самой

фешенебельной гостинице города. Где предавался совсем не революционным утехам. По причине чего и проморгал восстание. Однако он не один такой герой был. А поди ж ты, отметился на городской карте ещё и в северной столице. Ещё и светофор ему поставили. Первый в стране. Но не бежать же через весь Невский всем туда для перехода улицы. Да и люди, сновавшие вокруг, были не совсем людьми. Не люди — тени. Их тени на брусчатке, кривляясь в выбоинах, были куда как более живые. А у вертикальных теней даже тени улыбки на лице не было. Измождённом, надо бы добавить, лице. Или лицах. Хотя что их было множить — все как на подбор, никакой индивидуальности. Так что лицо у города было одно на всех его обитателей. В чём Гребнев досконально убедился, дойдя всё же до вокзала. Нужного ему Балтийского.

Здесь тоже время отправления поездов изменилось. Так ведь и само время стало иным. Но дело было в другом. Изменились интервалы между поездами. Их стало куда меньше. Поездов. А интервалы — больше. И вагоны страшнее. Как тот, что некогда привиделся Игорю в одном из его путешествий. Хотя тогда он вроде как в будущее попал. На несколько минут.

Теперь же, в этом глубоком прошлом, домой его вёз вагон ещё из тех, дореволюционных, видать. Со сломанными скамейками, с разбитыми и забитыми досками окнами, с лязгающими и готовыми порваться сцепками… А ведь с революции тринадцать лет прошло… Или это само число такое несчастливое?

Об этом у него ещё будет время подумать…

На своей станции он мимоходом взглянул на своё отражение в стекле распахнувшейся двери, и до самого дома ни о чём таком не думал. Пока на пыльной столешнице на кухне в своей квартире, ещё не сняв дафлкот, не увидел выведенное пальцем: «Папа, ты где?».

По спине пробежал холодок.

И что ж она не позвонила? Или звонила?

Она — это младшая. Раз написала, то, значит, была здесь, у старшей нет ключей. Да старшая и в его присутствии не пришла бы.

Но не в этом было дело. А в пыли.

Сколько же он отсутствовал, что пыли набралось столько, что на ней можно писать? Но при этом, сколько он ни принюхивался, затхлости в квартире не было.

Он первым делом распахнул холодильник.

Лампочка светится, мотор урчит, но полки пусты. Уже хорошо. Сколько бы он ни отсутствовал, но плесенью не зарос. Дочка, видать, выбросила всё. Не только испортившееся. А не испортиться продукты не могли. Раз даже пыль легла толстым пышным слоем…

Но, с другой стороны, он лишь перекусил слегка за весь день, точнее за сутки, если не считать жилистого курёнка, съеденного на ходу. А из еды в доме — голяк голимый. Хотя буквально вчера здесь было полно разносолов, приготовленных к новогоднему столу. За которым он никого так и не собрал…

Ещё не сообразив, что к чему, Гребнев распахнул дверцы всех шкафчиков в поисках съестного.

Фу-х, повезло. Он всегда был запасливый. Конечно, еда была долгоиграющей и из того разряда, что он позволял себе лишь изредка. По причине её вредности. Рис в стеклянной банке с плотной крышкой, макароны — упаковка спагетти, тунец в железной баночке. Специй — целая полка. Однако стоят совсем не так, как он привык. Значит, здесь тоже был наведён порядок, и все просроченные продукты ушли в мусор.

Так и не раздевшись, Игорь набрал воды в кастрюлю, включил газ. И только потом вернулся в коридорчик, чтобы разоблачиться. И сразу припрятать наган. В

нише за дверью, где некогда были датчики сигнализации. От неё он давно избавился — грабить в квартире было особо нечего, платить за ненужную охрану дороговато выходило, а вот коробка в стене осталась.

Теперь, когда пошло время ожидания позднего ужина, можно было и поразмыслить. Хотя от этого процесса его избавил поход в большую комнату. Где некогда он был почти убит. И там, на столике у дивана, на котором перед ним обнажалась Катерина, совсем не с той целью, о которой можно было бы подумать, зная, что в комнате двое, мужчина и женщина, Гребнев нашёл ответы на все свои вопросы. Или почти на все. Но только после того, как дважды перечитал написанное неровным почерком послание.

«Ну, вот, товарищ капитан первого ранга, никогда не думала, что писать такое письмо придётся вновь…»

Игорь вспомнил: именно этими словами начиналось послание дочери ему в реанимацию. Посетителей ещё не пускали, но передачи уже принимали. В пакете было письмо и три апельсина. Фрукты он тут же отдал докторше с наказом вручить сыну — первым делом, едва осмыслив, что он выжил, Гребнев установил, что миловидную врачевательницу, приставленную к нему в качестве лечащего врача, муж бросил с ребёнком, и под новый год на подарки мальчонке рассчитывать не приходится. В ту пору ещё кое-как ещё платили военным и пенсионерам, остальные денег не видали месяцами. В том числе и медики.

— Скажете, от Деда Мороза, — он и вправду был похож тогда на деда: глаза погасли, щёки ввалились, усы и виски впервые обильно присыпало сединой. А главное борода — три дня не тронутая бритвой, делала его дедом точно. Но Морозом ли…

Докторша долго отказывалась, однако всё ж не могла избежать соблазна порадовать ребёнка. А Игорь взялся за письмо. Написанное внезапно повзрослевшей его девочкой. Осознавшей, что отец может и не выйти из больницы. Она писала, чтоб передать эту свою боль. И выразить свою поддержку. С надеждой, что всё обойдётся.

Тогда действительно обошлось. Он выжил. Не в последнюю очередь благодаря и письму. Не только придавшему силы, но и разбудившему желание жить. Вопреки диагнозу. И поспешному ответу больничной справочной на звонки друзей «Больше не значится…». Многие поверили. И даже на венок скинулись. А он выжил. Ведь его ждали за стенами реанимационной палаты, и он, как всегда, не мог обмануть ожидания.

Это письмо Игорь в трудные моменты перечитывал не раз. Хотя и так помнил почти дословно. И вечно, уже на первых строчках, у него наворачивались слёзы на глазах. Пусть и не был он плаксив. Просто понимал, чего стоили его дочери слова, написанные ещё неустоявшимся, но уже не детским, судя по содержанию, почерком: «Ну что я тут могу сказать? Сказать, что я сочувствую, что нам тебя страшно не хватает, значит, ничего не сказать. Я прекрасно понимаю, как там тебе сейчас больно, противно и скучно. В общем, влип ты, папа, дальше некуда! Давай, лечись, и не надо никакого героизма. Твои товарищи целыми днями телефон обрывают. Ты выздоравливай, чтобы я смогла сказать им что-нибудь хорошее, а не просто мычать в трубку…»

Воспоминания это, конечно, хорошо. Но стоило вернуться к новому письму, чтоб всё понять.

«Во-первых, прости, пап. Но ты первый начал. Исчез, не сказав ни слова. Так что мы, не исключено, долго теперь не увидимся. Потому теперь что ухожу я. Не могу

не уйти. Со временем ты сам поймешь, почему я так поступила, но пока скажу так: иначе бы меня уже не было».

Дочка была права — он начал первым. Когда исчез, никому ничего не сказав. Ну так он и не предполагал, что провалится во времени так далеко. Но должен был предусмотреть. Не маленький. Оки-доки, Оксана-доченька, если полностью, тоже не маленькая давно уже, а заранее предупреждает. Только о чём это она?

«Ты, к сожалению, оказался прав. Когда говорил, что благодаря нынешней власти наступит время, и фашизм из книжных определений станет реальностью. Хотя и подчёркивал, что надеешься, что это не произойдёт. Увы, твои надежды не сбылись. Он не только стал реальностью — шагает победной поступью по стране. С радостным воодушевлением встречающей фашистские колонны. И требующей истреблять инакомыслящих. Таких, как я. Благодаря тебе мыслящих инако. Это не в укор. А с благодарностью. За наши споры, в которых если и не рождалась истина, то проклёвывались семена разумного, доброго, вечного. Которое в этой стране сейчас вытаптывают сапогами. Выжигают калёным железом. Истребляют сказочными по своему дебилизму и отмороженности тюремными сроками. Или, куда проще, превращая живых людей в овощ, избив толпой или настучав дубинками по голове. Которая, в отличие от бьющих, думала, а не хотела брать под козырёк».

А вот это уже что-то новенькое. Неужто случилось то, что он предполагал? Не, ну а чо, после Крымнаша вполне. Вот только, похоже, что-то он преуменьшил в своих прогнозах. Как не верил до конца в возвращение Крыма в «родную гавань». А потом уклонялся от митингов в поддержку этого. За что едва не был выставлен со службы. Хотя его всё-таки выставили. Но позже…

«Я не захотела дожидаться, когда настанет мой черёд — сколько было до меня тех, кто не успел принять такое решение, сам узнаешь, когда вернёшься. В том же, что вернёшься, я уверена. И только поэтому, чтоб потом когда-нибудь свидеться, я сегодня улетаю. Навсегда. Туда, где меня не достанут. Не стану говорить, что не вернусь никогда. Но никогда при этой власти — точно. Думаю, ты одобришь, когда будешь знать всё. Хотя, не исключено, и знаешь. Ведь ты мне писал. Не оставив, правда, обратного адреса… Но, по крайней мере, благодаря этому я была уверена, что ты жив».

Так, очень интересно. Он, оказывается, писал дочери. До того, как вернулся в сегодняшний день.

Сие может означать только одно: он уже возвращался. Но только приходил в более ранние, чем сегодня, времена. О которых то ли забыл, то ли они, ввиду запутанности его перемещений во времени, ещё не наступили. Это открытие могло иметь важное значение, но Игорю было сейчас не до него. Потому как слишком много неизвестных в уравнении, которое он вознамерился решить по своему возвращению.

«Во-вторых, я желаю тебе перетерпеть и не сорваться, когда вернешься. Чтобы выжить. И подумать о том, чтобы податься вслед за мной. Надеюсь, что у меня получится закрепиться там… Ну, в общем, мы с тобой обсуждали это как-то…

В-третьих, и прочее, которое так далее…

Это не для эпистол, тут даже личной встречи будет мало…».

Что ж, Оксана у него умница. И понимала, что лишнюю информацию бумаге доверять не стоит. Коли уж дошло до того, что ей пришлось, как бы это помягче сказать, убыть в неизвестном направлении.

«Я люблю тебя, пап. И спасибо тебе, что ты такой, каким был. Ой, извини — уверена, есть. И ещё будешь. Когда вернёшься. И мы встретимся. И ты расскажешь мне, где пропадал и откуда слал такие загадочные электронные письма. И ни одного звонка. Ну, да, телефон твой был дома. Но так это ж не проблема сейчас. Хотя бы на ватсап кинул весточку из тех же точек, где был интернет, благодаря которому твои письма дошли. Правда, если бы не эти твои словечки, я бы не поверила, что это ты. Так что за тобой должок — всё мне рассказать».

Это было совсем не похоже на Оки-доки. С её непримиримостью к сюси-пуси. Хотя «Я люблю тебя, пап» это уже во второй раз. Впервые она призналась в этом в том, в первом письме. В получении которого адресатом не была уверена. Хотя там он и не пропадал. Да, лежал в реанимации, при смерти. Но не исчез же… Ну да ладно, не об этом сейчас. Он её тоже любит. И вечно мучился тем, как бы подобрать слова, чтобы сказать, и это не выглядело пошло. Не обидело его девочку. Которая могла вспыхнуть как сухая трава, от малейшей искры. А теперь вот и сказать это он не может. Некому.

«Ну, всё, мне пора. Такси уже у подъезда.

Целую, твоя Оки-доки».

7

Он мало что понял из прочитанного. Только то, о чём и так догадался — не было его дома очень долго. И за это время много чего произошло. С чем придётся ещё разбираться. И тоже, видать, долго. Раз даже Оксанка, Оки-доки, как звали её в семье, когда семья ещё была, не сумела внятно и коротко изложить. И сама куда-то уехала. Надолго, если не насовсем.

Гребнев отложил исписанный с двух сторон лист бумаги. Прошествовал на кухню, где в кастрюльке уже

почти выкипела вода, и последние пузырьки громко лопались на утолщённом днище кастрюли. Есть резко расхотелось. Надо было восполнять иной голод. Информационный.

Игорь включил ноутбук. Прежде, чем открыть ему доступ к рабочему столу, экран долго мучился в родовых судорогах обновлений. За это время ожил его телефон, поставленный на подзарядку, и тоже обновился бы. Но на экране смартфона светилась только одна надпись.

Номер больше не обслуживается. Вот-те нате… С чего бы? Потом до него дошло.

Пыль. Она покрыла не только столешницу, но и его телефонный счёт. Нет денег — нет связи. Значит, всё придётся начинать сначала.

А как же квартира? Её-то ведь тоже могли отобрать. Как телефонный номер. Он нервно сжимал и разжимал кулаки, дожидаясь пока обновления установятся на ноутбук, и можно будет посмотреть счёт в банке. И просто новости.

Наконец его электронный проводник в мир информации дошёл до нужной кондиции осовременивания своих программных недр. И Гребнев тут же ринулся в Интернет. Вместо того, чтоб хотя бы на миг задержаться, глянуть на дату в правом нижнем углу экрана. Задержаться, и осмыслить. Сложив с тем, что написала дочка…

Но он, как частенько с ним случалось, прежде начал действовать, чем думать.

Банк долго переваривал пароль. Игорь уж решил было, что придётся и доступ в банк восстанавливать, а это мороки на час, не меньше, да и то если успешно получится сделать селфи с паспортом. Он уже как-то проходил этот путь, и банк долго не мог сопоставить его лицо с фотографией в паспорте. Но без телефона это был гиблый номер. В том смысле, что номера не было вовсе, и откуда бы он

звонил в банк? Замкнутый круг. Разомкнувшийся неожиданным образом.

Банк принял пароль.

Лихорадочно бегая глазами по истории списков расходов, Гребнев никак не мог взять в толк, что значили эти цифры. Потом, постепенно, дошло.

Он когда-то давно подключил автоплатёж по коммуналке. Так, на всякий случай, вдруг забудет что-то оплатить, более всего он не мыслил себя должником. Что с уходом жены, которая держала на контроле такие бытовые мелочи, было вполне возможно. Однако автоплатежом он так и не воспользовался ни разу. И всякий раз вводил свежие данные расходов — воды, газа, электричества… Менялись показания, менялись и счета. Пока он не убыл в свой последний вояж. Вот тут и заработал автоплатёж. И за время его отсутствия со счетов ежемесячно списывались одинаковые суммы — по нормам потребления, данные-то никто не передавал. Так что, и это была первая хорошая новость за вечер, в результате набежал солидный должок. Но за коммунальщиками. Хотя на вкладах, пусть и небольших, были деньги, но и эта прибавка тоже что-то, да значила. Она перекроет его ближайшие платежи с большим плюсом. Но после перерасчёта. Который в лучшем случае сделают только после окончания праздничных каникул.

Второй хорошей новостью были набежавшие проценты по вкладам. Но откуда так много?

Только теперь Игорь вгляделся в даты. Хотя сделать это должен был сразу, едва отложив письмо дочери.

Он-то думал, что за окном третье января. На худой конец четвёртое. И ладно бы год пролетел.

Но когда до него дошло то, что поначалу ускользало, у Игоря от удивления и растерянности глаза стали как чайные блюдца.

А всего-то стоило пролистать историю платежей чуть дальше, не на два, а на три дня…

30 ноября 2024 года.

В этот день ему начислили пенсию. Потому как день её выплаты, 1 декабря, пришёлся на выходной. Вот и получил он пенсию за декабрь на день раньше. Что было в данном случае несущественно.

Значение имело то, что вернулся он спустя почти четыре года!

Вот откуда пыль. Да ещё таким слоем…

8

До самого утра Гребнев, не отрываясь, ходил от ссылки к ссылке, восстанавливая упущенное за минувшие четыре года. Которые не прошли для него даром. Перед тем, как основательно усесться за ноутбук, он полчаса плескался в ванной, вымывая оставшуюся кое-где под ногтями кровь погибших в трамвайной катастрофе и въевшийся в кожу запах минувших лет. И всё это время в запотевшем зеркале Игорь видел молодое крепкое тело, явно не соответствующее его шестидесяти годам. Или теперь уже большему их количеству? Но на вид стало куда меньше, чем шестьдесят! Однако это несоответствие он оставил на потом. Прежде нужно было разобраться в том, что происходит за стенами его квартиры.

А за ними было то, чего боялись выжившие из ума старухи, голосившие «Только б не было войны!», но упорно голосовавшие именно за того, кто её развязал. Хоть и стыдливо называл специальной операцией. Да только история не знает операций, длившихся столь долго, что не каждая война продолжалась столько. Даже без учёта того, что некоторые объявленные войны длились вообще всего несколько минут. Но то войны. Операция — это другое.

Ещё в тридцатые годы минувшего столетия, примерно тогда же, когда Гребнев оказался свидетелем трагедии на Международном проспекте Ленинграда, советская военная наука дала операции научное определение. Которое, как оказалось, неизвестно тем, кто вешал лапшу на уши рабски послушному народу. Недоучки-с. Выкормыши спецслужб, полагающие, что приставка «спец» снимает все вопросы. Если у кого они ненароком возникнут. Но для человека военного, да что там, просто для умного, операция — это форма ведения военных действий, совокупность согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени ударов, манёвров, боёв и сражений разнородных войск (сил) видов Вооружённых Сил, которые проводятся одновременно и последовательно в соответствии с единым замыслом и планом для решения задач на театре военных действий или операционном направлении в установленный период времени. Как-то так, если почти дословно.

Кроме ведения боёв, иных признаков операции, сколько ни листал интернет Гребнев, читая что официальные сводки, что мнения экспертов и диванных стратегов, не нашёл. Начиная с главного — в установленный период времени. Потому как начало было. А вот конца не предвиделось. Как не просматривался и замысел. Ибо цели происходящего, меняющиеся чуть ли не еженедельно, были расплывчаты настолько, что достичь их было невозможно. Даже ударом по площадям.

Это одна сторона медали. Другая же была в том, что по завершению операции должно быть достигнуто некое улучшение для стороны, начавшей или проводившей операцию. Конца её ещё не предвиделось, как Игорь, будучи военным не только по званию, но и по складу ума и образованию, установил довольно быстро. А вот последствия были уже налицо. И они ничуть не улучшали

ситуацию и положение дел, что были до её начала. Наоборот, налицо — ухудшение, сравнимое с поражением как минимум в локальной войне.

Да, изучая происходящее уже в ретроспективе, Гребнев мог судить о том, что в результате этой спецоперации прибавились территории. Некогда пусть и не процветающие, но куда более высокие по уровню жизни с граничащими с ними областями России. Однако этот прирост был так себе — получили-то выжженную землю. С остатками населения, ненавидящего, пусть и втихую, оккупантов. А кем, как не оккупантами, были «освободители»? Территории-то захватили, присоединили… Всякие там референдумы — это так, понты для старушек, верующих в распятых мальчиков, спасать которых якобы и пришли похитители унитазов. Правда, к тому времени, когда Гребнев погрузился в дебри этой не-войны, унитазы уже закончились. И в «освобождённых» городах население ходило по нужде в пакетики, которые потом выбрасывало из окон многоэтажек: не стало воды — ни обед приготовить, ни смыть дерьмо. Нечем. Пришёл немытый «русский мир». Которому оказалось мало своей земли. В которой нет порядка даже в больших городах. А сёла просто вымирают. Сотнями. И при этом ради приращения никому ненужных площадей тысячами гибнут «освободители». На чужой земле гибнут. За деньги, заметьте. То бишь, этот «патриотизьм» хорошо оплачивается. Правда, деньги не всегда доходят до адресата. Чаще потому, что, прежде чем на них претендовать, он становится удобрением в украинском чернозёме. Но если повезло выжить, то над ним сгущаются тучи из желающих поживиться на чужой крови. От взводного и ротного и заканчивая армейскими чинами уровня дивизии и губернскими деятелями, распиливающими бюджеты на возведение фортификационных сооружений и укрытий для граждан. Тех самых граждан, у

которых и мысли не возникает: как же так, до начала операции никуда укрываться не нужно было, никакие БПЛА не прилетали, а на истекающем третьем году не-войны— нате, выньте и положьте.

Но это-то ладно. Речь о деньгах. Наёмников, а все «освободители» ни кто иные, как «дикие гуси», ибо воюют не за честь и свободу страны, не территориальную её целостность отстаивают, а сражаются за рубли. И грабят своих же. Волонтёры, якобы собирающие средства для закупки вооружений — хороша армия, что ей на патроны всем миром сбрасываться нужно. Сослуживцы, занимающие должности при складах и штабах. У одних надо купить оружие и средства защиты, у других — право не ходить в самоубийственные атаки. Ибо единственным способом ведения военных действий у атакующих который год практикуется «мясной штурм». Это когда собирают всех — добровольцев, мобилизованных, вызвавшихся искупить вину преступников и раненых в прежних штурмах — и бросают под кинжальный огонь. Куда там Жукову, которому приписывали фразу «русские бабы ещё нарожают». Но у того хоть результат был. Здесь успешным результатом считалось положить столько трупов, чтоб они покрыли завоёванную площадь в один слой. А не в два. По итогу же положенные покойникам и их семьям выплаты оседали в карманах ушлых торговцев смертью.

Игорю сложно было за одну ночь всё систематизировать и выдать какой-то итоговый результат, годный анализ всего происходящего. Поэтому он выхватывал отдельные куски. Из которых всё равно складывалась неприглядная мозаика. Но дело в том, что эту-то картину — деградации и упадка страны — он и предполагал увидеть при бездарных руководителях. Но не думал, что это пройдёт ещё и через войну. Красной нитью пройдёт. Хотя уже когда митинговали «Крымнаш!», можно было

предположить, что безнаказанность спровоцирует дальнейшие шаги. Тем более что Крым, даже с построенным мостом, ничего не прибавил. И очередной всплеск патриотизма быстро угас. Вместе со всенародной любовью к вождю.

Вот поднялся Вождь в свой ничтожный рост
И в усмешке скривил рот.
И сказал он так: «Этот первый тост —
За великий русский народ!
Нет суровей, — сказал он, — его судьбы.
Всех страданий его не счесть.
Без него мы стали бы все рабы,
А не то, что мы ныне есть.
Больше всех он крови за нас пролил.
Больше всех источал он пот.
Хуже всех он ел. Еще хуже пил.
Жил как самый паршивый скот.
Сколько всяких гнусных и черных дел
С ним вершили на всякий лад!
Он такое, признаюсь, от нас стерпел,
Что курортом покажется ад.
Много ль мы ему принесли добра?!
До сих пор я в толк не возьму:
Почему всегда он на веру брал
Что мы нагло врали ему?
И какой болван на Земле другой
На спине б своей нас ютил?!
Назовите мне, кто б своей рукой
Палачей своих защитил…»
Вождь поднял бокал. Отхлебнул вина.
Просветлели глаза Отца.
Он усы утер. Никакая вина
Не мрачила его лица.
Ликованием вмиг переполнился зал…

А истерзанный русский народ
С умилением слёзы восторга лизал,
Все грехи ему отпустив наперёд…

Но так это видели поэты и диссиденты. При предыдущем вожде. Но и тогда, и сейчас народ видел иначе. Поэтому ему после крымского угара предложили биться с «нацизмом» в соседней стране. Чтоб он не потребовал вместо храмов строить школы, больницы и дороги, выпускать свои машины, а не «Москвичи», у которых из отечественного только шильдик на радиаторе. Да и тот по цене ушедшего из страны «Фольксвагена».

Но что такое народ, русский народ в особенности? Это особое сообщество людей, люто презирающих соседа, завидующих ему, не желающее работать честно и на совесть, но жаждущее благ, недоступных даже тем, кто трудится не разгибаясь. И при этом кланяться в пол своим начальникам. В этом плане хуже русских только северные корейцы — даже в полностью больном на голову Иране, и то люди умнее, и порой пытаются свои права отстаивать. А русские только и могут земные поклоны бить. До тех пор, покуда лоб не разобьют. Но дураку на то плевать. Ему так сказали. А он — раб. Джинн был рабом лампы. Русский — раб телевизора. Не случайно из всех изобретений, изменивших мир, только телевизор принадлежит русскому гению. Да и то создан он уже в ином, свободном мире. Может, потому и не победил там. Но, вернувшись готовым продуктом на родину изобретателя, нашёл благодарные уши. Уже раскрытые для пропаганды. И рабы окончательно поехали умом. Если он был…

За время, проведённое за чтением десятка открытых вкладок, Гребнев несколько раз наткнулся на обвинения в адрес обитателя мавзолея на Красной площади Москвы. Тупых в своей примитивности. Разбивающихся в

пух и прах при малейшей попытке проверки. И при всей своей нелюбви к автору, чьи работы ему пришлось многократно конспектировать, должен был признать: дураками были те, кто его винил в несуществующих грехах, при наличии истинных. Ибо не знали они классика так, как знал хотя бы Игорь, не очень и глубоко погружавшийся в его учения. Но он знал главное. Чего не усвоили всплывшие во власти.

Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер.

Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб.

Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, позволяющем ему украсть у соседа унитаз, неизвестно, правда, зачем, потому как в его землянке или времянке периода второй мировой нет ни отопления, ни водопровода, ни, тем более, канализации, есть холоп, хам.

Русский народ, отправившийся воевать за деньги, захватывать чужие земли, убивать мирных жителей потому, что ему так сказали голоса в голове, ой в телевизоре, именно такой хам и есть. И вся избранность русского народа в том, что нет его презренней и подлей. А уж на его вождях и вовсе клейма ставить негде. Их образованность, культурность и просвещенность есть только разновидность квалифицированной проституции. Маскирующей безграмотность и тупость, причём несусветную. Впрочем, и сам классик, досель не преданный земле, чьи слова Игорь лишь чуть-чуть подправил сообразно моменту, был не подарок. Однако нынешние хамы, по головам вошедшие в чертоги власти, ему и вовсе не чета. И по делам их узнаём мы их…

Дела же шли не то чтобы плохо. А хуже некуда. И под утро Гребнев уже знал причину, вынудившую его Оксану решиться на самоубийственный шаг к спасению. Предпочтя его гарантированной гибели в застенках власти. В чём и Игорь был виноват.

Это он едва ли не с пелёнок внушил младшей, любимой дочери, что за всё нужно отвечать. И чем выше пальма, на которую влез начальник, причём, любой, тем не только лучше виден его зад. Но и тем выше степень ответственности. Его ответственности. Личной. И перед начальством нужно не стелиться вьюном, а строго спрашивать. Потому как если они, вожди, слуги народные, то и не должны жрать слаще хозяев. И работать не на свой карман должны, а на благо тех, кому вызвались служить. Их же силком во власть никто не загонял. Сами рвались. А раз дорвались, то будьте любезны, отвечайте. За всё, что натворили.

Вместо этого, как выяснил Гребнев в ходе быстрого сёрфинга по новостным сайтам, ответственными за это самое всё назначили неких «иностранных агентов». У которых, в отличие от сидящих во власти, не было ни поместий за пределами страны, ни валютных счетов, ни десятков импортных машин и квартир в самых фешенебельных жилых комплексах по всей стране. Но было, пусть и не у всех, обострённое чувство справедливости. И желание задавать неудобные вопросы. Типа, а откуда у вас, гражданин хороший, при такой мизерной зарплате и работе на галерах, не предполагающей владение фабриками-заводами и личными самолётами и не оставляющей времени на другие способы добычи денег из воздуха, особняки с подземными залами развлечений и яхты, одно только содержание которых сопоставимо с бюджетом уездных городишек, обречённых на вымирание под вашим «мудрым» руководством?

Вот этих-то людей и назначили главными врагами в стране. А коль они не унимались, и всюду лезли со своими вопросами, то… В общем, если враг не сдаётся, то его уничтожают. И к утру Гребнев уже знал с дюжину имён тех, кто задал власти такие вопросы. И потому не дожил до этого дня. Именно это и имела ввиду его Оки-доки, когда писала, что не станет дожидаться своей очереди. Ведь молох, пожиравший лучших детей страны, работал исправно, еженедельно по пятницам выдавая списки тех, кто был обречён на заклание. И упаси их бог остаться в стране до следующего за объявлением врагом дня. Кто не успел, тот…

Или сел по быстренько сляпанному приговору за госизмену, за фейки (слово-то какое придумали!) о бездарно гибнущей армии, или просто пропал. Вышел из дома, и не вернулся. Так ещё в перестроечные времена от рук «правоохранителей» погиб Андрюха Воронов, однокашник Гребнева. Его, посмевшего задать неуместный вопрос полицаям «по какому праву», прямо на улице, при скоплении народа, просто забили дубинками, а потом дали истечь кровью. В кутузке, куда по глупости заволокли. С тех пор убийцы в погонах набрались опыта, и прежних ошибок не повторяют. Поэтому Немцова, к примеру, убивали уже чужими руками. Пусть и в центре Москвы. Но это тоже ещё когда было. Однако за все минувшие годы никаких следов заказчика. Хотя он каждый день на виду. Если не отсиживается в бункере, дрожа от страха за свою никчёмную жизнь. А убийцы продолжают свои грязные делишки. И даже на зонах убивают так, что докопаться до истины практически невозможно. Но уши, как всегда, торчат.

Так что Оксана правильно сделала, что уехала. Пусть и насовсем. И не сказав куда. Потому как и туда могут отправить карателей. Совсем распоясавшихся, почище

Меркадера, «всего лишь» проломившего голову пламенному трибуну, Льву революции. Льву Троцкому. Бронштейну по происхождению. Да, Оксана, конечно, не из выдающихся борцов с режимом. Но это и не требуется по нынешним временам. Холуи дорвавшихся до власти, чтоб неповадно было никому, решили массовостью брать. И репрессий, и жертв. Благо, в качестве ледоруба у них теперь не только ОМОН и слезоточивый газ, есть ещё и выстрелы в спину, начиная с того же Немцова. А теперь вот подтянулись отравляющие вещества и прочие «новички». Хотя и «старичков» никто не отменял. Тех самых, в чалмах и при бородах. Вождей из тейпов и кланов, на словах присягнувших на верность, но выжидающих, когда можно будет отхватить не только бочок от центральной власти в виде контрибуций, но и куда больше личной власти, денег, суверенитета национальной окраине, живущей за счёт того же центра. При том, что всего у них и так вдосталь, а Россия им ещё и приплачивает. За лояльность. Хотя в глазах обывателей, примитивных, как лыжная палка, это они, вечно пьяные и немытые, победили «чурок». В действительности же, если смотреть не в пьяном угаре, не на эмоциях, а на фактах, то по логике войны победа за теми, кто пожинает её блага. А благ на «побеждённую» горскую окраину уже пролилось больше, чем на всю святую Русь. При том, что отдачи никакой. Русские мужики, что приписывают себе победу, содержат туземный спецназ, который, случись местному вождю гаркнуть «фас», мигом поставит на колени половину страны. А вторую — положит. Ну, или оденет в деревянные «бушлаты», им не привыкать резать глотки неверным. За их же деньги. Которые если не оседают в карманах новых горских имамов, то вооружают их холуёв куда круче российской армии.

Под утро, когда мозг уже начал плавиться, отказываясь воспринимать информацию о бедах, творившихся в

отечестве, Игорь внезапно осознал, почему так болезненно реагирует на то, что узнал. Ведь он и прежде всё это видел, но как-то пропускал мимо — ушей, сознания… В общем, как и большинство, был конформистом. Что присуще не только русским, хотя им, в условиях авторитарного государства — особенно.

Но сейчас всё изменилось. С того момента, как все беды страны, да что там — её трагедия перешли в личную боль Гребнева. Ведь он, по сути, из-за всего этого лишился дочери. Пусть она и жива, как он хотел верить. Как верила она в то, что жив он. Но она просто верила. А он знал точно. Ведь в списках иноагентов и прочих врагов она ещё не значилась. Как не было её и в списках уже арестованных и тех, против которых дела возбуждены, однако кровавые руки власти до них не дотянулись. Ещё не дотянулись.

9

Бессонная ночь никак внешне не сказалась на помолодевшем Гребневе. Ну, разве что от неотрывного всенощного вглядывания в монитор глаза слегка покраснели. Тем не менее на улицу, ещё не имея никакого плана, он вышел только после 10 часов, когда окончательно рассвело. С неба, сквозь сплошную облачность сыпал лёгкий снежок. Было довольно тепло — градусник за окном, на который Игорь бросил взгляд перед выходом, показывал чуток выше ноля градусов. Но пороша не таяла. И Гребнев едва не рухнул на этой серебристо-белой подстилке, сразу за порогом. Не столько поскользнулся, сколько не ожидал, что его окликнут.

На скамейке, прямо напротив подъезда, рядом с раскачивающимися на небольшом ветру детскими качельками, серела в зимней сырости согбенная фигура, замотанная по самые глаза в пушистую шаль.

— Ой, никак Игорёк! Где ж ты, милок, пропадал столько? А тебя тут женщина искала, интересная такая…

Вернув равновесие, Игорь вгляделся в заснеженный кокон, которому и зима была нипочём.

Баба Тоня. Соседка по лестничной площадке. Но налево от лифта.

Её он не видел едва ли не с тех, пор как погибла жена. И за своей личной трагедией почти позабыл. Или решил, что ушла старуха, в мир иной ушла. Ведь ей было далеко за девяносто. Ещё тогда, когда была жива его Надежда. Через неё-то и шло общение Игоря с бабой Тоней. Ну как общение…

Старуха через Надю порой просила Игоря зайти, пособить в чём-то. То кран потёк, то выключатель не работает. Понапрасну не дёргала. Или Надежда не передавала слишком уж назойливые просьбы.

Гребневу не особо нравилось посещать убогую однушку, забитую хламом и преисполненную запахом тлена и старости. Однако он и не избегал бабу Тоню, мог даже вечером остановиться и поболтать — она частенько сиживала на этой же лавочке летом и осенью. Весной — почти никогда. И вот впервые среди зимы оказалась. И когда! Когда Гребнев её мысленно уже давно похоронил. А чего там, если уж даже дворник Фёдорыч давно ушёл в лучший из миров! Или и он жив, если баба Тоня жива? Она-то куда как старше. А вот поди ж ты, сидит и пялится на него, щурясь на падающие снежинки. Как бы это Гребнев не потерял связь с реальностью. И считал покойниками пусть стариков, но вполне себе живучих…

Игорь из вежливости подошёл ближе. А может потому, что не помнил отчества старухи. Не кричать же ей «Привет, баба Тоня!». Возраст не тот. Что у неё, что у него.

— Ой, да ты никак помолодел! — баба Тоня даже всплеснула руками, упакованными в лохматые вязаные варежки. Сама она вряд ли могла вязать — Игорь помнил её пальцы, скрюченные артритом. Но и детей с внуками при ней не бывало. Не то чтоб отродясь, но на памяти Гребнева точно. Однако кто-то ж её обиходил. На квартиру глаз положили? Кто-то из соседей? Или нашлась дальняя родня, седьмая вода на киселе, откуда-то из деревни? И чего б не потерпеть ради московской квартирки. Бабке-то немного поди осталось…

— Да вот, отдыхал, подлечился немного… — хорошо ещё, что старуха не видела его новую гриву, укрытую под бейсболкой — белая фуражка была бы здесь совсем некстати. Но и то, что она углядела омоложение, могло добавить неудобных вопросов. И Гребнев поспешил сам спросить: — Искали меня, говорите?

— Да, приятная такая женщина. Кто — не сказала. А уж я-то спрашивала, что передать и от кого. Сказала только, что ты знаешь её. Здесь, мол, жила она когда-то. А я и не припомню…

Марина?

Мысль мелькнула и погасла. С чего бы она его искала, если сама решила уехать. Ну, да мало ли, и времени вон сколько прошло…

Игорь пожал плечами, смущаясь своей лжи.

— И я не помню, кто бы это мог быть, кому я понадобился.

Гребнев хотя и не знал, куда подастся в ближайшие часы, но и продолжения разговора со старухой старался избежать. О чём говорить? О переполнявшем его негодовании? О ненависти к власти, из-за которой его Оксана теперь неведомо где? Ни о чём другом он и думать сейчас не мог. А баба Тоня не тот собеседник, чтоб такое перед ней вываливать. Прежде она, помнится, со всей

пролетарской ненавистью топила за нынешнего недовождя: кто, мол, как не он! А у Игоря только он и ассоциировался со всеми бедами. Пусть и отнекивался плешивый человечишка, волею случая вознесённый во власть, от ответственности за происходящее. Все у него всегда были виноваты, от Рюрика до Ленина, но только не он. Вот только Гребнев считал, что именно он, имея уникальный шанс вывести страну действительно в мировые лидеры, увёл её в дремучие дебри третьего мира, если не дальше. И не сомневался в этом ещё до того, как при поддержке дрожащего окружения, о чём Игорь узнал только этой ночью, фюрер затеял идущую где-то на окраине страны спецоперацию. Из-за критики которой и вынуждена была покинуть родину его Оксана. Нынче ж в бездарности и подлости власти могли сомневаться только дураки или сволочи. Дураки — потому что вообще ни в чём не разбираются. Сволочи — из-за их желания поживиться, надеясь приникнуть к мелеющему ручейку бюджетных благ, расточаемых на ближайшее окружение недомерка, мнящего себя гигантом.

— А я уж думала, что тебя, как военного, забрали...

Баба Тоня прошамкала беззубым ртом, испещрённым вокруг губ шрамами морщин. Гребнев ожидал продолжения, не поддерживая и не обрывая разговор.

— Уж, думала, вот как бывает в жизни. Совсем не свезло человеку. И жену власть убила, и дочку выжила, и самого сослала куда-то. На убой, поди…

Это было что-то новенькое в настроениях старухи, не позволявшей прежде отзываться о власти плохо. Но он зацепился за другое.

Бабка упомянула Оксану. Которую власть выжила. Но сама Оки-доки здесь давно не жила. Однако ж заходила. Тут тебе и письмо, и слова в пыли на столешнице…

— Давно вы Оксану мою видели?

— Ой, давно, Игорёк, с весны и не встречала более. Но она мне всё и рассказала. И про Надю, уж прости, подробностей не знала, и про то, что её саму уехать принудили. А иначе — капут, мол, убьют. И тебя всё нет и нет…

Что ж, дочка у Игоря за словом в карман не лезла, могла и перевербовать старушку. Ну да с этим ладно, ему детей с бабой Тоней не крестить.

— И как она? — нетерпеливо перебил старуху Игорь. — Как выглядела? Разминулись мы…

— Да как обычно, щебетунья. Расспросила обо всём, обедом накормила. Я отказывалась, мол, внучка дома всего наготовила, а она ни в какую — прово́дите меня, говорит. Больше некому, мол.

Это было совсем не похоже на Оксану. Она, во-первых, с людьми сходилась плохо, а уж звать в гости и вовсе избегала, тем более в квартиру отца, где давно не жила. Во-вторых, с бабой Тоней она давно не поделила что-то. Ещё с той поры, как бегала в институт. Что-то бабка обидное ляпнула ей в спину, и она всегда с недовольством провожала отца, когда тот шёл помогать старухе. И шипела на мать «Сколько можно! У бабки поди родня есть!».

И, как оказалось, была права. Насчёт родни. Внучка какая-то… Ну да это неважно. Баба Тоня Оксану видела, а он — нет.

— Где ж ты пропадал, Игорёк? Оксаночка так убивалась, так убивалась, что тебя нет. А ей уезжать. И как бы не насовсем, — старуха словно подслушала мысли Гребнева. Который словам, что Оксана убивалась, не поверил.

Если и было так, то она этого никак не показала бы. Его девочка, скорее всего, с трудом, после мучительных раздумий и сомнений приняла непростое решение. Но считала его верным. А коли так, то и убиваться не стала бы. Она была в чём-то очень похожа на Игоря. К примеру, в сдержанности чувств. И особенно в их выражении. При

этом Гребнев себя винил в том, что сам не просто был сдержан, а не особо выказывал любовь. Что к жене, что к детям. К старшей так особенно, пусть и заслуженно. И тем не менее она тоже была его плоть и кровь, мог бы и поступиться принципами. Но дело было в ином.

Он скорее позволял близким себя любить, нежели любил сам. Поначалу было некогда, служил, потом — эта внезапная смерть. Клиническая. Пусть он и выжил. Но после старался себя оберегать. И даже первую после выписки из больницы покупку — гладильную доску, о которой Надежда давно мечтала, заставил нести Оксану. Которая сопровождала его во всех прогулках первые месяцы жизни дома после больницы. Ну, да, пусть не заставил, но попыток забрать и нести самому, не предпринял. В чём себя сильно корил. Но потом. А она тащила. С того самого рыночка, где Гребневу пытался открыть глаза на происходящее бомж, рывшийся в мусорном баке. Вышло у него не очень…

Теперь вот баба Тоня… Сама открылась с новой стороны, и пытается о дочери говорить Игорю то, чего он о ней никогда не знал. Да что там, даже не подозревал, что его Оки-доки однажды притащит в дом старуху-соседку, накормит обедом, поделится с чужим человеком своими проблемами…

— Как… Как она перенесла решение об отъезде? — с трудом выдавил из себя Гребнев, возвращаясь к первоначальному вопросу, пусть и в иной формулировке.

— Ничо так, молодец. Просила приглядывать за квартирой. Сказала, что ты непременно приедешь. Вот только когда, не знала. А я, вишь ты, чуть не упустила тебя. Всю осень из дома не выходила. Но вовремя сподобилась. Хоть и ругалась внучка намедни. Зима мол, а вы, баба, сидите на лавке часами. Я б может и не сидела бы, так ноги больше не носят. Вот токо сюда и дохожу от

порога. Да и то, чтоб тебя, если свезёт, увидеть. Да сказать: мол, хорошо всё у Оксанки. И сама она хорошая. Не переживай, сложится и у неё. А то, что уехала… Так правильно. Тут токо таким, как я, век доживать. И то страшно. Вон, даже в телевизоре сказали… Вернулся один оттуда, — бабка качнула неопределённо головой, не зная точного направления. — И что учудил? Такую же старуху, как я, снасильничал. А после — зарубил. Уж лучше бы сразу, чтоб не терпеть позор на краю могилы. Так ведь он не один такой…

Что-то подобное мелькало ночью в сообщениях, пролистанных Гребневым — на частные случаи он не особо отвлекался. А зря. Дьявол он в деталях. В том, как перед самой спецоперацией вешали лапшу таким, как баба Тоня, о распятых «украинскими нацистами» мальчиках, а после не знали, как избежать сообщений о возвращении своих извращенцев. Помилованных тем самым моральным уродом, что развязал эту бойню. В которой уже погибло многократно больше украинских детей, чем те, именем которых бойня и была начата.

К реальности его вернул голос бабы Тони:

…— Так ты бы знал, Игорёк! Этого засранца даже не посадили! Опять ушёл воевать, прости господи! Нельзя же так…

— У них всё можно, — осторожно вставил Гребнев.

— Да я знаю, Игорёк, знаю, шо у них всё так! Я о другом. Нельзя называть эту войну войной. Вона как. Мне внучка это кажинный день повторяет. Мол, и тебя повяжут, хоть ты и старая, и за мной придут. И так, и так, говорит, тебе хана будет. Или в тюрьме, или дома, но без уходу… И то правда. Одна она у меня и осталась. Спасибо, навещает. Обстирывает. Кормит-поит. А заберут её? Уж

лучше мне на казённые харчи… Ой, заболтала я тебя, Игорёк. Ты ж куда-то собрался…

— Никуда особо, до магазина дойду, — Игорь и вправду устал выслушивать потоки словес бабы Тони, тем более что были они уже ни о чём. Если бы она об Оксане рассказывала… Ну да в третий раз задавать тот же вопрос он не решился — без толку. Старуха и так сказала больше, чем могла.

— Ну ты иди, милок, иди. Замёрз уже, поди, со мной тут калякать, — махнула она рукой в варежке. — Я ещё посижу.

Гребнев круто развернулся и, не прощаясь зашагал в сторону вечного универсама. Шагов через пять его словно шилом кольнуло под лопатку. И он оглянулся.

Качели перед подъездом всё так же раскачивались, хоть ветра даже не ощущалось.

А вот на лавке никого не было…

Игорь помотал головой, словно пытаясь разогнать туман, в котором растворилась или из которого явилась ему баба Тоня.

Но ничего не изменилось.

У подъезда никого не было…

10

…Цены в магазине несказанно «порадовали» Игоря, мигом развеяв эйфорию от прироста благосостояния за счёт процентов по вкладам. По самым грубым прикидкам потерял он на две трети больше, чем получит. Да и получит ли — интернет полнился слухами о заморозке вкладов и изъятию сумм, превышающих некий их лимит, установленный властью на её выпуклый, налитой кровью идущей войны, завистливый глаз. Но он не собирался затариваться. Чтоб продукты не испортились. Теперь-то холодильник почистить будет некому. Не бабу Тоню

просить же. Да и исчезла она как-то в одночасье, по всем прикидкам не могла старуха сорваться с лавочки и скрыться в подъезде за то время, что Гребнев был к ней спиной. Секунды прошли. А бабке за девяносто…

Зато Игорь узнал и то, что его безотказная во всех поездках «Visa» приказала долго жить. Но в кармане, на счастье, завалялся и «Мир». И на этой карте нашлись денежки — сюда капала его пенсия по инвалидности, мелочь, но набралось, чтоб расплатиться. И за два стейка, и за зелень со свежими овощами, и за бутылочку виски — он ещё накануне отметил, что обмыть возвращение нечем.

Сумма в итоге набежала изрядная, да и продуктовый набор был далеко не суповой. И то сказать, омолодившийся организм требовал если не жертвоприношения, то изрядной порции еды. Не удовлетворившись накануне поздней обманкой в виде быстрых углеводов.

У подъезда дома никого не было. На лавочке, по крайней мере. Но, едва он хлопнул входной дверью, поднимаясь по ступенькам к лифту, как она вновь распахнулась, и за спиной зацокали каблучки.

Гребнев обернулся — не та ли женщина, что искала его?

Женщина, может, его и искала, но была не та.

Взглядом, брошенным через плечо, он оценил фигуру. Однако в слабом свете из единственного окна над лестничным пролётом лица сразу не разглядел. Поэтому не мог узнать. Он её вообще впервые видел. В своём подъезде так точно. К кому это она?

Были бы руки пустыми, Игорь в два присеста взлетел бы на свой третий этаж. А так пришлось ждать лифт, кивнув в знак приветствия женщине, оставшейся немного за спиной. На что не был удостоен даже взгляда. Ну да Игорь и не ждал ни ответа, ни интереса к себе. Слишком юна была особа, чтоб ему внимание уделять. Хотя… Ведь

и он не был тем шестидесятилетним старцем, что вышел из этого подъезда без малого четыре года тому назад.

В лифте девица с пышными, спадающими волнами по плечам, волосами, заколотыми на макушке — в начале зимы-то — тёмными очками, молча ткнула в кнопку третьего этажа. И встала спиной к Игорю, вскинув перед собой смартфон.

Не поднимая головы, одним глазом исподлобья, Гребнев углядел, что его попутчица снимает селфи. Он и себя увидел в кадре, и ещё ниже голову склонил. Так, на всякий случай. Одновременно с тем, как раздался щелчок камеры. Но девица продолжала пялиться в своё отражение, гримасничая.

Вот оно чо — макияж поправляет. К кому-то в гости намылилась? Так на третьем, кроме Игоря и бабы Тони, в трёх оставшихся квартирах никаких половозрелых мужчин. Или это он от жизни опять отстал? За четыре года-то жильцы могли смениться, тем более что все известные ему были старше, чем он.

Гребнев замешкался в лифте со своими пакетами, а девица уверенно повернула налево от лифта, сунула ключ в замок двери холла.

— Простите, а как поживает Антонина Владимировна? — наобум бросил он в спину красотке, разом вспомнив отчество бабы Тони. И тут же решив, что это может быть та самая её внучка.

Левая рука в лайковой перчатке, проворачивающая ключ, дрогнула и замерла. А сама девица, бывшая на полголовы ниже Гребнева, застыла как от удара хлыстом. Да вопрос Игоря, похоже, и был таким ударом. После явного игнорирования попутчика услышать от него вопрос для дамы было уже слишком…

Спина женщины, на правой руке которой, как помнил Гребнев после взгляда через её плечо на экран

смартфона, красовалось широкое обручальное кольцо, выдержала удар, осталась прямой. Но шея подвела. И повернула, почти в профиль, изящное личико с большими глазами, ярко накрашенными губами, чуть припухлыми или подкачанными по последней моде. Ресницы, как опахала, взметнулись у переносицы с горбинкой. И тут же опали.

В этот короткий миг — глаза в глаза — Игорь разглядел, что его попутчица по подъёму на третий этаж была красива той красотой, когда на вид можно дать и пятнадцать, и все тридцать пять. Если не сорок. Да, первым делом видны глаза — испуганной и трепетной лани, огромные, едва ли не в пол-лица. Но уже в следующее мгновение они гневно щурятся, превращаясь в узкие щели, почти амбразуры. И в этих бойницах зрачок, занимавший большую часть глаза, превратился почти в кошачий, узкий, такой же зеленоватый на сером фоне. Хорошо ещё вертикальным не стал, не то бы неизвестно, как Гребнев выдержал пристально-змеиный взгляд.

Женщина, прижимая к груди объёмную сумочку, из которой ещё перед тем, как войти в лифт, вытащила смартфон, полностью обернулась и замерла перед дверью в свой холл.

— Это вы мне?

Кожа на подбородке дамы, в правом углу губ натянулась, некрасиво сморщилась. Да какие там пятнадцать, уж точно за тридцать! И далеко…

— Ну, если здесь больше никого нет… Вы же, если не ошибаюсь, внучка бабы Тони? — в понимании Гребнева внучка должна была быть в переднике, красной шапочке и с корзинкой, а не с фирменной сумкой, куда можно было сложить все его покупки. Ещё бы и место осталось.

— Ну, да, — как-то неуверенно протянула красотка, вновь меняясь в лице. Только теперь прилившая к

щекам кровь обесцветила подведённые яркой помадой губы. — Ну так она же померла… Давно… Уж года три как…

Пришёл черёд Гребнева онеметь. И это было хорошо. Даже замечательно. Иначе бы он, не задумываясь, выпалил что полчаса тому назад, выходя из дома, общался со старухой. Чем бы это кончилось, он не представлял. Но именно об этом и думал, прикусив язык, как всегда, не в меру резкий.

— Простите, не знал. Соболезную.

Девица не отреагировала, толкнула дверь, а потом тут же захлопнула за собой.

В замочной скважине сиротливо тренькнули, столкнувшись на связке, ключи.

Гребнев только головой покачал. И приступил к отпиранию двери в свой холл. Но сразу же за ней остановился, опустив пакеты на пол. Не очень чистый, но и не затёртый грязной тряпкой, как вокруг лифта — в холле порядок поддерживали сами обитатели отделённой от общей части дома территории. Но получалось, видать, не очень. В одной из двух соседних с его квартирой жила возрастная семейная пара. Другая квартира вечно сдавалась, и там жильцы частенько менялись. Последней была дама, ровесница Марины, не особо горевшая желанием поддерживать порядок. Старикам это тоже было уже не под силу. Так что лямку в основном тянул Гребнев. Неужто с той поры, как он ушёл, здесь никто не мыл полы?

Однако, едва руки опустели, его увлекло не состояние пола. А разговор за дверью. Точнее, за двумя.

Голос девы, с которой он поднимался в лифте, раздавался из соседнего холла.

— Да где же, блин, эти ключи?

Голос был напряжён и раздосадован.

Игорь хмыкнул про себя: какая же нескладная девица! Это ей за небрежение правилами хорошего тона. Забыла ключи во входной двери холла, а сейчас убивается над своей немаленькой, да ещё, видать, и бездонной сумочкой. Как у всех женщин.

Однако едва Игорь собрался пройти холлом к своей двери в его торце, как за дверью всё тот же раздражённый голос бросил в пустоту:

— Алё! Еле успела! Да, сделала. Сейчас отправлю... Лови! — При всей бойкости голос был сдавленным, так обычно говорят, прижав трубку к уху. Поиски ключей, судя по этому голосу, продолжались. — Странный он какой-то. Если это вообще он. Во-первых, возрастом не вышел. И потом плёл что-то про бабку и внучку… Точно? Ну я так и сказала, померла, мол, старуха. Давно уж… А что он? Удивился. И свалил на ту половину. Как — как? Молча. Да блин! Это я не тебе! Ключи от хаты завалились куда-то. Фото посмотрел? Ну и… Как смогла, так и сняла, не могла же я его попросить попозировать. И чо? Он? Не он? Наклонился? Ну да он с покупками был, видать, пакет ставил на пол. Или поднимал. Так похож или нет? — Пауза затянулась, но голос из-за двух фанерных раздался вновь, когда Гребнев уже решил идти к себе. — Если ты не уверен, мне откуда знать?

Дальше можно было и не подслушивать. Игорь и так понял, что это «хвост». За ним следят. Теперь уже в его доме. Хотя начиналась слежка в другой эпохе. С Якова начиналось, да? Дак его теперь нет. А то и не было. Не исключено, что не родился он. А слежка — есть. И девица, в спешке забывшая ключи в двери, из-за чего и стала звонить прямо из холла, сделала Игоря невольным слушателем своего разговора неведомо с кем, но кто, похоже, знал Гребнева прежнего. Потому-то она и отправила ему фото. Которое Игорь «запорол», внезапно нагнувшись.

А дальше-то что? Его пока не опознали. Но подозревают возвращение. Это что ж, его все эти годы ждали? Или только с отъездом Оксаны? В надежде её поймать на живца. В роли которого будет родной отец. Ну так дочь-то ухала. Как он надеялся. А если нет? Если не удалось ей, и прячется она где-то в стране? Даже в Москве найти человека не так просто, а в России и подавно, достаточно забиться в щель уездного городка подальше от крупных центров. Там, конечно, все друг друга знают, но и легенду можно выдумать. Такую, чтоб комар носу…

Так, стоп, одёрнул себя Гребнев.

Пока и речи не было об Оксане. Так что стоит исходить из того, что она уехала. Или улетела. Туда, где её не достанут. Охранная же система сработала на его появление. Свет ночью в квартире? Выход утром в магазин? Да какая разница, когда и как он задел ниточку, спустившую механизм слежки! Факт оставался фактом. Квартира под негласным надзором. Как в старые добрые царские времена. Филёры, топтуны, тайные агенты…

Стараясь не шуметь, Игорь подхватил пакеты и в три шага дошёл до своей двери. Язычки замка почти беззвучно ушли в свои пазы. Зато из соседнего холла донеслось:

— Мне-то что делать? Ну, я так думаю, что меня он срисовал. Даже если это не он. Но кому ещё там быть? Брат? Какой брат?

Над последним вопросом задумался и Гребнев. Братьев у него не было. В этой реальности. А так — кто его знает.

Но голос из соседнего холла развеял его сомнения:

— Дурак ты, и шутки у тебя дурацкие! Я уж чуть было не поверила. В брата. Ладно, я пошла. Что значит, куда? Домой, за ключами. От бабкиной квартиры. Да, конечно, вернусь, да, прослежу. Вот токо не надо мне мозг

выносить, мне ещё дома объясняться почему опять ночую неведомо где.

Дверь холла неожиданно хлопнула. А следом возмущённый голос раздался:

— Вот блин! Как это я их здесь оставила…

Прислушиваясь к тому, как звякнули ключи, выдернутые из замочной скважины, Игорь осторожно извлёк из замка свои. Но открывать дверь не спешил, решив дождаться ухода соглядательницы.

И только когда лифт ровно загудел, разматывая тросы, он вошёл в квартиру. Где в этот раз за время его отсутствия ничего не изменилось…

11

…Он уже давно присматривался к этому маршруту. Не для возможного побега, хотя и это не исключалось. Чтоб победить свой страх высоты. Подумаешь, третий этаж. Да, его в ступор вводили разрушенные перилла лестницы даже на второй этаж недостроя в соседнем дворе. Но когда это было! С тех пор он успел не только вырасти, но и повзрослеть. Потом постареть. И снова помолодеть. Так что теперь, когда припекло, и иного пути не осталось, он даже и слышать ничего не хотел о страхе. Высоты бояться — век по норам и тюрьмам коротать.

А тут всего-то один шаг. Или на соседский балкон, или…

Вниз, конечно, не хотелось. Но страшно. Сколько он ни пытался прежде, отпустить раму своего окна не получалось. Вот только без этого на соседский балкон можно даже не пялиться. Потому что шаг нужен широкий, а длины рук не хватит схватиться за опору балкона и одновременно держаться за своё окно. Всё потому, что край балкона чуть выше подоконника. И там — бетон, держаться, считай, не за что. Но если хорошенько

оттолкнуться, то это и не нужно. Инерция сама сделает своё дело. И тело окажется в нише балкона.

Если прежде не сверзнется в провал между двумя точками. С высоты третьего этажа…

Не сверзнется. Если вниз не смотреть. Смелости придало и два дринка виски. Ну, как два, все четыре если по-честному. Но пьян Гребнев не был. И не пьяная удаль подсадила его на подоконник, где одна фрамуга уже была распахнута, а вторая чуток приоткрыта. Чтоб удобней держаться за раму руками. Если бы ещё не зима, с её скользким снежком и наледью…

Однако выбора не было. За дверью раздавалась подозрительная возня. И похоже уже довольно долго. Он бы и не услышал, как в замке ковыряется кто-то, не соберись выносить на кухню грязные тарелки после обеда, совмещённого с ужином. Чем и объяснялась двойная порция виски. Желания напиться не было. Хотя нужда в том, скорее всего, была. Иначе как бы он вынес всё то, что на него навалилось. Внезапно. Хотя и подбиралось вроде как издалека. Но потом-то вывалилось в одночасье…

Смакуя стейки, средней обжарки, как он любил, Игорь не столько едой был поглощён, сколько переваривал и случившееся, и то, что узнал. Складывал и так, и эдак. Анализировал. Изо всего постепенно вырисовывался план дальнейших действий. Хватит уже соваться в прошлое абы как, без подготовки и цели. Это было первое к чему он пришёл. Аккурат с самим возвращением. Хотя и не в первый раз. Так что ничего нового. Зато следом, ввиду открывшихся истин, додумался и до другого.

Он бы, может, этого и не хотел. Но, как там было в кино забытых девяностых: не мы такие — жизнь такая… Ну, или что-то в этом роде. И да, жизнь просто вынуждала его так поступить. Хотя он и не представлял к чему это приведёт. Однако же, если он всё правильно понял, и

вопрос с Якушевым и его вероятными преступлениями решился вполне однозначно, с его смертью ещё до рождения, то и в этом случае должно всё выгореть. Правда, он ещё не знал, как это осуществить. Понимал только концепцию. И знал причину, которую следовало устранить.

Но…

Легко ступая войлочными тапочками по пути на кухню, Игорь услышал, что в замке кто-то ковыряется. Ясное дело, что это не визит вежливости — в гости он никого не приглашал. Да и не ходят со своими ключами или отмычками добрые люди в гости к другим добрым людям.

Себя он однозначно считал добрым. Несмотря на вынашиваемые планы.

Мгновенно сложив два и два, он и пришёл к тому самому однозначному выводу.

Надо срочно уносить ноги. Иначе планам не суждено будет сбыться.

А как же грязная посуда? Он терпеть не мог грязь на кухне. Но…

Посуда подождёт. До следующего его возвращения. Если получится. А пока же…

Ему хватило традиционных сорока пяти секунд с того момента, как щёлкнул выключателем, погрузив квартиру во тьму. В которой он легко ориентировался. Не только в сумерках обесточенной квартиры, но даже и с закрытыми глазами. Ему всего-то и нужно было схватить дафлкот, вытащить, стараясь не зашуметь, наган из схрона у двери, сунуть в карманы банковские карты и снятую наличность, смешав её с древними, довоенными червонцами. И — на всякий случай — не работающий смартфон. Без номера, зато с зарядным устройством.

Подхватив из кладовочки — вдвоём в ней не развернуться — бельевую верёвку, давно неиспользуемую по причине наличия на лоджии складывающейся сушилки,

Игорь метнулся к окну, одним движением молодого тела вскочив на подоконник и тут же распахнув большую фрамугу.

За дверью всё ещё возились, а Гребнев, свернув самораспускающийся узел, накинул его на ручку фрамуги, открыл вторую половинку окна и встал на скользкий обледеневший карниз. Левая рука предплечьем больно упёрлась в кирпичную кладку, обрамлявшую окно. Но это было ничто по сравнению с той болью, что ждала его, если он ошибётся, отпустит спасительную раму чуть раньше. Или слабо оттолкнётся. От своего подоконника. На котором ноги скользили, но не желали находить твёрдую опору.

В последний миг Игорь закрыл глаза. Как в тот день, когда впервые шагнул на дрожащие мостки, соединяющие вагоны из прошлого с настоящим. И отпустил руку…

Оттолкнулся он даже слишком хорошо и сильно. В результате едва не врезался головой в бетонную опору, подпиравшую балкон этажом выше. Но чуть-чуть не считается, и Гребнев тут же легко подхватился на ноги, потянул на себя верёвку.

Большая фрамуга почти беззвучно встала на своё место. Малая же осталась приоткрытой на зимнее проветривание. Сколько же там снега наметёт к его возвращению!

Но будет ли оно, возвращение? Так что снег в квартире имел второстепенное значение. Если вообще имел. Гребнев уже затягивал такой же самораспускающийся узел вокруг опоры верхнего балкона — время неумолимо действовало против него. При этом его дефицит обязывал действовать безошибочно. Хотя руки и дрожали от пережитого страха — за тот момент, что он висел над провалом в три этажа, ни за что не держась. Упираясь только в

откос под окном и только носочками полусапожек. Да и те скользили. Но и это было ещё не всё.

Стоило ему перебросить своё тело через бетонную балюстраду балкона, как верёвка опасно натянулась, заскользила в руках. Раскачиваясь, Игорь повис над балконом второго этажа, оттолкнулся ногами от его ограждения и заскользил дальше, вниз.

В квартире на первом тоже был балкон. И от него до земли оставалось примерно два человеческих роста, когда верёвка ощутимо дёрнулась. Где-то там, на самом верху, от раскачиваний Гребнева неприспособленные к таким нагрузкам нити верёвки перетёрлись о бетонную кромку и в любое мгновение были готовы оборваться. Но это уже было не страшно — с печки-то Игорь ещё в детстве прыгал. Когда ездил в деревню к бабушкиной родне, сохранившей прежний уклад жизни — с русской печью, холодными сенями, со входом на вторую половину дома, где зимой ютилась вся живность, от коровки до пары поросят, не сданных на мясо в колхоз. Хотя и выкормить их было непросто. Зато к весне вместо голода в доме была еда. Колбаса — вкуснейшая кровянка, с жирком, мясо, заготовленное декабрьской ночью. Так, чтоб соседи не увидели. Иначе донесут…

Эти несвоевременные воспоминания уберегли Игоря от того, чтоб преждевременно отпустить рвущуюся верёвку. И он благополучно достиг земли. Которая оказалась вся в замёрзших комьях — ногу он, может, и не сломал бы, но точно подвернул бы лодыжку. И весь его побег здесь и закончился бы. А так он не стал спешить, дёрнул верёвку, опасаясь, что перетёртый край помешает узлу развязаться. Но длинная тонкая змея упала к его ногам.

Сворачивал верёвку он уже на ходу.

Когда же Гребнев бросил последний взгляд на окна своей квартиры, там за стеклом метался луч карманного фонарика или смартфона.

Значит, всё правильно. За ним пришли. Но он вновь на шаг впереди. И знает, что делать. Ещё не знает как и когда, но по ходу пьесы разберётся…

Часть вторая

1

При всём том, что ему уже приходилось убивать, в последний раз буквально на днях, пусть и в ином времени, в далеком прошлом, убийцей Гребнев себя не считал. Более того, не представлял даже, как бы он мог хладнокровно кого убить хоть кого-то. В скоротечной схватке или в бою — это одно. Убить, просто так, пусть и по делу, но человека в общем-то невиновного, или, точнее, ещё невиновного…

Меж тем перед ним наконец-то замаячила конкретная цель — избавить страну от тирана, ввергнувшего её в пучину бед. Ещё, конечно, не ввергнувшего. Но это там, где до него можно было дотянуться. Здесь-то давно беда! Вот только здесь к нему уже не подступиться. Так что избавиться от него нужно в момент, когда дорвавшийся впоследствии до власти и обезумевший от безнаказанности случайно всплывший человечишко ещё ничего такого, за что и гильотины мало, не совершил. Но и он не обладает ни иммунитетом власти, ни присущей ей защите. Это как с известным ленинским «вчера было рано, а завтра будет поздно». Ну лучше рано, чем поздно. Потому как позже к нему будет уже не подобраться. История Ильина тому порукой. Да и других безвестных мстителей за поруганный народ тоже. Хотя навскидку Гребнев никого и не назвал бы. Власть умела прятать концы в воду. Слухи, конечно, ходили. Но то слухи. А вот точно сказать, что было покушение… Тут было сложнее. Не было фактов. Разве что покушение безвестного боксёра, да и то с его слов. Но его ли удар кулаком или же просто удар апоплексический оборвал-таки гнусную жизнь одного тирана. По стопам которого по части преследования инакомыслия пошёл нынешний. Разве что в масштабах пока не дотянул. Так он и во всём мелок. От злопамятности до мстительности. И для

него даже такой удар был бы слишком мелкой платой за всё, что он сотворил.

Однако более всего на избранном пути Игоря останавливало то, что за высокими идеалами его цели нет-нет, да и просматривалась личная месть. Ведь это его дочь из-за обезумевшего главаря узурпировавшей в стране власть банды чиновников и спецслужбистов вынуждена была уехать в неизвестность. А Гребнев не хотел, чтоб вне зависимости от успеха или провала его планов кто-то в будущем, если оно наступит, сказал, что действовал он исключительно из личных корыстных побуждений. Не было их у него. Личные — были. Но корысти так уж точно быть не могло. Он мог бы спокойно доживать свой век на пенсии, ни во что не ввязываясь. Не так жить, как мечталось, конечно, но в целом куда лучше многих остальных сограждан. Однако же, пусть и притупившееся с возрастом, чувство поруганной справедливости присутствовало. И требовало восстановить её, попранную властью. Но всё дело в том, что некоторые преступления искупаются только кровью. Тех, кто их совершил.

Можно сколько угодно твердить, что укоренившийся на троне плюгавый фюрер всё делает по закону и сидит там на законных основаниях. Можно. Но только если забыть, что этот закон был многократно изнасилован, переписан, исправлен под оправдание того, что уже свершилось. И только для того, чтоб на власть царька не посягали всякие там демократы с либералами. Всякие, потому что от него они недалеко ушли. И дай им только власть…

Что же до вождя нынешнего… Его точно оправдают, соверши он любое насильственное преступление, не только узурпацию власти. Завтра же при поддержке геронтократов в его окружении соберут письма «сочувствующих граждан», требующих закон изменить, и то, что

было преступлением, поставят в заслугу человеку, развязавшему войну, как бы её ни называли.

Но это всё будет потом. Если Гребнев дрогнет. И не справится с задачей, которую ему поставила сама вечность. Это ж не он сам здесь оказался. На берегах Невы. У прикованного к берегу крейсера революции. Прикованного, как Прометей к скале. Которому, как Прометею результатов своей покражи огня для людей, не видать морских просторов и рассветов над ними. Только серый гранит набережных города безуспешных, в плане реализации заявленных целей, революций. И поделом. За грехи революционные. За развязанный террор, истребление самых умных и порядочных, вознесение на вершины власти самых подлых и никчёмных.

Игорь и сам был грешен, а паче того согрешить ещё больше собирался. Так согрешить, что прощения ему точно не видать. И быть ему, как и крейсеру, прикованным. Только не к берегу, где волны лениво бьются о борт корабля, а к котлу в геенне огненной, где гореть ему, муку вечную терпя, до скончания истории. Ибо все благие намерения — это дорога, ведущая в ад. Вымощенная этими самыми благими намерениями. Потому как добро бывает только с кулаками. Иначе добра не видать.

Но мысленно он внезапно дважды повторил «О борт корабля…». Потом произнёс про себя анекдот целиком.

И не было б беды, если бы мама плюгавого царька знала, что такое аборт…

А так теперь Гребневу предстояло исправлять ошибки природы, допустившей появление на свет чудовища. Потому что в кузне не было гвоздя… Нет, не гвоздя, спицы — спицей женщины себя избавляли от нежеланного плода, если не ведали, не знали, что такое аборт. Или

был он под запретом, как это не раз случалось в истории российской…

Был ли этот плод желанным, Игорь даже думать не хотел. Скорее всего был. Потому как не был же он результатом насилия. Хотя и лишил отец упыря свою избранницу глаза. Невзначай, ненароком, по глупости. Но не снасильничал же. Да ещё и женился после всего. Вынужденно, правда. Но собственно полового насилия, как такового, не было. Так что до аборта дело не дошло. А потом, родив, всякая нормальная мать считает своё дитя лучшим. В нормальности матери Гребнев не хотел сомневаться. Да, вышла замуж за искалечившего её. Ну так деваться-то куда было? В ту пору и красавицы писаные за женихами в очередь стояли. А тут — кривая на один глаз… Вот выскочила замуж. А потом произвела на свет чудовище. И вырастила. Хотя не могла не видеть отклонений. А они были, не могло их не быть… Но не мог простить ей Гребнев иное — что ему предстоит исправлять её ошибку. Более радикальным, чем аборт, способом.

Игорь зябко поёжился. Хотя для октября и Питера было довольно тепло. Не меньше десяти градусов точно. Но он уже довольно давно бродил по промозглым улицам, проголодался и потому его знобило. И корёжило. Хотя причина, конечно же, была в ином. В чём он не хотел себе признаваться.

Сегодня или завтра ему предстояло совершить то, что претило самому его естеству. Отступать было некуда, следующий поход в прошлое мог и не совпасть во времени, нужном ему для покушения. Однако, ввязавшись в схватку с историей, он уже не мог отступить. К тому ж не сам он сюда пришёл. Кто-то или что-то вело его. Начав с того, что очередной перенос в прошлое свершился совсем не так, как множество до него. Уж не потому ли, что один вопрос, с Яковом, был решён? Пусть и без участия

Гребнева. Но он тому был свидетелем. А теперь из свидетеля должен был стать исполнителем. Ему даже способ был указан. Но двух одинаковых смертей быть не могло. Или же провидение просто было не в состоянии усадить в трамвай или в иную самобеглую коляску ещё одну беременную, чтоб подстроить аварию. Поэтому Игорю предстояло взять на себя роль палача. Исполнителя той незримой воли, что забросила его из московского вечера декабря, когда он бежал из дома, в питерский октябрь, более чем на полвека в прошлое. Причём, в утро, чего тоже никогда прежде не случалось. В иной день — пожалуйста. Но всегда он приезжал спустя какое-то время после отправления из Москвы. А тут — в утро. И не в район Лигово, по направлению от Балтийского вокзала, а прямо на вокзал. Или всё потому, что из дома он не ушёл, а бежал?

Даже в своём старом и потёртом дафлкоте, Гребнев в сером сумрачном послевоенном городе, ещё сохранившем отдельные послевоенные развалины домов, выглядел стилягой, коих ещё быть не могло на фоне пришибленных бытом ленинградцев. Убого одетых и понурых. Он их не осуждал. Потому как знал: приобрести готовую одежду в магазине не то что в середине 1950-х годов, а и куда позже было делом непростым. А тут только первое послевоенное десятилетие идёт. Фабричное производство верхней одежды ещё долгие годы, до самого рождения Гребнева, оставалось узким местом и без того слабо развивавшейся советской лёгкой промышленности. Это ж не производство танков, в самом деле. Без пальто люди обойдутся, уточним — советские люди. Без танков — никак. Поэтому в Ленинграде, например, лишь к 1950 году удалось сшить столько же пальто, костюмов и платьев, сколько до войны. Кроме того, для хорошего промышленного шитья необходимо было переоснастить швейные фабрики. Выпускать достаточно сложные по фасону изделия поточным

методом на плохом оборудовании было просто невозможно. В «Ленинградской правде», если бы она, а не «Правда» попалась ему в газетной витрине, можно было прочитать: «В 94 магазинах, торгующих швейными изделиями, много пальто, костюмов и платьев. Но охотников до них не так уж много. Пугает главным образом расцветка. Преобладают совсем невеселые, тёмные цвета. Нет в продаже модных, хорошо сшитых мужских и женских костюмов, демисезонных пальто из высококачественных тканей».

При этом тканей в СССР к середине 1950-х годов выпускалось уже немало. «В универмаге «Пассаж», — напишет «Ленинградская правда» куда позже, в середине сентября 1956 года, — имеются в продаже высококачественные шёлковые ткани ярких расцветок, различных рисунков. В большом выборе — утяжелённые ткани из натурального шёлка для выходных и вечерних платьев: креп-экстра, креп-флокс, креп-фай, креп-сатин, креп-флора и др. Ткани из натурального шёлка практичны и красивы». Но до этого ещё ой как далеко. Да и потом желающие хорошо выглядеть женщины вынуждены были не полагаться на державу, а пользоваться услугами частных портных. В 1920-е годы их выручали официальные частники. С утверждением социалистического образа жизни их число значительно уменьшилось. Однако почти каждая советская женщина и в послевоенное время периодически шила себе что-нибудь у тайной портнихи-надомницы.

Пока по Литейному Гребнев дошёл до пересечения с улицей Жуковского, смерклось. Он остановился у высокого цилиндрического постамента из серого полированного гранита, который венчала широкая чаша, украшенная рельефным узором. В питерском сумраке над чашей, обвив хвостом подставку и плавно изгибаясь, склонилась большая бронзовая змея. Эта эмблема советской

медицины сохранилась разве что на погонах военных медиков. Но первая ночь в своём времени после долгого отсутствия не прошла бесследно: Игорь в своём сёрфинге по просторам интернета случайно наткнулся на новость, тогда мало что сказавшую ему. Однако оказалось, что не зря она ему попалась на глаза.

Новость 2023 года была о возвращении на своё место, у бывшей Мариинской больницы, памятника Петеру Ольденбургскому, внуку Павла I. Генерал, сенатор, член Государственного совета и председатель департамента гражданских и духовных дел, он был почётным опекуном и председателем Санкт-Петербургского опекунского совета, почётным членом различных ученых и благотворительных обществ. А ещё принц Ольденбургский был покровителем Глазной лечебницы. Но главное — Пётр Георгиевич возглавлял руководство Мариинской больницей около 40 лет, это было его любимое детище, в которое он вкладывал силы, время и личные средства, модернизируя и совершенствуя работу стационара. Так что у него было куда больше прав, чем у Валериана Куйбышева, чьим именем при советской власти назвали лечебницу, памятником стоять рядом со своим творением. Замещавший же его сосуд Гигеи, один из символов медицины в СССР, «благодарные» ленинградцы шуточно называли «тёщей, поедающей мороженое».

Но почему именно сюда Игорь пришёл? Да кто ж его знал? Хотя нет, кто-то знал. Тот, кто вёл его с самого утра. Или же даже с побега из дома.

Впрочем, он и сам начал догадываться. Ещё утром, едва выйдя из электрички и прочитав на Балтийском вокзале «Правду» в газетной витрине. Да и в ней быка сразу брали за рога, прямо из-под «шапки».

«Премьер-Министру Германской Демократической Республика товарищу Отто Гротеволю. По случаю

национального праздника — третьей годовщины образования Германской Демократической Республики — шлю германскому народу, Правительству и лично Вам, товарищ Премьер-Министр, мои поздравления. Прошу Вас принять мои пожелания дальнейших успехов в великом деле создания единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии. И. СТАЛИН».

Дальше телеграмм, которых было аж три, и по тому же поводу, но разным чиновникам, он не осилил пафос главной партийной газеты, посвятившей номер партийному же съезду. Этот пафос, как гангрена, окончательно разъел страну уже во времени Гребнева, поразив все средства массой информации. Подконтрольные власти. А иных уже и не было. Была только «Правда». Под разными названиями. Что не меняло её сути…

Но сейчас дело было в ином. Даже мнимая миролюбивость СССР, многократно подчёркнутая в передовице, не вызвала у Игоря обычной в таких случаях насмешки, более того, вообще не тронула. Потому что всё его внимание было приковано к дате.

7 октября 1952 года.

Гребнев знал эту дату. А вкупе с газетой, посвящённой третьей годовщине социалистической Германии, она показалась ему ещё и символичной. Ведь родившийся в этот день человечек годы спустя будет шпионить в этой самой Германии, чей день рождения отмечала «Правда», поступившись местом на полосе даже во дни партийного съезда. И это когда каждая строка на вес золота. А тут и послания «горячо любимого вождя» немецким руководящим товарищам. И отчёты «старшему брату» этих самых товарищей. Которые ещё не додумались до строительства Берлинской стены. Но отличатся и в подавлении инакомыслия других сателлитов СССР, и в унижении собственного народа, ещё не успевшего отойти от фашисткой

чумы… Но всё это будет позже. А пока — сплошное славословие. И… день рождения исчадия ада для следующего века.

Игорь прикрыл глаза. Но мир не изменился за те несколько секунд, что он был погружён в себя. И Гребнев обречённо потянул на себя дверь приёмного отделения больницы в память жертв революции, как значилось на невзрачной табличке. А чуть ниже — «Имени В.В. Куйбышева». Ну конечно же, не имени Петра Ольденбургского… В голове шевельнулось иное название, но до него Игорь не дотянулся: жертв революции, так жертв революции. Одной её жертвой здесь скоро станет больше.

Его никто не остановил. Даже когда он надолго завис перед схемой корпусов. Как обычно, запутанной. Чтоб враг не догадался. И свои не нашли. Однако Игорь всё ж разобрался и прикинул свой маршрут. Который он решил начать едва ли не с самого дальнего корпуса. В котором свой путь должна была закончить намеченная жертва.

Патологоанатомическое отделение. Альфа и омега его задачи. Отсюда он решил начать движение вперёд и вверх, по этажам, в поисках только что родившегося будущего упыря. И пока ещё живущего без охраны. Когда только и можно до него дотянуться.

В предбаннике морга его никто не встретил. Да он на это и рассчитывал. По дороге, правда, попадались отдельные экземпляры человечества. Ну так, ненавязчиво. Кто просто в халатах, кто в наброшенном поверх белых одежд пальто и потёртых шинелях — война всё ещё не ушла в прошлое. Оправдался же главный расчёт Гребнева — в коридорчике у патологоанатомов, перед закрытой дверью в отделение, на вешалке обнаружился бесхозный белый халат. Местами в краске или в застиранных пятнах крови, но достаточно белый, чтоб сойти за своего.

Воровато оглянувшись, Игорь мигом набросил халат на плечи, а поверх свой дафлкот, который пришлось держать в руках на время переодевания. Сам посягнувший на чужое, Гребнев не доверился вешалке. Хотя и не было никого поблизости, а отделение для покойников буквально звенело тишиной. Или это у него в ушах звенело? Давление подскочило, напомнив о себе из прежнего, истинного возраста…

Неторопливым шагом, словно здесь он давно свой, Игорь вновь вернулся почти к улице, на которую свернул с Литейного. Но в корпус, под крышей которого было родильное отделение, вошёл с чёрного хода. Так здесь сновали все носители халатов. Не наматывать же им в рабочее время вёрсты ради парадного входа, чай не баре. Но, хоть Игорь и мало отличался от остальных в своём наброшенном поверх халата полувоенном полупальто, рисковать всё ж не стал. И вытащил из кармана дафлкота завалявшуюся там со времён пандемии давно не стерильную маску. Она, правда, синим цветом сильно отличалась от имевшихся в обиходе, зато скрывала большую часть лица.

Вспоминая схему из приёмного отделения, он, частенько переводя дух из-за мешавшей нормально дышать маски, поднялся на пятый этаж.

Родильное отделение. Ну и где здесь искать ту, что породила чудовище? А пуще того — само чудовище. Или она только собирается родить?

Игорь прошёлся по коридору, вчитываясь в таблички, пока не нашёл нужную.

Палата новорождённых.

Он глубоко вздохнул, как перед нырком в пропасть. Или на глубину, где точно не хватит воздуха для всплытия. Однако о себе он уже не думал, мысленно перебирал варианты убийства младенца. Которого ещё предстояло найти. При этом чувствовал себя Иродом. С той

лишь разницей, что библейский царь приказал убить спасителя человечества. А ему предстояло спасти человечество, убив будущего монстра.

Палата новорождённых оказалась довольно просторной, в виде большой буквы Г. Но лежащей на боку, так что самый длинный штрих был прямо перед дверью, а горизонтальный прятался за углом. И был с засечкой в виде массивной колонны, создающей малюсенькую нишу у дальней стены.

Гребнев первым делом заглянул туда. Чтобы убедиться, что ему никто не помешает в самую ответственную минуту. Или секунду — тут уж как дело пойдёт. Хотя младенчик вряд ли будет сопротивляться. Да и долго не протянет, если надавить как следует.

Детских кроваток в палате, с единственной лампочкой ватт на сорок под потолком, было больше дюжины, но заняты только четыре, стоящие прямо напротив двери. Это облегчало поиск. Если только будущий монстр не отправился на обед. Или что там у него по расписанию… Оставалось понять, как опознать в тугих коконах среди четырёх сморщенных личиков нужное. Которое он вообще если и представлял, то только в облике человека, бывшего почти на десять лет старше его. Да и то не нынешнего Игоря, а того, из будущего. Которому должно было бы исполниться…

Гребнев на секунду замешкался, соображая, сколько же ему на самом деле. Выходило, что к следующей осени, если доживёт, будет шестьдесят пять. Но точно не в этом молодом теле. Так что может и не дожить. Если его вообще не убьют здесь и сейчас.

Склонившись над первой кроваткой, Игорь нашёл привязанный марлевой повязкой поверх застиранных пелёнок кусок клеёнки. На нём синим чернильным

карандашом была размашисто выписана неведомая Гребневу фамилия, он её даже запоминать не стал. Не тот, и ладно.

Не тем оказался и второй младенец. А вот на третьем клеёнка недвусмысленно сообщила — он.

Словно почувствовав, что речь о нём, пусть только и в мыслях склонившегося над ним человека, младенец покрутил кнопкой носика, пошамкал сморщенными губками, почти такими же, как у бабы Тони, явившейся Игорю как предупреждение. И издал какой-то звук. Не очень громкий, но от него Гребнев едва не рухнул в обморок — таким было напряжение его психики. А уже секунду спустя грудничок голосил во всю мощь своих недавно раскрывшихся навстречу отравленному ненавистью воздуху лёгких. В соседних кроватках задёргались, завертели головками другие новорождённые, потревоженные криком собрата по несчастью прийти в этот мир в такое время. Ещё миг, и они все разом разинут рты в голодной истерике.

Самое время было зажать ладонью нарушившие тишину и кривляющиеся в крике губы. Вместе с бугорком носика на плоском красном личике зажать. Чтоб уж разом перекрыть кислород. И на том покончить. И с монстром, и задачей, что вечность поставила перед Игорем. Но его руки словно онемели. А ноги вросли в мраморный пол.

Младенчик всё заливался плачем, а его убийца никак не мог пошевелиться. И пока Гребнев в очередной раз собирался с духом, за дверью застучали каблучки. Причём, явно в направлении палаты новорождённых — иных поблизости не было. Да и призыв к помощи шёл именно отсюда…

Стараясь даже не дышать, Гребнев скользнул в сторону от кроватки. В закуток, который он не столько

заблаговременно облюбовал, сколько исследовал на безопасность. Теперь эта безопасность была ему ещё нужнее.

Высокая, почти под потолок, дверь распахнулась почти сразу же, но Игорь пока не мог видеть вошедшего. Или, что более вероятно, вошедшую. Ведь так стучат только женские каблучки.

Катя. Точно так же стучали её каблучки в коридорах министерства.

Пока Гребнев вспоминал приятные минуты, оборвавшиеся пулей в грудь, вслед за каблучками, затихшими у детской кроватки, смолк, захлебнувшись, и детский крик.

Очень осторожно, по миллиметру отлипая, а потом и отрываясь от стены, Игорь выглянул из-за колонны. Одним глазом выглянул. Которым и разглядел изящные ножки, выглядывающие из-под накрахмаленного белого халата, обтягивающего весьма аппетитную упругую попку.

Этот вид не портили даже чулки. Грубые, хлопчатобумажные, коричневого цвета. И, похоже, удерживаемые резинкой, которая проступала сквозь туго натянутый халат именно там, где, как и предполагал Игорь, должна была быть, чтоб это убожество держалось на ногах.

Ножки же, и это было странно для пятидесятых, где проблемы с модельной обувью, как мог в том убедиться Гребнев за день блужданий по городу, были почище, чем с модной одеждой, заканчивались изящными туфельками. Рядом с которыми на полу стояла большая парусиновая сумка. Никак с ними не вязавшаяся. Да и с родильным отделением, где превыше всего была стерильность, которую он своим дафлкотом нарушил, тоже.

Вместо того, чтоб понять, что не так, Игорь скользнул взглядом по многообещающей заднице. Прошёлся почти нежным взором по склонившейся над колыбелькой

спине. И только потом увидел женские руки. Холёные. Изящные. Сильные.

Эти руки делали то, что должен был или, по крайней мере, собирался сделать Гребнев.

Две ладони одновременно зажимали рот и нос младенчика, на бирке которого была ненавистная Игорю фамилия.

Гребнев отшатнулся и вжался в стену, стараясь ничем не выдать своё присутствие. И одновременно понять увиденное. Потому что такого быть не могло. Хотя почему…

История знавала немало примеров, когда представители самой гуманной профессии, чаще, конечно, медицинские сёстры, вместо спасения человеков становились их убийцами. Порой даже серийными. Или массовыми…

Но здесь, похоже, дело было в ином.

Младенчик давно затих, успокоились и его соседи после такого радикального баюкания, а сестра не уходила.

Игорь вновь выглянул из своего закутка. И похолодел от увиденного.

Удерживая одной рукой уже по всей видимости детский труп, медсестра с призывными формами стянула через голову младенца его опознавательный знак — клеёнку на марле. Опустив безжизненное тельце на пол, она почти обернулась в сторону Игоря. Но ни она его не увидела — Гребнев моментально вжался в стену спиной, ни он её не опознал. Из-за такой же, как и у него, маски на лице. И тоже голубой. Чего здесь и сейчас быть не могло. И не потому что даже в пандемию такие маски появились далеко не сразу. Да, это не было что-то из ряда вон. Но это было недоступно не то что для производства таких масок в пятьдесят втором, а даже для понимания: как так, стерильный предмет, и вдруг не белый…

И всё ж лицо показалось ему знакомым. Завитками волос, выбившимися из-под шапочки, которой у Игоря не было. Какой-то гримаской. Или ещё чем… Сейчас было не до того. Задача была поважней.

Гребнев должен был разобраться в том, что происходит. Поэтому он вновь выглянул из своего закутка.

Мёртвый младенец так и лежал у ног медсестры. А сама она, обвязывая кокон с другим ребёнком марлевой лентой с клеёнчатой биркой, укладывала в кроватку точную копию удавленного новорождённого. Укладывала спокойно, методично, будто делала это уже не один раз.

Когда же дитя зачмокало, успокаиваясь в постельке, медсестра-убийца подхватила с пола трупик и небрежно сунула его в сумку, прикрывая её уже на пути к двери. Из-за чего Гребнев потерял её из виду. И сумку, и медсестру. Но услышал, как хлопнула, закрываясь, дверь. И по коридору зацокали каблучки. Очень знакомо зацокали. Это для всех прошли годы. Игорь же, для которого с последней встречи с Катей минуло всего-то несколько дней, максимум — месяц, помнил очень хорошо, как она ходила. До того, как выстрелить в него.

Цок-цок. Цок-цок-цок.

Ну точно! Именно так, словно сбиваясь с шага, Катя ходила по коридорам министерства. А Игорь вышагивал следом, стараясь не выдать своего присутствия у неё за спиной. Прям как сейчас.

Он осторожно выбрался из своего закутка, подошёл к кроваткам.

Вновь появившийся младенец ничем не отличался от исчезнувшего. Такое же красноватое личико, причмокивающие губки, носик-кнопка…

Гребнев обречённо уставился на спящего младенца. Которого не разбудила даже странная переноска в виде моряцкой сумки из парусины.

Его руки сжались в кулаки и тут же разжались.

Младенец был тот и не тот. Одновременно. Новорождённого удушила медсестра. На его месте — подкидыш. Тоже новорождённый. Но — вновь принесённый. И ни одной подсказки как в таком случае поступить. Положиться на то, что монстр, в которого мог вырасти младенчик, мёртв? А вдруг всё дело в подмене? Ведь сколько было теорий заговора, конспирологических версий по поводу двойников сбрендившего от власти вождя и прочего? Что, если всё случилось не тогда, когда монстр уже вырвался наружу, а вот только что?

Гребнева прошиб холодный пот. Ошибиться было нельзя. Он и без того брал на душу грех детоубийства, а если ещё и невиновного…

И тут ребёнок раскрыл в крике рот. Вначале в немом, а после — заголосил. Во всю мощь. В коридоре немедленно раздались шаги. Шаркающие. Неторопливые. Но целеустремлённые. Словно ждавшие этого сигнала.

Так и не решившись повторить движение медсестры, довольно профессионально зажавшей рот и нос младенца ладонями, Игорь метнулся в свой закуток. И вовремя.

Дверь распахнулась даже прежде, чем он втиснулся в нишу за колонной. Поэтому ему не пришлось высовываться, чтобы разглядеть вошедшую старушку. Хватило и того, чтобы просто обернуться.

Маленькая, сухонькая, в белом платочке и мятом халате. На кривоватых ножках — никаких тебе туфелек, тем более каблучков. Шлёпанцы. Но чулки такие же, как и у исчезнувшей с трупом младенца медсестры. Разве что приспущены, а не обтягивают ноги. Да и то сказать, что там обтягивать…

Гребнев надеялся, что санитарка или нянечка — поди разбери кто она там по штату, пришла за другим

ребёнком, и он сможет выполнить своё предназначение. Но старушка склонилась именно над той кроваткой, в которой младенца подменили.

Ребёнок заплакал, но привычное ко всему сердце старушки вряд ли даже дрогнуло. Она молча подхватила свёрток, заученным движением прижала к груди и подалась за дверь.

Следом шагнул и Гребнев, додумавшись снять дафлкот и перебросив его через левую руку.

В коридор он вышел ровно в тот момент, когда старушка с плачущим ребёнком исчезла за дверью в другом конце коридора. Игорь поспешил следом. Но не дошёл буквально два шага до палаты, на двери которой тусклым золотом бронзовой краски на чёрном фоне таблички было написано: «Послеродовое отделение», как оттуда раздался женский вопль.

— Это не мой ребёнок!!!

Игорь встал, как вкопанный.

То, что не мог определить он, мгновенно уяснило материнское сердце. Если он всё правильно понял. А судя по доносившимся из-за двери женским голосам, так оно и было.

— Марусечка, што ж ты говоришь такое! Это ж твоё дитё! Вон, погляди, как сиську ищет!

Это, похоже, успокаивала роженицу старушка, принёсшая ребёнка на кормление к матери.

— Уберите его! Это не мой сын! — продолжала вопить молодая, судя по голосу, женщина. И этот крик, похоже, разбудил весь этаж, дремавший в послеродовом покое и тишине.

— Успокойся, Маруся! — Нянечка и голос повысила, и строгости в него добавила. — Твой это ребёнок, вон, гляди, и бирка на месте. Да и детей у нас на этой

неделе столько, что не перепутаешь. Три девочки и только твой мальчик. Так что, девка, не дури…

Но роженицу уже было не успокоить, и коридор наполнялся жизнью.

Откуда-то издалека забухали по мрамору тяжёлые шаги, быстрые, энергичные. Потом топот раздался и из другого конца коридора. Так что Гребневу некуда было бежать. И он просто вжался в стену, когда мимо, злобно зыркнув на него, пробежала полноватая докторша, обдав его запахом табачного дыма. Ей вслед воскликнула «Кира!» вторая медичка, спешившая на крики из палаты. Вот она-то, ещё не поравнявшись с Гребневым, одним взглядом не ограничилась:

— И что вы стоите! Нет бы помочь успокоить женщину! После родов и не такое бывает! Вас сюда на практику прислали? Вот и практикуйтесь.

— Так я это… Я, похоже, просто заблудился, — промямлил Игорь, и развернулся в сторону выхода из отделения.

Он и сам готов был кричать, едва ли не сильнее невидимой за стенами послеродовой палаты Маруси, взывая к тем силам, что привели его сюда. Кричать, требуя объяснить, как быть дальше. И что значило всё, случившееся у него на глазах. Ведь значило же что-то крушение трамвая, в котором ехала несостоявшаяся мать Якушева. А тут мать ребёнка не признаёт. Что и не удивительно после подмены. Произошедшей сразу после убийства её родного дитяти…

2

Крик Маруси, стоявший в ушах Гребнева, но затихший, едва за ним закрылась дверь родильного отделения, подтверждал: природа никогда не ошибается. И если она породила монстра, значит, так нужно. А материнский

инстинкт, тоже безошибочный, рано или поздно, но вынужден будет смириться. Всё-таки дитя. Пусть не своё, но всё ж… Вдруг и моём кто позаботиться — извечное оправдание, порождающие ещё большие беды.

Омоложенный организм неистово пожирал жировые клетки, и есть хотелось невыносимо. А может, потому что был уже очень поздний вечер, и прошли сутки с того момента, как он съел свои стейки. Ведь после них маковой росинки не было во рту. Хоть она бы и не спасла от голодной смерти. Подкравшейся почти что незаметно.

Изгнанный из родильного отделения, Гребнев и больницу, в которой к жертвам революции присоединилась ещё одна, но, не исключено, не та, оставил за спиной. Голод вёл его исключительно точно, единственно верной дорогой. Может, потому что он здесь уже прошёл, и неосознанно отметил для себя булочную? В которой, Игорь был уверен, а запахи только подтверждали догадку, можно было по-быстрому перекусить пончиками. Горячими, с пылу, с жару, присыпанными сахарной пудрой. И в масле, пропитывающем серый бумажный кулёк. Такими он их запомнил в пору флотской юности. Но уже тогда, задолго до перестроечных времён, пончиковые и блинные были почти на каждом углу — город, переживший блокаду, словно стремился наесться впрок. Или готовился встретить возможный голод во всеоружии.

Путаясь, какие деньги сейчас в ходу, Игорь всё же выудил горсть монет, подглядев, как перед ним расплачивалась молодая пара. Он — во флотской шинели, но без погон, она — в плюшевом жакете, по последней моде. Ударница? Такими власть одаривала за успехи на производстве или в сельском хозяйстве. Лишь бы денег не давать. Да и то дело, за деньги мало что можно было купить, разве что пакет плюшек. Но шляпку, которая была на девушке, даже за ударный труд не давали. Как и ботики, судя

по отпечатку на грязном полу, с рифлёной подошвой. Поверх них были резиновые боты с отверстием для каблука. А верхний край ботиночек, плотно облегающих стройные ножки в простых коричневых чулках, был оторочен мехом.

Как ни странно, в памяти Гребнева всплыло их название, а не ботфортов на кавалере, брюки которого были заправлены в высокие голенища массивных ботинок на толстой подошве. Микропорка. Это всё, что он мог сказать о мужской обуви — так ещё и в его юности называли каучуковую подошву, не отличавшуюся изяществом, к которому он привык в своих полусапожках. А вот женские полуботиночки назывались румынками. Отчего так, Игорь, естественно, не знал. Но принял воспоминание как должное. Ему бы разобраться с деньгами. До очередной реформы оставалось ещё около десяти лет, а прежние бумажки уже года три как обменяли один к десяти. Хотя нет, там был плавающий курс, в зависимости от суммы. И только мелочь осталась нетронутой. Вот её-то у него и хватило на пакет пончиков. И только…

Что будет дальше с ним, без денег и документов, Игорь не задумывался. Жизнь подбрасывала задачи попроще, но куда более насущные. Ему бы с пончиками разобраться…

Пакет оказался не только не целлофановым, а даже и не серым, как это было уже в самом конце истории страны под названием СССР. Продавщица всучила Игорю кулёк из пачкающей пальцы типографской краской газеты. Причём, весьма опасный кулёк. И отнюдь не из-за вредности краски, перетекавшей с мятого листа на пончики.

Верх газетной страницы бы оторван, и можно было только предположить, что это вчерашняя «Ленинградская правда», повествующая вслед за старшей «Правдой»

новости со съезда и перепечатывающая поздравительные телеграммы «своим» немцам. Но мелкий шрифт прямо по месту разрыва недвусмысленно намекал, что там прежде было фото. И на фото присутствовал «сам». «Хозяин». И единственный, если верить погибшему в казанской психухе боксёру, кого всё ж убрали из высшей власти. Причём, убрали при власти.

Но здесь и сейчас он ещё жив. И будет жить ещё несколько месяцев. В течение которых за такое богохульство и святотатство над светлым ликом вождя тётка в грязном халате, стоящая за агрегатом, сплёвывающем на поднос готовые пончики, может успеть загреметь в места не столь отдалённые. А то и дальше. И вряд ли выйдет до его кончины.

Гребнев не стал дальше развивать мысль. Потому как она бывает материальна. И если не тётка, то это он, идущий с горячим кульком из дневника съезда, может загреметь куда подальше. Как минимум туда, где один раз уже бывал. В той же Казани, когда и узнал, что хотя бы одно покушение на партийного вождя увенчалось успехом. Во что хотелось верить. А уж как там оно на самом деле было…

Пончики исчезли в момент. И Гребнев был не против повторить. Однако опоздал.

Хоть и установили уже в городе аппараты по выпечке вкусностей, но работать им на прибыль пока не позволяли. И пышечная оказалась уже закрыта — вместе с молодой парой, которой некуда было идти, чтобы уединиться, Игорь был из числа последних покупателей. Да и не было чем расплатиться — вся мелочь ушла на уже съеденные пончики, на новые денег не предвиделось.

Испачканные жиром пальцы пришлось вытереть о халат, торчащий из-под дафлкота. И это вернуло Гребнева к реальности. А потом и ко входу в больницу. Который

никто не охранял и не запирал на ночь. Или ещё было рано?

Пройдя через двор, Игорь вновь вернулся в тот же корпус, где стал свидетелем смерти младенца, которого и сам намеревался убить.

На лестничном пролёте, перед пятым этажом, его окликнул насмешливый голос:

— Никак опять заблудился?

Гребнев поднял голову.

Сверху на него смотрела, закусив в углу рта папиросу, пухленькая докторша, не удостоившая его вниманием при первой встрече.

Ну, это ему так показалось. А она-то, видать, и запомнила его, и оправдание услышала. Теперь же вот встала на его пути. Или в лице этой дамочки это само провидение, природа, у которой не бывает ни плохой погоды, ни монстров, подлежащих истреблению ещё при рождении, решили его остановить? Дамочки, с которой не драться же ему. А как иначе пройти в палату, где причмокивает губёнками подмена монстра? Или же сам монстр…

Гребнев, ниже склонив повинную голову, сделал следующий шаг, на ступеньку выше.

— У меня много грехов. И ошибок. Но я ни разу и нигде не заблудился. Штурман я. Может, и не лучший, но… Какой уж есть…

Игорь вновь поднял голову.

Из-под докторской шапочки, щурясь от дыма папиросы, на него смотрели внимательные глаза, выразительные на почти круглом, едва ли не детском лице. Луна луной. Если бы не румянец. Но губы, губы…

Бантик, да и только. Так бы и целовал.

А кто ж мешает?

Гребнев сделал ещё шаг вперёд.

3

…Смотровая кушетка в ординаторской была тесна для двоих. Но не настолько, чтобы Гребнев с Кирой не уместились на ней. И только далеко за полночь, притомившись от безумных ласк — кто там говорил, что в СССР секса не было, теснясь, устроились рядком.

Не совсем рядом, конечно. Теперь Кира большей частью своего тела, в основном грудью, лежала на Игоре. Ему была приятна эта тяжесть обнажённой женской груди, с тёмными широкими кругами вокруг сосков, твердеющих при малейшем прикосновении. Живот, конечно, немного подкачал — мягкий и податливый, он обещал в недалёком будущем превратиться в фартук. Не тот, что на кухне, а свисающий над женскими прелестями. Ничего удивительного. До культа тела ещё далеко. Да и позже этой религии в стране придерживались единицы. К числу которых Гребнев себя тоже не относил. Да, у него не висело пивное брюшко. Но и рельефной мускулатурой он не мог похвастаться. Сейчас же ему это и не требовалось. Он был вновь молодым. И даже моложе Киры. На вид. С её детским лицом. И ненасытной жаждой плотской любви. Последнее он познал на практике. О возрасте — из забытого на столе паспорта. Не специально ли? Однажды уже было такое. Вроде как случайно забытый, другой паспорт многое рассказал Игорю о Марине, оставшейся в том, ином времени. Хотя это он сейчас был в ином. А тогда…

Она спала, а он воровато листал страницы документа, удостоверяющего её личность. Опасаясь, что женщина, спасшая его в разгар пандемии, подослана его же и убрать. Как те силы, что пытались это сделать до неё.

Теперь же хлипкий документ, не от древности, а по причине неспособности государства сделать лучше, он пролистал во время отлучки Киры, пустившейся в обход. Который завершился очень быстро — и рожениц, и детей

в отделении было всего ничего. Три мамочки — одна с двойней, и четверо детишек. И только один мальчик. Судьба которого зависела от Гребнева.

Он не приложил ни малейших усилий к тому, чтобы совратить Киру. Почему? Ответ дал тот же паспорт. Точнее, очки, лежащие рядом с ним. Ну, и само собой, фото в паспорте, где Кира была в этих же очках, с круглыми стёклами. Что прибавляло ей лет. А вот очки…

Когда Игорь поднёс их к своим глазам, то едва слезу не пустил — настолько мощными были линзы. Без них Кира мало что могла видеть. Разве что вдаль. Но вот то, что они прибавляли возраст… Это, похоже, и перевесило все остальные доводы. В том числе разума. Поэтому она и обозналась. Что он понял не сразу. Но подыграл. Чисто случайно. Просто попал в такт, совпал по желанию.

…Недокуренная беломорина улетела в проём лестничного пролёта. А едва Гребнев поднялся на площадку перед дверью родильного отделения, как Кира легко и непринуждённо повисла у него на шее:

— А я уж думала ты никогда не решишься… — горький табачный вкус на губах Киры мгновенно слился с его сладкой от пончиков слюной, когда Игорь, не задумываясь, ответил на внезапный жадный поцелуй.

…С ней было легко и просто. Мало того, что в отношениях с женщиной выбор мужчины ничего не значит. Главным было её, Киры, желание. И её решение. Принятое, видать, когда-то давно. Впрочем, это — как и в случае с любой женщиной. Но тут главным было именно неутолённое желание. Пухленькая, с простоватым, где-то даже детским лицом. Выглядящем глуповато при таком роскошном теле — Игорь ещё при первой, мимолётной встрече отметил про себя, что её роскошные груди вряд ли поместятся в его ладонях. Но… Далеко за тридцать, а мужчины рядом нет. Не только рядом — вообще. А тело

просит. Да что там — требует. Это пропаганда сколько угодно могла вещать о целомудренности советских женщин. Они же были вполне себе земными, с нескромными и недопустимыми, по мнению пропаганды, желаниями. Однако вполне естественными сообразно возрасту. И природными инстинктами. Ей бы самой родить, а не наблюдать ежедневно за другими роженицами. Вот только не сложилось. Сколько там мужиков было спустя десять лет после войны? А приличных среди них? На Киру так точно не хватило. Хотя вряд ли она была слишком привередлива. Гребнева вон сразу приветила. Но потому, что обозналась. Однако же сама позвала, сама предложила. Сама же и разделась. А потом…

Потом за ночь было много всего. Но чего не было, так это любви.

Была почти животная страсть. Страсть к размножению, а не удовольствию, тем более взаимному. Потому как со стороны Киры это было скорее изнасилование. В чём она, неожиданно для Гребнева, преуспела. Получив всё, что хотела. Игорю даже пришлось несколько раз зажимать ладонью рот Киры, грозившей своим криком разбудить всё отделение, оставленное на её попечение этой ночью. Ничего подобного с ним прежде не случалось. Ни когда он ласкал Риту, почти в этих же временах, у которой тоже была потребность в совокуплении — даже не в сексе, тем более не в любви. С Мариной тем более всё было иначе. Из-за других времён или его истинного возраста? Не важно. Суть в том, что всё было не так. Но на сегодня всё, похоже, закончилось. Кира устало посапывала у него на плече, и больше не проявляла стремления им овладеть.

В полумраке ординаторской Гребнев с трудом разглядел светящийся циферблат своего хронометра.

Час быка. Или волка. Собачья вахта, если уж по-флотски, как и полагалось изъясняться отставному

каперангу. Пусть и помолодевшему. Пусть и не был он в своё время в таком возрасте столь же популярен у женского пола. Не видели девицы в нём надёжной опоры? А потому случайные связи были слишком уж случайными, чтобы утолять его сексуальный голод до того, как он обрёл жену. Потом, конечно, всяко случалось, но всё равно при прочих равных условиях его предпочитали другим. Если оказывался кто-то из свободных мужчин рядом. У Киры рядом никого сегодня не оказалось, потому-то и спали они на узеньком топчане вдвоём, прижимаясь друг к другу голыми телами.

Игорь, аккуратно, чтобы не разбудить уставшую от нечаянных ласк и наслаждений женщину, высвободил вначале руку, а потом и сам сполз на пол. И чуть не взвыл от холода.

Вдвоём на топчане было даже жарко порой. А вот мраморный пол был сродни тому, на котором во дворце Снежной королевы Кай выкладывал слово…

Какое там было слово? Счастье? Нет, в понимании вождей, даже снежных королев, счастьем была вечность. Гребнев не помнил, из каких букв пытался одурманенный мальчик слепить это слово. Но точно помнил, почему пошёл на это прелюбодеяние. Хотя и не задумывался в тот момент.

Ребёнок, которому предстояло стать монстром. Если только медсестра, зажавшая ладонью нос и рот младенцу, не решила уже эту проблему. Вот только с чего бы… Если провидение вновь открыло ему дверь в родильное отделение, значит, задачу никто не отменял. Значит, не была она решена. И у медсестры-убийцы было иное задание. Прямо противоположное. А Гребневу всё ещё предстоит избавить мир от грядущей напасти.

Он уже почти полностью оделся, тихонько, стараясь не разбудить спящую Киру.

— Ты уходишь? — как-то даже жалостливо пискнула Кира у него за спиной, приподнимаясь на локте и тут же кутаясь в одеяло. Старое, флотское. Тёмно-синее с двумя серыми полосками. Которые Игорь с курсантской юности ненавидел. По ним нужно было равнять заправленные постели.

Сейчас он ничего не имел против. Ни против одеяла, ни против полосок на нём. А вот против объяснений с женщиной, слабостью которой он воспользовался, у него было море аргументов. Но он не успел воспользоваться ни одним.

— Да, ты прав, лучше так, тихонько, без всяких слов расстаться, — подслеповато щурясь, продолжила Кира почти без паузы. Не дав Гребневу даже мысленно воспользоваться правом на ответ. — Небось, думаешь, какая же я дрянь…

Тут Игорь уже и воздуха набрал, чтоб отрицать такие наговоры. Не столько на себя, сколько на саму Киру. Он ни разу не подумал о ней плохо. Ну, да, без всяких предисловий и почти без прелюдий оказались они в постели. Но это ещё ни о чём не говорит. Как секс не повод для знакомства нынешним поколениям, так и для того, чтоб плохо думать о женщине, которая позволила то, что позволяла за их короткое знакомство Кира, не было повода. Вот только Кира не нуждалась в том, чтобы её оправдывали. У неё была своя правда.

— Думаешь, обозналась сослепу? Думаешь, не заметила, как ты дёрнулся, когда я тебя Митенькой назвала? — Этот момент Гребнев помнил с трудом. Но опять же не стал спорить. Ему бы и не позволили. Кира ещё не всё сказала. — Да, вижу я очень плохо без очков. Почти слепая. Это всё блокада… Но я ничуть не обозналась. Ты действительно похож на моего Митеньку. Вот только его ещё в сорок третьем убили. Так что не могла я обознаться. Но

так хотелось к нему прижаться… Или не к нему… Тебе этого не понять…

— Отчего же, — вновь попытался Игорь вставить хоть слово, но Кира, похоже, даже не услышала его.

— Я не каждому встречному-поперечному на шею вешаюсь. Так что не думай. А если подумал, то выброс из головы. Не шалава я. Женщина. Которой не довелось дождаться своего мужчину. Война, будь она проклята. Вместе с теми, кто её развязал. Два кровожадных вампира…

Кира внезапно осеклась, словно прикусила язык, поняв, что сказала неведомо кому что-то лишнее.

Гребнев в полумраке ординаторской сделал шаг к кушетке, присел рядом с кутающейся в одеяло женщиной, бережно коснулся её щеки тыльной стороной ладони.

— Глупенькая, ничего плохого я о тебе не подумал. И ничего не бойся. Потому что ты абсолютно права. Войну затеяли два параноика, вцепившиеся во власть, одуревшие от неё и вседозволенности, дарованной ею. И ещё неизвестно, кто их них страшнее. То же, что одного уже нет, не избавит второго от возмездия. Не далее, как в следующем марте…

Тут бы уже и Гребневу стоило язык прикусить. Однако он поступил с точностью до наоборот.

— Это я тебе точно говорю. Что, увы, не избавит от повторения пройденного.

Глаза Киры полыхнули каким-то странным огнём, осветив ординаторскую божественным светом. Любви. Или мести. А может, это Гребнев слишком возомнил о себе на волне пафоса, вскормленного встречей с человеком, мыслящим так же, как и он. Ну, или похоже. Что редко было даже для его времени, а тут, через семь лет после страшной войны, в которой тот же её Митенька мог погибнуть со словами «За Родину! За Сталина!» … Хотя и

знал Игорь, что это по большей части всё та же пропаганда. У гибнущих порой не было мгновения маму вспомнить перед смертью, не то, чтоб думать о вожде народов. Да и о высоком, о Родине, тоже, скорее всего, не думалось в последний момент, в миг, когда жизнь обрывалась, пусть и на высокой ноте. Человек внезапно смертен, и к этому никогда не подготовишься заранее, с запасом речей и позами, памятными для потомков. Это тебе не кино. Но то, что Кира понимала, знала виновников и своей слепоты, и своего одиночества, не просто взбодрило Гребнева.

Продолжая гладить её по щеке, потом по шее, опускаясь всё ниже и ниже, туда, где грубой вытертой шерстью казённого одеяла были прикрыты тяжёлые груди, не знавшие счастья материнства, Игорь неожиданно заговорил о своём, о наболевшем.

Он начал издалека. Не от печки. А от вагона, в котором попал в прошлое. Раз. Потом ещё. И ещё. А вернувшись однажды, понял, что гидра, которой вроде как отрубили голову, воскресла вновь. Потому что не было сделано главное — прививка от фашисткой чумы, как бы она ни называлась. Это сказочные и древние герои, истребляя таких тварей, прижигали им раны, чтобы новые головы не отрастали. Но, даже зная об этом, никто и не подумал о возможном реванше, о воскрешении порождений тьмы. Воздух свободы сыграл с людьми дурную шутку. И они решили, что подобное не повторится. Поэтому срубленную голову не сожгли, а шрам — не залили смолой и дёгтем. Вот и пробились новые ростки. Более того, люди сами, своими руками посадили себе на шею выкормыша этой самой тьмы, убаюкавшего их своими речами. Такими простыми, вроде как даже народными. А на самом деле подлыми и лживыми.

Да что там говорить, Гребнев поначалу и сам едва не купился на эти речи. И это при том, подчеркнул он

специально для Киры, что в 1999 этот нынешний ребёнок со своими подручными взорвёт дом едва ли не в центре Москвы, погибнет больше ста человек. Не врагов, нет, своих. О чём все довольно быстро забудут. Потому как будущий вождь пообещает мочить всех. Если надо, то и в сортире. Однако для начала будут мочить своих. Чтоб чужие боялись. А свои — кланялись. Но к тому времени Игорь уже научился задавать неудобные вопросы. И искать на них ответы. Так что очень скоро, продолжая служить в государственных структурах, он понял, кто есть враг. Вот это самое государство, которому он служит. Оно стало совсем иным, куда хуже и подлее того, что он защищал ещё на военной службе. Особенно подлыми были люди, олицетворяющие власть в нём.

Гребнев не понимал, с чего вдруг пустился в откровения. Неужто случайная оговорка Киры о том, что Сталин такой же вурдалак, как и Гитлер, освободила пружину, удерживающую в нём осторожность? А ведь так он мог и себе подписать смертный приговор. Если Кира сейчас послушает, а потом и донесёт куда следует. Это же не только ему конец! Но и смерть надеждам остановить маньяка, который вот-вот дорвётся к власти. Пусть не завтра, и время ещё есть, но нельзя так подставляться! Ладно сам погибнет. Так ведь и возложенную на него мирозданием миссию загубит.

Но Игорь говорил и говорил, сумбурно, перескакивая с пятого на десятое, что-то упуская, а о чём-то, малозначимом, болтая подолгу. Кира, приоткрыв рот, слушала почти не дыша. И всё же выдала, когда Игорь на мгновение смолк:

— Чем докажешь, что не врёшь?

— Не знаю, в какой мере это будет для тебя доказательством, — Игорь потянулся к своему дафлкоту, висящему на спинке единственного стула в ординаторской,

сунул руку во внутренний карман, вытащил смартфон. Кира с интересом, но ещё не понимая происходящего, следила за ним. Её, как бабочку, привлёк свет полыхнувшего, включившись, экрана. А потом она и вовсе ослепла. Когда полыхнула уже настоящая вспышка. После чего Гребнев повернул смартфон экраном к полуголой женщине.

— Передай очки, пожалуйста. Там, на столе…

Она долго изучала своё изображение.

— Ну, что, теперь веришь мне?

— Я толстая?

— Ты красивая! Даже в этом одеяле! Хотя без него было бы лучше.

Кира помолчала, переваривая комплимент. Двусмысленность сказанного от неё ещё ускользала — до порнухи с обнажёнкой на каждом углу общество ещё не дошло. Но она всё равно была откровенно поражена. Не столько услышанным, сколько тем, что на неё навалилось с этими открытиями. Пусть и не знала как к этому подступиться: коробочка, показывающая удивительные фото, парень из будущего, её едва прикрытая одеялом фигура на маленьком экране, зато в цвете. Это вам не «Колизей», кинотеатр на «Невском», где всё ещё крутят чёрно-белые трофейные фильмы. Хотя давно есть и нашенские, быстро приедающиеся, правда, своей однозначностью, от «Ревизора» до «Садко». А тут она сама — звезда экрана, пусть и маленького…

И тогда Гребнев заговорил вновь, перечисляя всё, что знал сам, о том, к чему приведёт спустя годы ребёнок, сейчас лишь агукавший за стеной ординаторской.

…— Сегодня круг замкнулся. Там, — спустя ещё минут десять Игорь выговорился наконец, и кивнул на дверь, — в палате новорождённых, сейчас лежит маленький человечек, весь в зелёнке, туго укутанный в пелёнки. Он пока никто и звать его никак. Но в моём времени он

станет таким же, если не большим, упырём, как эти два, что затеяли войну, унёсшую жизнь твоего Митеньки. Ты уж прости, я тобой, получается, воспользовался. Не специально, ты сама помогла. А я… Я, да, воспользовался. Чтоб сюда поникнуть. И не с добрыми намерениями. А чтоб взять на себя грех. Убить младенца. Чтобы из него не вырос монстр. Убить сейчас. Пока это возможно. Потом к нему не подступишься. И я должен это сделать. Прямо сейчас. Оставив тебя. Хотя и не хочу оставлять. Но… Я должен, понимаешь, должен…

— К нему и сейчас тебе не подступиться, — внезапно перебила Гребнева Кира. Казалось, она ничуть не удивлена тем, что он ей не менее двадцати минут рассказывал, порой захлёбываясь от нехватки воздуха.

Игорь, опешив, поперхнулся и смолк. На мгновение. Чтобы в следующее уже спросить:

— Как это не подступиться? Его уже охраняют? Медсестра, что удавила настоящего ребёнка Маруси? Мать-то почуяла монстра, не приняла его за своего сына…

Теперь уже на круглом лице Киры вспыхнуло непонимание, и Гребневу пришлось дополнить свой и без того непростой рассказ тем, что он видел, притаившись за колонной в палате, где лежали новорождённые.

— Выписали их с Марусей, — потускневшим голосом, разом приняв на веру всё, сказанное Гребневым, обронила Кира. — Сразу после ужина и выписали. За ними и пришли к этому времени… Муж, или ещё кто… Но мужчина. А кто — не в курсе…

— Как? — удивился Игорь. — Только родила и уже выписали?

— Родила Маруся седьмого, — прижимая одеяло к груди, до которой в ходе рассказа почти добрался Игорь, спокойно сказала Кира.

— Так сегодня же и есть седьмое! — воскликнул Гребнев. — Ну, уже, конечно, восьмое, — поправился он, — всё равно рано! Для выписки рано!

— Десятое сегодня, миленький ты мой, — почти ласково прошептала Кира. — Десятое…

— Ну я же видел газету… На вокзале… В витрине…

— А то, что её могли не сменить, не подумал? Или сорвали верхние слои, но осталась очень уж древняя, почти недельной давности?

В голосе Киры звучала насмешка. Гребнев и сам готов был над собой посмеяться. Вот только ситуация к тому не располагала. А тут ещё Кира…

Несмотря на холод в ординаторской, женщина отбросила одеяло, которое, скорее всего, и без того не грело, схватила своей пухлой ладошкой руку Гребнева и прижала к груди. Пышной, податливой. На которой посреди тёмного кружочка тут же вздыбился побелевший сосок. То ли от холода, то ли от желания.

Желание всколыхнуло и низ живота Игоря. Он даже мысленно порадовался, что не успел до конца одеться. И уже менее чем через минуту всем своим телом грел грудь и живот Киры, втискиваясь меж пышных, ослепительно белых бёдер. Тут же забыв о своей миссии. Потому как сейчас эта миссия была точно невыполнима. А новой встречи с Кирой могло и не быть. Но это не точно…

Чего точно не было, так обратной дороги. Из дома он ушёл так, что теперь не вернуться.

Об этом он успел подумать до того, как наслаждение захватило его с головой. И он постыдно и поспешно излился в горячую расщелину, вобравшую в себя всё, что он успел поднакопить после предыдущих экзерсисов. Так что игра на сей раз не затянулась…

4

…— Кажется, я беременна, — Кира прижалась к Гребневу, вытянувшемуся с запрокинутыми за голову руками на смятой постели. Так что ему не удалось обнять её сразу после этих слов. И она уже хотела обидеться, сморщив носик в преддверии слёз, но тут Игорь извернулся наконец и сграбастал её в свои объятия. Не очень нежные, честно надо признать. Однако умелые — чтоб восстановить мир и покой в такой детской на вид головке женщины, делившей с ним кров и постель.

Да, он не любил её. И Кира, не исключено, о том догадывалась.

С полным правом Гребнев мог бы сказать: много женщин меня не любило, я и сам не любил ни одну. И это было бы честно. Хотя и не совсем правда.

Женщин он любил. Правда, как сказал классик, любил, но странною любовью.

Нет, она не заканчивалась с обретением доступа в постель к намеченной женщине. Пусть и случалось такое тоже порой. Просто ему вечно хотелось новизны. А его женщинам — стабильности. До самой старости. Они мечтали умереть вместе с ним. А он хотел жить. Не обязательно с ними. Потому и оставлял женщин, желавших умереть с ним. Он не хотел стариться и умирать. Даже перешагнув шестидесятилетний рубеж, не считал себя старым. Но ведь ему уже куда больше стало! Вот только стариком он себя по-прежнему не считал. Тем более сейчас, с Кирой. Более того, не ощущал. А по виду ему и так никто не даст прожитых лет. Та же Кира, уж на что старше, пусть и ненамного — по виду, считает его юнцом. Которого ей судьба послала вместо погибшего Митеньки. Тот-то точно был старше. И внешне, так и оставшись юным, куда суровей был на вид, чем Игорь в его — никто не поверит — шестьдесят четыре. А главное — Гребнев всё ещё был

юнцом, там, в глубине своей морской души. И, что вероятно ещё главней, был он бабником. Чего никогда не скрывал. Ну что поделаешь, была у него такая слабость. Пусть и держал он её в узде. И с женой, и после… Вот как сейчас, с Кирой.

За время его вынужденных и пока бесполезных хождений вокруг дома номер двенадцать в Басковом переулке, где Игорь надеялся улучить момент и избавить мир от монстра, подрастающего в доме том, встречал он немало симпатичных женщин. И моложе Киры, и даже краше, что сложно было по этим временам. Но…

Не потому, что был он привязан не только к Кире, а ещё и к её жилплощади — в полуподвальной комнате во дворе дома, выходящего на набережную Фонтанки. Да, идти ему, собственно, было больше некуда после той памятной ночи в ординаторской родильного отделения больницы в память жертв революции. Или всё же имени Валериана Куйбышева? Оба названия были никудышными. Но хуже всего было то, что у Гребнева не было возможности возврата в своё время. Из которого он бежал. И в котором за ним неведомо кто охотился. Это неведение больше всего и угнетало. И мешало возвращению. Ну как тут вернёшься, если не знаешь от кого удара ждать. Тем более в спину. Вот только не это удерживало его около Киры.

Он её всё же любил. Не по-книжному, а по-своему.

Ждал возвращения со смен и дежурств. Готовил скудный ужин из того, что удавалось купить или она приносила с больничной кухни — там порой подкармливали персонал. Благоустраивал убогое жилище. Наводил и поддерживал в нём порядок. Благо этим он занимался всю свою жизнь. Там, в другое время. В другой жизни. Так что ему было не в новинку. И не в тягость. А Кира с непривычки к такому вниманию, особенно после скромного праздника в новогоднюю ночь, буквально таяла. Она и без

того не знала удержу в постели, а уж за то, что Гребнев чуть ли не с ложечки её кормил…

Практически без колебаний Кира приняла его историю перемещения во времени. И порой, когда они уставали от не знавших запретов ласк, просила Игоря рассказать что-нибудь из того, своего времени. Удивлялась. Подетски восхищалась. Но в глазах нет-нет, да и вспыхивали огоньки опаски: а ну как всё это правда? И тогда Кира предпочитала историям эротические игры. В перерывах между которыми вздыхала: опять какая-то дамочка родила, пришлось повозиться, я бы лучше справилась, если бы довелось рожать…

Она, гинеколог со стажем, ревниво следила за другими роженицами, уже не надеясь сама стать матерью. Это куда позже женщины, презрев мнение общества, начнут рожать «для себя». В эту пору, похоже, до такого не дошли даже докторицы. Но всё то время, что они жили вместе, Кира ни разу даже не намекнула, что не надо бы сегодня в неё…

И вот они дошалились…

— Прикольно, — Игорь порой отпускал словечки, которых ещё не было в обиходе, и Кира изумлённо вскидывалась всякий раз. Но не сейчас. Сейчас она сунула свой носик ему подмышку, и тихонько сопела, ожидая от мужчины действий. Или хотя бы слов ободрения. А он лишь обнимал её и гладил плечи. — Конечно, если ты только не ошиблась. Но ты же спец! Так что ошибка исключена, надеюсь. Я ещё не родился, а у меня уже будет сын…

— Почему ты решил, что будет сын? — Кира подняла на него готовые расплакаться глаза. И улыбнулась. — Дочка будет. Это я тебе как бабский врач говорю.

— Дочка? И когда же?

Он не стал выяснять, почему Кира уверена в том, что будет дочь. Не потому, что ему было всё равно — дочь ли, сын.

Гребнев был обескуражен пошедшей в разнос историей. Он станет отцом до того, как сам родится. У него и без того есть шанс историю изменить, а тут ещё — дочка…

— А посчитай, — Кира выскользнула из-под одеяла, сунула ему в лицо свою грудь, окончательно лишив его соображения. — От той ночи и считай…

— Неужели? — неподдельно удивился Игорь. — Вот так, сразу?!

— Значит, так надо было, — прошептала Кира, припадая к его груди. — А вдруг бы ты ушёл. Тогда, помнишь? Ты ж уже оделся. И если бы я не проснулась…

…— то не узнала бы, что я из будущего, — закончил за неё Гребнев. — И ещё неизвестно, чем это обернётся.

— Моя беременность?

— Моё происхождение! И как оно на будущем отразится. Я вот до сих пор не решился… Знаю, ты не одобряешь то, что я замыслил. Младенец, и всё такое. Но как подумаю, что будет, если он вырастет… Или когда вырастет…

— А вдруг эта моя беременность всё изменит? — Игорь не раз вёл с Кирой беседы о том, как могут отразиться какие-то действия сейчас на отдалённом будущем. Он и о Якушеве ей рассказал, и даже съездил в Лигово, чтоб лично убедиться, что того больше нет. Хромой начальник станции оказался на месте. Но он и слыхом не слыхивал ни о каком Якове. Да и опорного пункта на станции не оказалось. Хотя историю со взрывом склада боезапаса, после которого осколками посекло немало народу, слышал. И даже подтвердил, что, да, живёт такой парень,

покалеченный тем взрывом, с мамкой живёт. Игорь хотел и его навестить, вдруг тот Якушева помнит. Но отвлёкся на слежку за домом номер двенадцать в Басковом переулке. Но и в этом не преуспел. А после и вовсе смирился с тем, что не было Якова, не родился он. Потому как его мать вместе с нарождённым ребёнком погибла в столкновении трамвая с грузовым составом… Зато у него родится дочка!

— Если бы! Я бы за это многое отдал. И дочку опять подержать на руках, смотреть, как она растёт. Мои-то без меня выросли, я в морях скитался, — Кира как-то недобро взглянула на Гребнева при этих словах. Хотя и знала, что там, в будущем, был он женат, и было у него две дочки. Любимая, и та, что предпочла блага от власти своему человеческому облику. Поэтому Игорь продолжил мысль не совсем так, как планировал: — Уверен, с такой мамой этот ребёнок будет куда лучше, чем я. Это и к гадалке не ходи. А ещё, надеюсь, не придётся девочке жить в мире, где будет всем заправлять монстр, благодаря которому я встретил её маму. Но даже ради этого я не могу его простить. Это ты меня прости, ведь у меня ведь и другие дети есть…

— Ты меня бросишь…

— С чего такие выводы? Я вот радуюсь своему продолжению, которое ты носишь. А ты сразу — бросишь…

— Дело не в тебе. Я так чувствую. Так вижу: унёсся ты в своё будущее. С концами. — Общаясь с Игорем, Кира нахваталась словечек, которых прежде не было в её лексиконе. Конечно, не выпускница Смольного, но всё же третье поколение докторов. Правда, женщина-доктор она первая в роду. Но дед и отец даже в подпитии не позволяли тех словечек, что Кира слышала в своей больнице. А после — от Игоря. Пусть и не матерных, но не совсем интеллигентных.

— А ты представь иное. Лето. Белые ночи. А мы втроём идём по Невскому. Ты, я и дочка… Назовём-то как?

— Ещё не думала. Не знала, как ты отреагируешь. Со всеми этими твоими межвременными переходами. Кстати, — Кира внезапно хлопнула Игоря по плечу, отталкивая, едва он попытался навалиться на неё — его помолодевшее тело жаждало наслаждений. — Кто-то хвастался что он из будущего. И что ж этот товарищ ничего не сказал о том, за чем следит весь мир, затаив дыхание?

Гребнев удивлённо встрепенулся, покосился на женщину, смешливо заглядывающую ему в глаза.

— И что такого я не предсказал из того, что должно случиться?

— А вон, «Правда» на столе… В больнице у нас уже вчера шептались. А сегодня — бюллетень…

Отбросив одеяло, Игорь метнулся к столу из постели, забыв о том, что тело уже начало приходить в состояние боевой готовности. И Кира хихикнула вслед: «Куда ж вы, маэстро?».

Ей нравились его навыки в искусстве любви, не исчезнувшие со списанными со счетов годами. Да и он был если не в восторге, то в прекрасном расположении духа всякий раз, когда молодое тело исполняло его возрастные — по опыту — капризы, доставляя Кире неизведанное прежде наслаждение.

Но сейчас у него было иное желание.

— Как же я забыл? Число какое сегодня?

— Пятое марта.

— И что там в газете? — он протянул подрагивающие пальцы к столу, колченогому, покрытому незатейливой скатёркой из больничной клеёнки, на котором осталась неубранная после ужина посуда. А рядом с тарелкой,

из которой ела Кира, лежала свёрнутая вчетверо газета. — Чейн-стоксово дыхание уже?..

— А ты откуда знаешь? Ты ж не медик…

— Но я-то всё ж из будущего…

5

Кира не стала попрекать Гребнева, бахвалившегося порой своим происхождением из будущего, за то, что он даже её беременность не предвидел. Что было куда серьёзнее бюллетеней о здоровье вождя. Не до того было. А после, поздним вечером, когда они забылись беспокойным сном после бурных любовных утех, горячо любимый, гениальный продолжатель дела Ленина, мудрый вождь и учитель приказал долго жить. О чём они узнали едва проснувшись. Так что новый день принёс только суматоху показной скорби умных и истерику одурманенных за годы советской власти. Кире в своей больнице, с задрапированным чёрной лентой портретом вождя, предстояло оказаться в самом эпицентре заварухи, где начальство будет требовать лить слёзы по безвременно ушедшему, а дел и без того невпроворот. Игорь же в этой суматохе, вылившейся и на улицы города, надеялся под шумок решить стоящую перед ним проблему.

Он, чтоб сбить со следа топтунов, если за ним есть слежка — этого Игорь ни дня не исключал после побега из своего времени, дошёл до Московского вокзала, ненадолго затерялся в толпе приезжих, а после вновь направил стопы в Басков переулок. Никакого плана у него всё ещё не было, но Гребнев надеялся на озарение. Уж если провидение взялось его вести, то и в этом должно было помочь.

И точно. На пересечении с улицей Жуковского он прямо перед собой увидел знакомое лицо.

Внезапно обернувшийся мужчина шагах в двух впереди выглядел, конечно, куда моложе, чем в пору, когда Гребнев его знал. Причём, знакомство не было мимолётным. На протяжении нескольких месяцев они были соседями. По палате.

Да, был он в ту пору другим. Бессильным на вид и с потухшим взглядом. До той поры, пока не забрезжил шанс бежать из психушки. Но непокрытая голова была так же ровно выстрижена под ноль, сломанный нос намекал на былую склонность к дракам. И не только на ринге. А кулаки, предусмотрительно спрятанные в накладные карманы на бекеше, выдавали любителя пускать их в ход и по правому, и по неправому делу.

Игорь так и не узнал, как его зовут, не знал фамилию. Но у него всё же было преимущество.

Оглянувшийся товарищ его не знал. Вообще. От слова совсем. Он его даже не видел. Ещё не видел. До их встречи в казанской психиатрической лечебнице — ещё годы. Как и до смерти боксёра, который убил…

Если, конечно, верить его рассказам. Которых Гребнев в 1953 году ещё не только слышал — не мог слышать. Но он их уже знал. А вот боксёр, хоть и совершил, не исключено, то, результат чего описан в «Правде», ещё не знает, что его ждёт. За то, что, судя по газетным публикациям, уже случилось. При его ли участии, нет ли, но случилось. И за это, виноват он или нет, но идущий впереди Гребнева товарищ ответит. Если пойдёт прежней дорогой. Изменить которую задумал Гребнев — спонтанное решение пришло ему в голову, едва он узнал своего будущего сокамерника. Если это будущее будет…

Пользуясь тем, что боксёр его не знает, Игорь подошёл вплотную к массивной спине, развязно качающейся из стороны в сторону на скользком — ночью слегка подморозило — тротуаре.

— А здорово всё у вас получилось, комар носа не подточит, — почти не разжимая губ, прошептал Гребнев в могучую спину, рискуя получить кулаком в лоб. Но от этих слов боксёр сам вскинулся, словно огрёб прямой в челюсть. И остановился, медленно оборачиваясь на едва слышный голос. Никто другой и не услышал бы. Да никого другого и не было поблизости. Вот только сказанное имело прямое отношение к человеку со стриженной головой. Потому-то и поразили его слова в самое сердце. Или куда там ещё бьют боксёров, отправляя их в нокдаун. Значит, всё ж совершил, а не просто бахвалился годы спустя. Но он-то уверен, что никто даже не подозревает о том, что это удар кулаком, а не банальный инсульт привёл к таким последствиям, что в «Правде» печатают бюллетени о здоровье Хозяина. И это опасно. Даже годы спустя этот человек если уже и не порхал как бабочка, но ещё жалил как пчела. Если бы не он, то Игоря здесь бы не было. Пусть и планировал он, хотя это не точно, подставить Гребнева, чтоб самому бежать. Да только это дело далёкого будущего. В котором всё равно всё сложилось иначе. — Ладно, ладно, я не из тех, кого вам следует опасаться, — примирительно добавил Игорь, выставляя вперёд пустые руки. — Если хотите, можем переговорить на эту тему. Тет-атет. Тем более, что кроме меня никто о том не знает. Ну и вас, разумеется. Однако я знаю куда больше вашего. И вам бы стоило послушать…

Боксёр внимательно изучил Гребнева, который вновь был его моложе. На сей раз куда младше, хотя и боксёр помолодел. Но при этом Игорь выглядел едва ли не слабее, чем при встрече в психушке. Всё-таки у молодости есть и свои минусы. А вот боксёр был в полном расцвете сил.

— Ты кто? — визави Игоря разлепил губы, не раз пропускавшие удары.

— Мы с вами познакомимся ещё не скоро. Если вы не примите меры, выслушав меня.

Устав играть в непонятки, боксёр кивнул в сторону полуподвала, из которого тянуло хорошо знакомым запахом пончиков.

— Зайдём?

И они зашли. А разговор затянулся надолго.

6

…— Нет, брат, душа у меня, конечно, черна. Но… У меня есть свои… Эти, как их… Не правила…

— Принципы?

— Точно! Принципы. Так вот. Женщины и дети боксом не занимаются.

— Ясно, не дурак, — понурив голову, уткнулся в стакан с остывшим чаем Гребнев. — Хорошие принципы. Сам маюсь с похожими…

— Так что ты, того… Ты уж сам как-нибудь…

О том, что он умрёт при попытке вырваться на волю, Гребнев боксёру не сказал. Но перспективы психушки обрисовал. Как и примерный план поведения в ней — ради выживания. Благо ничего выдумывать не пришлось — боксёр сам ему всё показал. Там, в той, прошлой, точнее, будущей жизни. А в благодарность за это, хотя боксёр и не совсем поверил рассказам незнакомца, неплохо осведомлённого о его карьере, Игорь попросил его разобраться с одним младенцем. Который наворотит дел в будущем. Если вырастет. Но получил решительный отлуп. Нарвавшись на старорежимный афронт. В виде принципов наёмного убийцы. Хотя тот и слов-то таких, наверняка, не знал. Да и не был он наёмным убийцей. Ему партия не платила — приказывала. Вначале мобилизовала, а потом — приказала. Устами одного из партийных вождей или иным способом. А уж то, что фирменным ударом

нужно было уложить «самого», боксёра не касалось. Его дело бить, а не думать. Он и ударил. Да, видать, не очень ловко, если мучился Хозяин столько дней. Впрочем, боксёр позже и сам в том Гребневу признавался, когда они на пару бежать замыслили. Хотя, опять же, как на пару… Задумал всё боксёр. И Гребнев был в этом плане как бы отвлекающим звеном…

Ну, да то дело прошлое. В смысле, будущее. Сейчас Игоря волновало бытие одного младенца. Который в том будущем, что уготовано и ему, и боксёру, ещё проявит себя. Да так, что мало не покажется. А у боксёра, вишь ты, принципы. И придётся Гребневу самому как-то решать проблему. Но как?

— Спасибо, что предупредил, братишка, — боксёр залпом допил давно остывший чай и приподнялся из-за стола, за которым они сидели битый час, если не больше. Хотя время значения не имело. Они обсудили всё, до чего могли дотянуться на своём пути меж времён. — Ты не подумай чего… Но я первым уйду. А ты, уж будь так добр, доешь пончики. Вижу, голодный…

— Это всё из-за того, что я здесь оказался. Уже который месяц пошёл, а организм всё ещё требует… — неожиданно для самого себя стал оправдываться Гребнев.

— Вот и поешь, — боксёр придвинул Игорю свою порцию, едва ополовиненную, но давно уже остывшую. — А я пошёл. И это…Ты посиди покуда. И ваще… Не ходи за мной, управлюсь. Сам. Как всегда. Ну, не то чтоб не доверял я тебе… Просто не дано мне переживать за других. Работа такая. Для одного. Вот и отвык…

— Я всё понимаю, — кивнул Гребнев. — И спасибо тебе. За то, что спасёшь меня. Там, в будущем.

Он едва не проговорился, что спасение это будет стоить боксёру жизни. Но даже не оглянулся, когда его

собеседник вышел в скособоченную дверь и тут же растворился в вечном питерском сумраке.

Нехотя пожевав пончик, отдавший всё масло, в котором жарился, газетной бумаге, Игорь потянулся за фуражкой.

— Слышь, начальник, я малость того… Слышал ваш разговор…

Горячечный шёпот за спиной едва не свалил Гребнева с колченогого стула. Как давече он сам едва не сбил с ног боксёра таким же подкатом.

Рука Игоря, взявшаяся за козырёк фуражки, застыла над столом.

— Подслушивать нехорошо, — так же шёпотом ответил Гребнев.

Лихорадочно заметались мысли — Игорь прикидывал не то, кто это может быть, а о чём они с боксёром под занавес встречи говорили. Чтоб понять, что мог слышать этот неожиданный свидетель. И всё же без установления его личности было не обойтись.

Гребнев скосил глаза. Но увидел только белую заячью шапку и кусочек уха, шапкой не прикрытый. Даже светлые сальные волосы лишь самую малость выглядывали из-под всё покрывающего головного убора. Это не его летняя кепочка-капитанка. Или это Игорь взглянул на себя глазами того, кого никак не мог увидеть полностью, из-за заячьей шапки? Ну так ему вроде не требовалось осознавать себя через мнение других. Никогда. В детстве считал себя всезнайкой, в юности — взрослым. Будучи уже в зрелом возрасте, он видел себя молодым. Каковым и чувствовал. До поры, до времени. Потом, омолодившись благодаря провалу во время оно, осознал мудрым. И сильным при этом. А тут — шапка. Какая-то. Невзрачная. Как и её носитель. Так что, думать теперь о том, как на этом фоне выглядит его фуражка? Его и прежде не занимало, как он

выглядит, хотя и старался выдерживать стиль. Во всём. Самым пиком чего он считал давно уже сданный в утиль тёмный костюм в едва заметную полоску с искрой, с которым он носил тёмную рубашку в полоску и такие же шёлковые носки. Что не осталось незамеченным в министерстве.

Он бы и дальше уходил мыслями в прошлое, вспоминая не только досужие разговоры министерских кумушек и свои выверенные наряды, повергающие их в шок, особенно с той поры, как остался один. Но тут эти экзерсисы вывели его на совсем иную тропу.

Шапка. Заячья. Белая.

Что-то такое Кира говорила… Кажется говорила. Питер только называется второй столицей, а так-то город маленький. Новости до обывателей доходят прежде газет. Потому что в газетах уже нет новостей. Они были в тот день, когда погиб не родившийся Яков. А после — одна пропаганда. Быть может, не с того же дня, но всё ж…

Тем не менее, новостей нет, но люди всё равно всё знают. И это, заметьте, без телевизора. Но доходят новости, до самых до окраин доходят. Больница какими только слухами не полнится. Вон и про смерть Самого персонал узнал раньше бюллетеня в газете. Вполне возможно, что и с шапкой та же история. Но мысль, будучи верной в корне, ускользала, уводила Игоря куда-то дальше. Или глубже.

И всё дело в белой заячьей шапке…

Гребнев чуть не по лбу себя хлопнул, когда пауза затянулась совсем уж до неприличия. Но это в его понимании. Собеседник о том даже не подозревал. В силу своей примитивности.

— Садись за стол, поговорим, — прошептал за спину Игорь. Одними губами прошептал. Но, судя по тому, что за спиной заскрипел и заелозил по грязному полу стул, был услышан.

И точно. Через секунду напротив Гребнева сидел плотный мужчина, чуток постарше самого Игоря. Нынешнего. И был он, мужчина, не Игорь же, в белой шапке. Кроличьей, конечно, никаких тебе зайцев. Кустарно сшита, за версту видать. Зато в одном экземпляре. Не то что пальто, масспошив. Какая там фабрика, «Красный пролетарий»? Или та была по калошам? Нет, за калоши отвечал «Красный треугольник». А пролетарий, пусть и красный, как и положено, был из тяжёлой промышленности. И родом из Москвы. А «Треугольник» — местный, питерский.

Но даже если не было на нём калош, внешний вид мужика в шапке был немногим краше столичных бомжей эпохи Гребнева, из которой он бежал. И ладно бы одёжка, по которой встречают. Так ведь ещё и физиономиия…

Близко посаженные глаза. Крупный нос, на который свисает сальная чёлка. Губы тонкие, кривятся в ухмылке. В целом же лицо, хоть и невзрачное, но какое-то недоброе. Что по Ломброзо, что просто по первому впечатлению.

Бегающие глазки очень быстро оставили Гребнева в покое, уставившись на кусок газеты, на котором лежала горка плюшек, недоеденная боксёром.

Человек в шапке сглотнул, облизнул губы. И положил на стол руки.

Его кулаки были лишь немногим меньше, чем у боксёра. Но более грубые. С обломанными ногтями, под которыми была траурная кайма.

И эти грязные пальцы потянулись к пончикам. И лишь потом из-под шапки донеслось еле слышное:

— Эт-самое… Можно?

Гребнев кивнул. И пончик тут же исчез в пасти за забором кривых зубов — губы были хоть и тонкими, но растянулись будьте-нате.

Зачавкав, белошапка прошамкал, вроде как извиняясь:

— Третий день не жрамши, брюхо от беленькой подвело…

От него изрядно фонило — сивухой, потом, грязью, страхом…

Гребнев осторожно откинулся на спинку стула, дождался, когда и второй пончик исчез в глотке.

— И что ты там слышал?

Белошапка рыгнул, чуток сдвинул к затылку свой головной убор.

— Так это… Нечаянно вышло… Што есть работа… Я это… Без этих… — он не без труда выдавил из себя: — Без принципов…

— И кто ты есть, чтоб я давал тебе работу?

Кто перед ним, Гребнев уже примерно знал. Хотя так и не вспомнил фамилию. Слишком уж много их было, серийных убийц из города трёх революций. Но шапку вспомнил. Она попадалась, когда Игорь пытался помочь Якову с поимкой преступников, безнаказанно убивавших ленинградцев. А потом и самого Якушева хотел вычислить как серийного убийцу. Не преуспел. Но зарубку в памяти сделал. И, как оказалось, не зря. Если, конечно, не ошибся. Ведь не одна же белая шапка на весь город.

Вот только Игорь не ошибся…

Серийные убийцы почти все на одно лицо. Пусть и не буквально. Но отличаются они не внешне, а только типом мотивации. Одних толкают на преступления воображаемые голоса. Другие жаждут избавить мир от людей, объединённых в некую группу. От проституток, к примеру, как Джек Потрошитель. Хотя после него у ему подобных мотивов прибавилось: негры, геи, одинокие туристы. Есть искатели острых ощущений, те, кто просто получает кайф от убийства. Или вот как этот младенец, ещё

не ставший убийцей, но с врождённой жаждой абсолютной власти. Есть примитивные сексуальные маньяки, у которых иначе не получается…

Глядя на жадно поглощающего остывшие пончики мужика в кроличьей шапке, Гребнев так и не определился, что им движет. Но тот сам ему помог.

— Третий день бухаю. На водку хватает, а на закуску уже нет. Сил нет. Не лезет закусь в горло. А щаз вот прорвало. Не подумай, начальник, я не от голода. Не от безденежья. Плевать на деньги я хотел. Гляди вот… — грязными пальцами, сунув очередной пончик в рот, пьянчуга небрежно бросил на стол часики. Довольно изящные, чтобы принадлежать ему. К тому же женские. — Мог бы сдать. Хватило бы надолго…

Игорь присмотрелся. А ведь часики, похоже, золотые.

Он вопросительно поднял глаза на своего собеседника.

— Снял с бабёнки, — тот опять понизил голос до шёпота. — Третьего дня. Или уже четыре прошло? На Горьковской… Станция такая… Должон знать… Или хотя бы слыхал…

Игорь едва сдержался, чтоб не воскликнуть: «Точно!». Именно об этом говорила ему Кира. Буквально позавчера. А случилось, значит, днём раньше. Только вот не днём, а в сумерках. И средь редких деревьев и кустиков вокруг станции метро…

Хотя какого метро? Его же ещё нет в Питере! Но Горьковская есть. Точнее, Горьковское. И там есть станция. Железнодорожная… Но это такие далёкие ебеня, а не город! В лучшем случае дачный посёлок, а скорее буераки, скалы, лес. И остатки оборонительных сооружений — траншеи, доты… Травкой всё поросло, но не более.

Казалось бы, лучшего места чтоб скрыть следы преступления не сыскать. Ан нет, кто-то наткнулся на труп девушки, неведомо как оказавшейся в ночи за полста вёрст от дома. Хотя почему неведомо? Кира рассказывала, что девушка, Юлей её звали — на фамилии у Гребнева всегда была неважнецкая память, да это и не имело значения, по крайней мере, сейчас, была на практике. В тех самых ебенях. Что уж за практика и на кого она училась, Игорь не вникал. И сейчас мог бы пожалеть о том. Но было не до того. Он медленно наливался злобой и лютой ненавистью к этому жующему уроду. Хотя сам буквально только что подыскивал исполнителя на убийство ребёнка. Да что там подыскивал — агитировал. Но у боксёра, на руках которого было немерено крови, в том числе и вождя народов, оказались принципы. Которых не было у сидящего перед Гребневым. Да и у самого Игоря с принципами, кажется, было так себе. Сам он руки марать не хотел, но ди́тятко жалеть не собирался. Однако же не поручать праведную казнь маньяку!

Игорь незаметно тронул свой наган в кармане дафлкота. И, как ни в чём не бывало, продолжил вопросительно пялиться на жующего, дожидаясь продолжения. Чтоб окончательно удостовериться. В том, что он не ошибся. А вот его визави промахнулся, это и к гадалке не ходи, не к тому подвалил…

— Так что ж тебе надо? Пьян, закусить есть на что…

— Душа требует… Опять чтоб… Как она вертелась, как цеплялась… За меня… Или за жизнь… Змея, да и только…

«Да ты ещё и философ. Или поэт. Смерти», — то ли подумал, то ли решил, что подумал Гребнев, глядя прямо в водянистые глазёнки, жадно шарящие по столу — чего бы ещё заглотить.

Дорого ему дался этот взгляд — немигающий, пристальный. Причём, даже моргнуть было нельзя, чтоб не выдать ненароком своего отношения к сидящему напротив убийце. Нет, не просто убийце, маньяку. Которому оказалось мало одной невинной жертвы.

— Значит, хочешь опять пережить то, что уже было?

Игорь чувствовал, что ещё немного, и сорвётся. А потому вновь потянулся к фуражке, нахлобучил её на отросшие на залысине волосы.

— Что ж, пойдём, если я тебя правильно понял, не здесь же договор писать, испачкаем бумагу…

Заячья шапка вначале не понял, но мгновение спустя, широко распахнув глаза, в которых засветилась какая-то мысль, суетливо вскочил со стула, едва не опрокинув его. И тут же залебезил, прокладывая Гребневу дорогу к двери — как раз кто-то из посетителей забегаловки не вовремя поднялся, то ли за добавкой, то ли на выход. И маньяк вполне себе безжалостно двинул того в бок, освобождая проход меж столиками. Игорь с виноватой миной оглянулся на отлетевшего в сторону ещё одного любителя пончиков.

Зашуганное прыщавое лицо, глуповатое как для такого возраста — лет за двадцать пять, не меньше. Но что-то недоброе при виде этого лица Гребнева кольнуло. Прямо в сердце. Однако было не до того.

У него появилась цель. Первоочередная. Ребёнок, из которого вырастет ещё один маньяк, подождёт, ему ещё расти и расти. А убийца, грозящий стать серийным — вот он, перед ним.

Так, в кильватерном строю — маньяк впереди, Игорь след в след — они и дошли до Греческого сада, захламлённого какими-то ветхими и, судя по всему, временными строениями между ранами земли — парк изрядно

пострадал за время блокады. У неказистого трёхэтажного дома следовало повернуть налево, на Некрасовскую. Она же — Бассейная, та самая, из «Человека рассеянного», некстати вспомнилось Гребневу. Но вместо чтения детских стихов, тихонько свистнув в спину заячье шапке, Игорь повернул в Греческий сад. Ну не собирался он вести шапку в Басков переулок, не думал даже показывать маньяку нынешнему убогую квартирку, где обитало семейство маньяка будущего. А в саду, который он не узнавал, ибо таким не видел его ни разу за время службы и более поздних поездок в Питер, была хоть малая, но возможность свести счёты с убийцей. За то, что он совершил где-то там, на Горьковской. И предотвратить то, что он ещё может совершить. Какая-никакая, а польза обществу. Искупающая в какой-то мере грех, который Гребнев решил взвалить на себя. Ведь только он знает, что малец не совсем тот, что родился в октябре прошлого года. Ну, да мать ещё подозревает. Но он-то знает точно о подмене. Это раз. А во-вторых, знает то, что не знает никто, даже мать. И не узнает, пока этот младенчик не войдёт в силу, и когда уже будет поздно. Рассказывать и объяснять последствия просто немыслимо — кто поверит? Даже если Кира, его добрая, верная и любящая Кира верит далеко не всему… А тут — такое, младенец-маньяк. Но в будущем. Пусть и не такой убийца, как зашагавший через проезжую часть Литейного заячья шапка, жаждавший вновь почувствовать, как его жертва испускает последний вздох. Умирает под его пальцами с траурной каймой под обломанными ногтями. Но нынешний младенец в будущем будет не менее, если не более страшный. Потому как чужими руками он к тому моменту, как Игорь вынужденно бежал из собственной квартиры, а потом и из своего времени, убьёт куда больше народу, чем все эти шапки, чикатилы и иже с

ними прочие маньяки вместе взятые убьют за все годы советской и прочей власти.

Едва парочка деревьев парка осталась за спиной Гребнева, он в три шага догнал заячью шапку, мелькавшую впереди. И сорвал её с головы маньяка. Левой рукой. Чтоб тут же опустить на правую, в которой был револьвер системы наган, изъятый ещё из одного отрезка времени.

Шапка лишь немногим приглушила грохот выстрела. Но у маньяка глаза тут же полезли на лоб. Даже, видать, не столько от боли — испытывая наслаждение от её причинения, сам, он, похоже, не очень-то её и боялся. Так что на его туповатом лице отразилось лишь удивление. И помирать он вроде как не собирался. Поэтому Гребнев нажал на спусковой крючок ещё раз. И отпустил шапку, в которую незамедлительно вцепился запрокидывающийся навзничь маньяк.

Игорь уже сунул наган в карман, а его жертва всё ещё стояла, хотя и раскачивалась словно на ветру. Вот только ветра не было. Даже для того, чтоб разогнать опускавшийся на город туман.

Гребнев легонько толкнул носителя заячьей шапки — сейчас он был не в ней, а был именно её носителем.

Судорожно сжимая в руках, прижатых к груди, шапку, выделяющуюся белым пятном в сумеречном полдне, маньяк покачнулся сильнее, постоял ещё какое-то мгновение. Но потом тело его словно подломилось, и рухнуло к ногам Гребнева. Который тут же круто развернулся, и пошёл обратно, к выходу из парка, той же дорогой. Ему срочно нужно было в Басков переулок, он и так время потерял. Общаясь то с боксёром, то вот с этим ничтожеством, распластавшимся на серо-белом подтаявшем снежном покрывале…

Игорь бросил быстрый взгляд через плечо, чтоб убедиться, что труп никуда не делся. А то ведь с этими

маньяками-вурдалаками всяко бывает. Если нет под рукой осинового кола…

Он не успел ничего разглядеть, как тут же оказался оторван от земли.

По бокам его, едва касающегося дорожки парка носками своих полусапожек, держали двое дюжих мóлодцев. Одинаковых с лица. И в одёжке как из инкубатора. В них безошибочно угадывались выкормыши чрезвычайки. Как бы она ни называлась, меняя кожанки на драповые пальто и модные костюмы.

Ещё один, тот самый, которому Гребнев послал извиняющийся взгляд за толчок заячьей шапки, стоял теперь напротив, сунув руки в карманы кургузого полушубка.

Лоснящееся лицо было вполне себе придурковатым, хотя в булочной Игорь посчитал его всего лишь глупым. Для таких-то лет. Но всё оказалось куда хуже. Впрочем, как всегда.

— Так, так, так… Что у нас тут? ВАТ? Или уже НШ?

7

Не будь Игорь все те дни и уже месяцы, что прошли с бегства из дома и после первой встречи с Кирой, в напряжении — внутреннем, заставляющем постоянно быть настороже, он бы не просто струхнул, а сразу сдался. Устал он сопротивляться. Едва преодолев одно препятствие, вновь оказываться перед непреодолимой стеной — не каждому дано такое выдержать и не сломаться. Он и не сломался, просто выдохся. Но инстинкт…

Инстинкт сработал ещё там, в забегаловке с пончиками. Когда заячья шапка передвинул с дороги замельтешившего под ногами человечка. Уж больно быстро тот решил убраться из заведения. Убраться, оставив на грязном и захламлённом столике в углу нетронутый газетный

кулёк с пончиками. Это в любом случае удивительно — заплатить и не съесть. В городе, пережившем голод блокады, подобное было немыслимо. Даже если внезапно желудок подвело, и бедолага кинулся на поиски сортира. Но он-то выскочить хотел на улицу. Прямо перед Гребневым. И никаких корешей, которым он мог бы оставить свой то ли обед, то ли очень поздний завтрак, в забегаловке не наблюдалось. Ну, хотя бы вот этих двоих. Одинаковых, вроде как и из одного ларца или яйца, но всё ж разных. И не только с лица. Которое только на первый взгляд показалось одним на двоих. А так они вполне себе отличались. Но нигде не засветились. До этого момента.

Это бы ладно. Однако и торопыга, попавшийся ему под ноги, на проспекте не маячил. А ведь как спешил, словно на поезд опаздывал! Игорь дважды обернулся чтобы проверить. Не то чтоб заподозрил что-то, просто был настороже, сомневался, что всё будет гладко. Ведь спиной он продолжал чувствовать чей-то враждебный тяжёлый взгляд. А никого не было. Ни позади, ни где-нибудь рядом. И это нервировало, вынуждало быть ещё более осмотрительным. Хотя он и не собирался отступаться от намеченного. Уж больно невыносима была одна только мысль, что впереди преспокойно вышагивает убийца. Маньяк, сам в том признавшийся. Которого если и ищут, то спустя рукава. Потому как ещё не знают, чего от него можно ждать. А Гребнев, вспомнив свои поиски, сопоставив их с тем, что сказала Кира, и о чём обмолвился сам убийца, знал. Знал, и не мог допустить, чтобы погибли ещё пятеро ни в чём не повинных женщин и девушек. И конечно же не могло быть и речи о том, что он предложит этому свихнувшемуся уроду устранить будущего маньяка. Который, питал Игорь смутную надежду, может, и не станет маньяком. Вдруг всё ж изменится ход истории. Ведь его уже подтолкнули к переменам. Подменив младенца.

Это было слабое утешение. Потому как подмена как раз могла означать совсем противоположное. И нормального человеческого детёныша могли заменить на морального урода. Или того, кто таковым станет. Но было и другое.

Думалось ему, что если он сейчас уберёт этого маньяка, то история, глядишь, и пойдёт в другом русле. Его за это убийство могут, конечно, и повязать. А там и до высшей меры недалеко — Сталин умер, но дело его ещё живёт. Однако Гребнев уже оставил на этой земле и даже в этом времени след. Который тоже как-бы намекает: всё уже не будет прежним. Так что смерть белой шапки и будущая дочь Игоря и Киры могли перевесить, устроить перемены в судьбе младенца, которого Гребнев наметил устранить ради будущего миллионов, ну или хотя бы сотен тысяч. Которые останутся в живых. И дадут новую жизнь. Тем самым миллионам…

Так что окладывать намеченное Игорь не стал. И уже через несколько шагов по Греческому саду, как значилось на табличке при входе, он двумя выстрелами покончил с белой шапкой. Однако и сам далеко не ушёл.

Да он и вообще не шёл, а почти болтал ногами в воздухе, удерживаемый двумя парами сильных рук. Двух мóлодцев, которых он и вовсе не видел до этого момента. А ведь мнил себя спецом по выявлению слежки…

И уже можно было не дёргаться, смиренно ожидая воздаяния за свершённое. Но инстинкт выживания… Или самосохранения…

Будь прокляты эти инстинкты! Он бы уже мог расслабиться, выдохнуть и дух перевести, который из него мироздание безуспешно вышибало с самой первой поездки в прошлое. Так нет же, инстинкт подстегнул к действию. Хотя и не было возможности действовать. От слова никак.

Руки в локтях зажаты как в тисках, ноги разве что не болтаются в воздухе, до нагана не дотянуться. Даже головой не боднуть. Вот только губы разлепить и осталось. Хотя что это даст…

— Шли бы вы, мальчики, своей дорогой, — опешивший поначалу, нашёлся наконец Гребнев, едва ему позволили поставить одну ногу на полную ступню. Опустили, но не отпустили. Хорошо ещё, что так опустили, без последствий. — А если вам нужна слава и почёт, то вон там, за тем кусточком… Труп. Ещё тёплый. Карманы первым делом проверьте, там доказательства…

— Чего? Доказательства? Какие доказательства?

Пришёл черёд удивляться и выпячивать глаза тому самому человечку, что путался у Гребнева под ногами, когда белая шапка направился навстречу своей смерти. Он и тут, вылитый придурок, путался под ногами, вместо того, чтоб действовать.

Однако Игорь уже пришёл в себя, и отступать, тем более сдаваться уже не собирался. Пусть и не был уверен, что его наглая ложь сработает. Но он уже вырвал одну руку из сжимавших её тисков.

— Что, парни, ещё не в курсе, что все ваши ВАТ и НШ уже три дня как на самом верху похерили? Вместе с вождём…

НШ для Игоря расшифровывалось не иначе как «начальник штаба». Однако он был уверен, что в эту аббревиатуру сейчас был вложен совсем иной смысл. Да и то только благодаря Кире, случайно просветившей его насчёт ВАТ. Или ВАД. Общий же смысл от этого не менялся.

Когда Гребнев просвещал Киру насчёт достижений мирового прогресса, конечно, не так, как Зину в Казани, но в том же русле, пусть и более общими словами — ну не знал Игорь устройства магнитно-резонансного томографа,

а убеждать её набором фактов о макияже и первенстве в изобретении пылесоса было бы глупо, услышал он фразу: «Да тебя же посадят за восхваление американской техники!». После чего Кира пояснила: «Даже статья такая есть — ВАТ, если сокращённо».

Он не понял. И она повторила, точнее расшифровала — восхваление американской техники. И добавила: «Или ВАД — восхищение американской демократией. Откуда и до ПЗ недалеко. То бишь — преклонения перед Западом…»

Так что НШ могло быть только из этой же оперы, но никак не из военного лексикона. А что уж там за НШ… Не важно. Сейчас не важно. Потом разберёмся. Сейчас надо было обрести свободу. А там или до нагана добраться, или по-хорошему разойтись.

Гребнев надеялся на разойтись. И для этого готов был поделиться славой. Которая нужна была ему как зайцу стоп-сигнал. А вот заячья шапка…

Шапка могла стать разменной монетой.

— Ты чего там лопочешь? — попавшийся Игорю под ноги человечек тем временем попытался вернуть инициативу, но было уже поздно.

— Это ты как со мной разговариваешь, — надавил на голосовые связки Гребнев. — Первый раз самостоятельно вышел в поле, вступил в навоз, а думаешь, что прославился? Да ты обгадился, сынок! Ещё и мне карты путаешь. Я и так, без санкции свыше взял на себя работу милиции. А если меня ещё и с вами заметят, головы полетят будьте-нате. И заметь, моя слетит последней.

Игорь перевёл грозный взгляд с одного крепыша, отпустившего локоть, на другого, удерживающего его правую руку. Могло и сработать. Но не сработало.

Крепыш справа с каменным лицом смотрел на свою побелевшую от напряжения ладонь, сжимавшую

локоть Гребнева. Слева всё было проще — руки его конвоира безвольно вытянулись по швам, и пальцы, трудовые, крестьянские, болтались на уровне полы кургузого пальтишка. Тут проблем Игорь не предвидел.

Зато правая рука так и осталась в тисках. Они только сильнее сжались.

Но пауза затянулась. И Гребнев понял, что сдвиг, пусть пока ещё не тектонический, в сложившейся ситуации уже произошёл.

— Так что пока не поздно, — Игорь левой рукой попытался сбросить тиски с правой. Не преуспел. Но перешёл к следующей позиции. — Со мной у вас не выгорело. Да и не могло. По-любому. И не только потому, что все эти ВАТы и ВАДы уже в прошлом. И я не тот, кто вам нужен, и покруче есть причины. О чём вам пока знать не положено. Поэтому лучше не теряйте времени. У вас, если меня послушаете, на руках сейчас окажется раскрытое преступление. О котором милицейское начальство даже не доложило толком в Ленсовет. И кому-то может очень сильно не поздоровиться, если вы прямо сейчас предъявите и преступника с доказательствами, и факт очковтирательства милицейскими начальниками. Я сейчас дальше пойду, по своим делам, которых у меня выше крыши. А почёт и слава достанутся вам. С благодарностью ваших начальников. Которым обо мне знать не положено. Поэтому я и действую один.

Такая уловка уже однажды сработала. А кто сказал, что не сработает та же уловка, но под номером двадцать два? Вон Кира и сотни, если не тысячи других уверены, что в уголовном кодексе есть статьи, карающие за ВАТ, ВАД и ПЗ с НШ, пусть даже Гребнев не знает, что значит последнее. Но нет таких статей! Уж это-то Игорь точно знал. Хотя подобные сокращения были не только в обиходе, но и в должностных документах тружеников плаща

и кинжала. Тем более в милицейских сводках. Ленив и не образован отечественный страж порядка. Вот и гуляют по бумагам сокращения, не имеющие за собой ничего, кроме голого устрашения обывателя. «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». И ничего, что сам джаз в СССР уже давно не под запретом. И только незнание этого пугает речёвкой, тиражируемой из газеты в газету, из фильма в фильм. Так почему бы не попытаться применить это же оружие против тех, кто поднаторел в борьбе с нормальными людьми, используя его?

Стоящий напротив Игоря человечек резко качнул головой. С которой при этом едва не слетела фуражка, обычная, крестьянская. Нормальная для довоенных лет. А вот в 1953-м уже выбивавшаяся из представлений о моде. На неё Игорь прежде как-то внимания не обратил. В булочной её не было на сальной голове с ниспадающей на левый глаз чёлкой. Зато сейчас картуз он приметил. Когда придурковатый сбил его на затылок и разлепил губы. Тонике, злые:

— Валидол…

Крепыш, отпустивший Гребнева прежде срока, до команды, не говоря ни слова, метнулся в кусты. Туда, где остывало тело белой шапки — фамилию маньяка Игорь так и не вспомнил. Хотя и знал наперечёт все его жертвы. Даже те, которых ещё не было. И уже не будет. Но студентку Юлю, о которой ему Кира рассказывала — оказывается, общие знакомые у них были, хоть и большой Питер град, но правило пяти рукопожатий никто не отменял, он не спас. И теперь это имя будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Что в этом времени, что в ином.

А ещё — Валидол.

Не потому, что больному сердцу Игоря, там, в будущем, порой будет нужен этот самый валидол. Гребнев никогда им прежде не пользовался, уж больно слаб

препарат, так, для утешения женских обид, разве что. А потому что клички среди спецслужбистов это как бы не совсем то, чем они могут похвастаться. Правда, того самого человечка, которого во младенчестве Игорь наметил со свету свести, они за глаза называли Молью. Будут называть. Так то за глаза. А отдавать приказ с погонялом вместо нормального обращения…

Это как-то нарушало цельную картину мира, и без того разорванную вмешательством Гребнева в его самую что ни на есть канву. Но что его вновь объединяло, так это лёгкая придурковатость командовавшего операцией. Ну не могут у нас давать право командовать, управлять важным процессом нормальным, умным людям. В чести хамы и подхалимы. А уж какие у них там деловые качества — вопрос десятый. Главное — личная преданность тому, кто наверху. Наверху же, как правило, тоже не лучшие. А всплывшие… Вот и получается замкнутый круг. Дерьмо дерьмом погоняет. Что на выходе, можно не уточнять.

Но пока все ждали Валидола. И он не подкачал.

— Да тут труп! Как он и гуторил, — донеслось негромко из-за кустов.

— А в карманах? В карманах что? — закусив губу, нервно выпалил придурошный. Потому как, пусть и не было поблизости прохожих, но орать так, что было слышно в другом конце сада, было как минимум глупо. Тем более в такой ситуации.

Гребнев поморщился на этот крик, понимая, что лишнее внимание к происходящему навредит всем. И ему в первую очередь. Ведь не уйти будет, если народ набежит. А народ не просто набежит — ловить начнёт. И кого ловить тут тоже к гадалке не ходи. Услужить власти у нас всяк рад. Пусть и себе во вред. По причине отсутствия ума. Так что, ясен перец, его точно повяжут. Хотя уже, считай, повязали. А побьёт народ… Так не впервой.

Достанется ведь не только ему, пока разберутся. Что до энтузиастов тайных дел, так ему было всё равно. А вот себя было жалко. Всё так хорошо начиналось: он обосновался буквально в двух шагах от будущего монстра, оставалось момент подловить. Да ещё и Кира порадовала — быть ему вновь отцом. А тут на тебе, одна рука в тисках, ещё у одного, похоже, ствол в кармане, вон как его ручонка напряжена…

— Часики, — радостно возопил из кустов Валидол. — Как в ориентировке! Один в один!

Игорь с чувством превосходства взглянул на растерянного командира шальной торицы. У того на глуповатом лице в мгновение ока пробежала целая гамма чувств. Но победу одержало изначальное, стоявшее во главе угла. Или где там оно было вписано в его утлом черепе. Утонувшем под картузом.

Впрочем, тут и до Игоря с большим опозданием дошло.

Плевать этим троим на проколы милиции и на разборки между ведомствами. Плевать на маньяков. Да что там маньяки, на жертвы тоже плевать.

Они пришли за ним. А уж по какой причине — не важно. И как долго шли они — тоже.

Гребнев понял одно: всё взаимосвязано. Начиная от «мене, мене, текел, уфарсин». Причём, не в исполнении Катюши, с её выстрелом ему в грудь. Куда раньше было это брошено ему в лицо. Как приговор. Подлежащий безусловному исполнению. И только по недогляду всё ещё на имеющего отметки «ВЫП». Как любят ставить галочки большие начальники в своих планах или в еженедельниках. Должно быть «ВЫП». Несмотря ни на что. С пальбой ли в вагоне, мчавшемся между прошлым и будущим. Или с перестрелкой в притоне. Неожиданное появление несуществующей внучки давно умершей бабы Тони было из

этого же ряда. Апофеозом которого стало его задержание в промозглом сумраке Греческого сада. И теперь уже не отвертеться, какие взятки этим троим ни предлагай. Взять-то они, может, и не возьмут его. С отправкой в кутузку. Или в автозак, до которого здесь ещё не доросли. Никаких тебе условий для доставки в тюрьму, всё своим ходом. Сам пришёл, сам и уйдёшь. Вперёд ногами. Так что его уже точно не отпустят. Затянулась погоня, чтоб её продлевать и дальше. Уж больно он мешает. Кому — не ясно. Почему — тем более. Можно предположить, что своим желанием уничтожить подрастающего не по дням, а по часам маньяка. Хотя и не исключено, что может ещё где-то он кому-то дорогу перешёл. Уж больно много было этих путей и перекрёстков во временах, куда попадал Гребнев. Впрочем, и это не менее вероятно, куда-то он просто не должен попасть, чем и объясняется это стремление его остановить. Любой ценой.

8

Когда всё, за что берешься, получается, нет нужды этим хвастать. Если же ты ещё и силён, то не станешь ввязываться в драку — тебе это попросту не нужно, ты и так знаешь свою силу.

Но это Гребнев знал свою силу. Или думал, что знает. Пока полагал, что у него нет слабых мест. Дочка, как он надеялся, уехала, а больше его нечем взять.

Вот только это там, откуда он успешно бежал. Здесь же…

Здесь, в этом времени и в этом городе у него уже была Кира. И должна была появиться ещё одна дочка.

Сдвинув свою кепочку так, что она прикрыла глаз, и без того спрятанный под чёлкой, дурашка, стоящий напротив Гребнева, ощерил свои зубки. Мелкие, как у пираньи. Да он и был такой рыбой — мелкой, скользкой,

подлой и при этом ненасытной. И, само собой, способной нападать только в стае.

— Ну и пусть себе тикают, часики-то, — придурковатый, как оказалось после короткой паузы, был таким только на вид. В глубине его подлой душонки царили совсем иные демоны. — Нас это ниипёт. И шо уж кто там не долОжил в Смольный, тоже. Это дядя нас разводит на мякине. Только врёшь, меня не наипёшь. Ты, милок, и половины не знаешь, хотя турусы тут разводил: и то отменили, и это не то, чем кажется…

— Ну так просвети, — недрогнувшим голосом, негромко скомандовал Гребнев. — Хватит слона за хобот тянуть, некогда мне.

В ответ сверкнули мелкие зубки:

— У нас тут не изба-читальня, просвещать всякого встречного-поперечного. А дядя, вишь ли, ещё и торопится. Знал бы куда, так не спешил.

Игорю даже показалось, что меж растянутых в хищной улыбке губ мелькнул раздвоенный змеиный язычок. По крайней мере, укус, подлый, исподтишка, он ощутил отчётливо. Всей кожей, всем нутром. Ощутил, когда, дурачась и кривляясь, стоящий перед ним агент чего-то или кого-то, насмешливо бросил:

— Но так и быть, развею туман. Мóроки у нас тут. Да-с, случаются. С такими вот… Вот мы их и того… Шоб умиралось легче. С чувством просранного, так сказать, долга. — Не дождавшись ответной реакции, носитель устаревшей морально кепки вскинул к глазам левую руку, выпростав из рукава массивную шайбу часов. Размером с будильник, разве что без звонков. Ну, или как минимум компас — с таким же выступающим ободком так точно. Рука с часами застыла почти перед самым носом, нависающим над тонкими губами словно клюв. Указательным пальцем другой руки носитель кепки отодвинул край

рукава. И этот палец, грубый, с траурной каймой вокруг и под ногтем, надолго парализовал сознание Игоря, заполонив всё собой. Он утратил способность нормально мыслить, анализировать, принимать решения… Впрочем, никаких решений он и не мог принять. Но к тому, что был жёстко зафиксирован, почти как в психушке во время провала в казанское прошлое, добавился ещё и ступор.

Взгляд из-под кепки с застывшего Гребнева перешёл на циферблат, и мелкие зубки, в продолжение монолога, вновь сверкнули меж губ, приближая рассказ к сути дела. Грубо так, безапелляционно, с чувством превосходства и немалой толикой хамства, ничем не прикрытого:

— Не кувыркаться больше вам, дядя, с вашей докторшей в кровати. И не мечтать о детях. Не будет их. Вот уж пять минут, как гражданка Проломова, перебегая Литейный, прям перед поворотом на Жуковского, попала под машину. Поскользнулась, и головой — под колёса… До безобразия. В смысле, не узнать теперь. И так не красавица была, а ноне и вовсе… Того… Попортило ей личико. Вначале бампером. Потом колёсиком. Хорошо хоть, шо то была карета скорой помощи. И ей скоренько помогли. Шоб не мучилась.

Всегда было так. По что по жизни, а теперь вот и после оной. Или до неё. Ведь он ещё и не родился. Но…

Стоило Игорю подумать, что хуже уже не будет, как оно, плохое, которое хуже некуда, незамедлительно являло свою суть. Как сейчас. Он-то был уверен, что его ничем уже не взять, что в худшем случае только миссия провалена, не убрать ему маньяка во младенчестве. Почему? Да потому что мироздание, похоже, в этом случае претерпело бы такие изменения, которые могли поставить под вопрос само его существование. Не маньяка — мироздания. Впрочем, это уже не его вопрос. Он со своим-то не справился. Но не только. Как оказалось. Он ещё и Киру,

фамилию которой в злобном спиче пираньи в человеческом облике едва не пропустил мимо ушей, подставил. Да что там подставил — убил. И её, и неродившуюся дочку. А размечтался — по Невскому, втроём…

Он не мог видеть свои часы на правой. И по серости дня тоже не мог определить время. Даже приблизительно. Но вспомнил, что Кира утром должна была отправиться в горздрав, или как там в этом времени оно называется — место, откуда рулят медициной и врачами, зачастую не представляя о чём идёт речь. По грубым, лихорадочным прикидкам выходило, что, как бы долго ни заседали чиновники, лишь бы не работать, Киру уже должны были отпустить. Как раз таки работать. Ведь кто-то же и трудиться должен. Да и роженицы ждать бы не стали. Так что вполне возможно, что именно в это время Кира действительно могла переходить Литейный, чтоб добраться до больницы по весенним хлябям на разбитых улицах медленно выздоравливающего после войны города.

И это бы ладно. Чего-то такого Игорь ожидал. Едва понял, что речь пойдёт о Кире. Его Кире, пусть и не признал сразу её фамилию. Ну да и она к нему не по фамилии обращалась. Особенно в те часы, когда они были предоставлены друг другу. И говорили, говорили, говорили…

Так ведь злобный хлыщ, плевавшийся в Гребнева словами, сказал куда больше, чем следовало. И стало ясно, что слежка велась давно. Насколько давно, не важно. Важно то, что пока они с Кирой миловались, их подслушивали. А то и подглядывали. Поэтому взявшие его в кольцо мерзкие на вид людишки знали куда больше, чем следует. И о нём — Игорь лихорадочно попытался вспомнить, что такого обличительного о себе он говорил Кире, однако на ум ничего не пришло. Но, куда хуже было то, что они узнали о беременности Киры. Это уже было то, чем Гребнева можно было взять. Буквально голыми

руками. И встреча в парке оказалась совсем не случайной. В таком случае оставалось только подороже свою жизнь продать, чтоб Киру не тронули. И это бы ладно. Потому как касалось только Игоря. Он давно был обречён. Жаль только, что до будущего монстра добраться не успел. Однако за тем, что слежка за ним велась уже долгое время, крылось и другое.

Из троицы, остановившей Гребнева на выходе из Греческого сада, как минимум один знал о том, что Кира беременна. И он же знал, что её прямо сейчас, в этот момент убивают. На пересечении Литейного и Жуковского. И не только знал, а ещё и плюнул этим знанием в Игоря. Поэтому последние слова, с шипением сорвавшиеся из-под сдвинутой на затылок кепки с раздвоенного язычка, ударили Гребнева вначале в голову, а затем в грудь.

Значит, всё было напрасно. И не стоило дальше брыкаться. Киры больше нет. И дочки не будет. Значит, шантаж исключён. Но мучения, сродни тем, что пережил в психушке боксёр, с которым Гребнев не так давно расстался, и который ещё их не изведал, не исключены. А вынесет ли он пытки? Да и ради чего? Не проще ли сразу…

И словно в ответ на его мысли немыслимая боль разлилась по всему телу, вышибая из него дух. Бунтарский. И просто человеческий.

Игорь покачнулся, рванул левой застёжки дафлкота, жадно хватанул ртом воздух. Но всё было напрасно.

Боль поглотила сознание. Окончательно. И бесповоротно. Мало кому удавалось уговорить Харона вернуться…

Глаза Гребнева медленно закатились, дыхание прервалось. Да что там прервалось! На вдохе грудь вздыбилась, и замерла, будучи не в силах выпустить воздух, в котором уже не нуждалась. Не нужен он был, ведь в нём не

осталось кислорода. Воздух, наполнивший лёгкие до пределов, не поддерживал жизнь, а медленно отравлял мозг. В котором было только одно видение: Кира, падающая под колёса кареты скорой помощи. А после всё застили кровавые брызги…

Он бы ни за что не устоял на ногах, если бы не тиски, сжимающие его правый локоть. Вот только и эта поддержка не помогла — рука стала неестественно выгибаться под весом падающего тела. Ещё немного и он бы рухнул в грязный весенний снег. Или в то месиво под ногами, что им называлось.

Понимая, что в таком положении он долго не удержит задержанного, крепыш, вцепившийся в Гребнева справа, разжал свою побелевшую от напряжения ладонь. Она и без того уже устала удерживать пленника от потуг освободиться, а тут ещё и вес, в семьдесят кило добавился.

Чтобы не уронить безвольное тело, крепыш вынужден был сделать шаг вперёд и перенести свой вес на эту ногу. Высвободившейся от необходимости держать захват рукой он перехватил лацкан дафлкота, дёрнул Игоря на себя. И приблизил своё лицо к побелевшим щекам Гребнева. Так близко, что не мог не уловить отсутствие дыхания. Но если и не уловил, не понял, что отсутствует звук вдоха и выдоха, то точно видел, что с губ и из носа не сорвалось даже видимости пара.

Даже если бы неловко переломившийся в талии Гребнев надолго задержал дыхание, то парок всё равно мелькнул. Через минуту. Или погодя. Но уже и вторая пошла, а Игорь всё не подавал признаков жизни.

Крепыш мысленно подивился тому, что его пленник, на поимку которого было потрачено столько усилий, сбежал таким оригинальным способом — взял и умер. А удивившись, повёл головой в сторону своего

предводителя. Или начальника — кто их там разберёт. Да это и не требовалось.

Потому что едва исчез захват в районе локтя, по рукаву в безвольно висевшую ладонь Гребнева скользнул его наган. И холодным своим прикосновением привёл Игоря в чувство. Если он терял сознание. В чём сам он не был уверен. Потому что для него и секунды не прошло. Пусть и был он в отключке точно не минуту, а куда больше. Но за это время его преследователи только и успели удивлённо переглянуться. На слова, витавшие в воздухе, времени им уже не хватило.

— Зря ты… У него ж сердце ни к чёрту. Возись теперь с ним… — заныл крепыш, удерживающий Игоря от окончательного падения в грязь. Но выговорить своему боссу или коллеге, взявшем на себя полномочия старшего, за неуместно озвученную информацию не успел.

Оборванный на полуслове приглушенным выстрелом в упор, он так и остался сидеть над Гребневым с полуоткрытым ртом. Его и без того удивлённые глаза округлились ещё больше.

Игорь, пребывая в полубессознательном состоянии, и не сообразил, что убил своего врага. Даже не мечтая о том. Он вообще не понял, что нажал на курок. На автомате вышло. Едва наган выпал ему в руку. В общем, так сошлось. Неудачно для крепыша. Падавшего теперь на Гребнева всеми своими килограммами, немалыми для живущего впроголодь города. Карточки давно отменили, Игорь это знал по прежним визитам в прошлое, ещё при Якове, но не всякому ленинградцу хватало на продукты по коммерческим ценам чтобы есть досыта.

Падающему на Игоря крепышу хватало. Ведь был он на особом учёте. И особом пайке. От спецслужбы. Или что там у них за контора, шпионящая за гражданами. В том числе и вне времени. Или, наоборот, на самой его

стремнине. Но питались в спецслужбах всегда не в пример остальным. Во все времена. Даже во дни блокады у них был свой санаторий. С усиленным питанием. Не чета, конечно, райкомовским с горкомовскими, но и хлеб белый, и мяско… Не всем, конечно. Те, что были в поле — на улицах осаждённого города, боролись с бандитами всех мастей, мало чем отличались по количеству благ от горожан. Ну, да, паёк был получше. Но те, кто сидел в кабинетах и мало чем рисковал, если вообще рисковал, жили не в пример лучше! Им было плевать на горожан, как плевали они даже на своих более низких по статусу коллег. Вот только сейчас не это занимало сознание и мысли воскресающего из небытия Гребнева.

Минуту назад просто терявший равновесие, он теперь, со смертью крепыша, оказался ещё в худшем положении — его более никто не удерживал. Наоборот, в дело вступила гравитация. И тело убитого им, сваливающееся под действием земного притяжения, должно было ускорить падение Игоря. Если бы не Валидол.

Так что помощь пришла, что называется, откуда и не ждали.

Валидол, выворачивавший за кустами карманы заячьей шапки, не мог слышать выстрел. Уж больно приглушённым он был. В упор, под массой и одеждой крепыша. Его и стоявший напротив Гребнева агент с лицом пираньи едва расслышал. Хотя и принял меры, выхватив из-под полы своего полушубка видавший виды ТТ.

Но это Игорь видел пистолет, истёртое воронение которого тускло блеснуло в свете серого дня. Валидол же видел, что задержанный падает в грязь. Вместе с напарником, который не разжал вовремя руку, вцепившуюся в отворот дафлкота — и пусть бы падал, чего его жалеть, контру эдакую.

И всё же Валидол, резко присев, подставил своё колено под спину Гребнева с другой от мёртвого уже крепыша стороны. И только тогда понял, что с его напарником что-то не так. Но было уже поздно.

Их коллега, выхвативший ТТ при первых же признаках вооружённого отпора со стороны задержанного, нажал на спусковой крючок.

Целился он в Гребнева, как можно было бы предположить. Вряд ли он ставил перед собой цель перебить коллег по плащу и кинжалу. Или что там у них было под одежонкой, выглядевшей дороже полушубка змеёныша, командовавшего в троице. Но задним умом Игорь сообразил, что стрелок не отличается зоркостью. Скорее всего. Он вспомнил, как обладатель картуза подносил к глазам огромный «котёл» наручных часов, как близоруко щурился, высчитывая время, прошедшее с момента гибели Киры. Так что пуля ушла совсем не туда, куда метил ощеривший зубки гадёныш.

Выстрел вспугнул стаю ворон, галдевших с голых ветвей, паутиной покрывавших небо над садом. Садом, в котором не было ничего из того, что представлял Гребнев, услышав это слово. Ни тебе плодовых деревьев, ни кустарников с ягодами, ни грядок. Во дни блокады грядки, возможно, всё ж были здесь. Но не сейчас.

Сейчас здесь была только смерть.

Пуля из ТТ ударила Валидолу в лоб.

Ничего этого не случилось бы, не подставь он колено под спину Игоря. На которое тот и откинулся, не ощутив — почуяв опору. Потеряв при этом, правда, свою «капитанку», улетевшую в сторону. И прямо в самую большую лужу, довольно жидкую для небольшого минуса. Снежная шуга, с примесью битого льда, не удержала на поверхности белоснежную, насколько это было возможно в условиях межвременных переходов, фуражку.

Чехол, нависающий над серебряным шитьём на козырьке и околыше, мгновенно напитался чёрной водой. Но Гребневу было не до того.

Он ещё не до конца пришёл в себя после недолгого обморока, со стороны выглядевшего как внезапная смерть. Но где-то в глубине не проснувшегося сознания тревожный звоночек уже ударил в набат: вторая пуля может быть твоей! Вот только что он мог поделать?

С одной стороны на Игоря наваливался убитый им крепыш. С другой уже из-под него заваливался на спину Валидол. Нежданный помощник и тут ему пришёл на выручку. Мало того, что пулю принял, так ещё и напоследок, падая сам, помог Игорю приподняться, не рухнуть в снежное месиво. А главное — на этом пути выпростать руку с наганом из-под тела крепыша, которому уже досталась одна револьверная пуля.

Падения избежать всё ж не удалось. Но упал Гребнев на сложившиеся крест-накрест тела двух незадачливых агентов, поэтому почти не испачкался. Не считая «капитанки», испорченной безвозвратно. Но и его враг, тот самый, что едва не убил его вестью о смерти Киры и избавил, пусть и вопреки желанию, от назойливой помощи Валидола, тоже рухнул, вытянувшись во весь рост. Рухнул, когда, едва показавшись из-под мёртвого тела, ствол в руке Гребнева плюнулся огнём…

Левой рукой опершись о труп Валидола, Игорь оторвался от земли, встал на подрагивающие ноги. Тенью, едва заметной в сумраке дня, навис над полем боя, которое осталось за ним.

Не таким уж и высоким оказался его главный враг, когда лежал на спине, пялясь в серое небо невидящими глазами. ТТ отлетел в сторону, кепка смягчила падение, хотя в том и не было нужды — агент чего-то там был мёртв ещё до того, как упал. Мёртв, как и его коллеги.

Машинально отряхиваясь, Игорь подошёл к распластанному телу. Он ещё питал надежду узнать хоть что-то, допросив на смертном одре рептилию, укокошившую своего подельника и едва не убившую его самого. Гада, давшего отмашку убить Киру. Да только концы были обрублены, и, похоже, окончательно.

Игорь, правда, не видел, куда вошла пуля, где-то затерялось входное отверстие в складках полушубка. Но, как несколько мгновений тому назад крепыш, получивший пулю под дых, не видел в холодном воздухе облачков дыхания у Гребнева, так и Гребнев теперь не видел признаков дыхания у убитого им змеёныша в человеческом обличье. Или же гады ползучие, будучи холоднокровными, вообще тепла не выделяют даже на выдохе?

Постояв над трупом, Гребнев дождался, когда земля под ногами перестала кружиться. И наконец сообразил, что нужно уносить окрепшие ноги. Сообразил не сам, с подсказки. А уж чьей…

Он внезапно ощутил горячий ручеёк под носом. Мазнул рукой, в которой всё ещё сжимал наган.

На тыльной стороне ладони осталась кровь.

Этого ещё не хватало. Взять и опять отключиться. Или предстать перед славной ленинградской милицией, которая с минуты на минуту будет здесь, с наганом в руке. С наганом, две пули из которого, найдут в телах доблестных агентов… НКВД, КГБ? Или это уже ФСБ за ним гонится, прямо оттуда, из будущего?

Да какая разница! Ноги надо уносить!

Игорь поднёс к глазам наган, крутанул барабан.

Так вот почему был только один выстрел. Но очень удачный, учитывая, что стрелял Гребнев не из лучшей позиции. Хотя он дважды жал на курок.

Последняя камора в барабане была пуста.

Игорь не помнил, куда подевался ещё один патрон. Да даже окажись он на месте, наган был сейчас не столько оружием, сколько обузой и приговором. Его же как дикого зверя будут загонять, всеми силами ленинградской милиции! А он — с наганом! Тоже мне, вояка!

Где-то за пределами сада забулькал, затрещал милицейский свисток. Ну вот, началось. Кто-то из бдительных граждан, услышав выстрелы, уже настучал куда следует.

Гребнев обернулся на крепышей, картинно раскинувшихся на грязной тропинке сада. Обыскивать их в поисках оружия — только время тратить. Потому как с любым оружием он от облавы не уйдёт. Да и зачем ему ствол? По крайней мере, сейчас. Когда-то, не исключено, может, и понадобится. Вот только сейчас, сей момент надо просто уносить ноги.

Однако ноги сами заплелись, когда Игорь, бросив наган рядом с Валидолом, попытался перешагнуть через гадёныша. Не рассчитал, расстояние оказалось много больше. И он, поскользнувшись, присел на корточки, пялясь на отброшенный ТТ.

Заманчиво было его подхватить и сунуть в карман. Но это означало, что куда вероятней, его и повяжут с этим оружием. Поэтому вместо пистолета Гребнев обратил свой взор на часы, отсчитавшие последние минуты Киры.

Это действительно были часы, никакой не будильник, тем более не компас. Но деления на циферблате были куда крупнее, чем на обычных часах, и, похоже, светились в темноте. Дожидаться вечера, чтоб в том убедиться, Игорь не стал. Так, скользнул взглядом, и перевёл его на свои, на обмен назначенные, но так пока и оставшиеся при нём. Не было случая. Да и необходимости. Хотя он и испытывал неудобства от того, что жил на полном обеспечении у Киры. Но отрабатывал. И по ночам, в скрипучей

кровати. И облагораживая каморку, в которой они ютились. Да и просто по хозяйству, до которого у Киры руки не доходили. Даже если она возвращалась засветло. Что случалось не часто.

Однако внезапно его мысли перескочили на другое. Он даже руку убитого гада, всё ещё и в смерти скалившего свои мелкие зубки, приподнял. Ту самую, на которой были часы. Левую. И поднёс к ней свою правую. С часами.

Минутные стрелки шли вровень, тютелька в тютельку. А вот часовые…

Часы гадёныша убежали на час вперёд.

Игорь, у которого на счету была каждая секунда, задержался, соображая. Ещё раз бросил взгляд на ТТ. Но вместо того, чтоб поднять ствол, сунул руку в карман полушубка покойника. Потом проверил второй, залез в пришитый внутри полушубка.

Он и сам не знал, что искал. Но нашёл. Хотя и не сразу понял, что это стоящая находка.

Нет, не удостоверение, что было в самодельном кармане внутри полушубка. Настоящее, красное, со щитом на корочке. На развороте — фотография. Чёрно-белая, на пол-лица заляпанная фиолетовой печатью. Вторая половина портрета, как мельком заметил Игорь, была крайне размытой. Но, сложив половинки, на фото с большой натяжкой можно было признать Гребнева. Если не вглядываться. На первый случай сойдёт, совсем без документов вообще плохо. Однако действительно ценной находкой было не удостоверение, а ключ. Даже ключик, с продетым в дырку кольцом, никак с ним не вязавшимся — грубым, гнутым, облезлым. На блестящем медном фоне ключа кольцо было предметом чужеродным. А вот сам ключик…

Ключик на колечке был махонький, если сравнить его со складывающимся ключом от машины, на которой

Гребнев ездил до того, как решил, что устал стоять в московских пробках и продал её. Но это был ключ именно от машины. Матросом Игорю доводилось водить по территории вмб — военно-морской базы, где он служил, старенький, раздолбанный поколениями предшественников «газон», ГАЗ-66, в кузов которого дежурная смена сбрасывала мусор и отходы с камбуза для вывоза и последующей утилизации за пределами территории базы. Пусть это и было против правил — водить машину, не будучи штатным водителем. Но права у него были. Хотя и не было допуска к вождению грузовика. Так что если нельзя, а очень надо, то было можно. Вот он и раскатывал. Запуская дребезжащий мотор с помощью такого вот ключика и педали стартёра.

Сунув ключ в карман и смахнув кровавую юшку из-под носа, Гребнев рванул к выходу из Греческого сада. Чтобы угодить прямо в объятия милиционера, надувающего покрасневшие от натуги щёки ради дребезжания свистка…

9

Можно сколько угодно спорить о пользе и вреде перевода стрелок на зимнее и летнее время. И все будут правы. То бишь, окажутся при своих. А золотой середины так и не будет. Хотя эффект от перевода стрелок часов на летнее время действительно заметен в интервале широт, говоря уже научным языком, от 30 до 55° обоих полушарий. В тропических широтах продолжительность светового дня мало меняется на протяжении всего года, в полярных — просто делится на полярный день и полярную ночь. Так что там не до переводов, смысла нет. Режим же жизни по обычному поясному времени в обиходе называется зимнее время. Но в 1895 году новозеландский энтомолог Джордж Хадсон представил Веллингтонскому

философскому обществу документ, в котором предложил сдвигать время на два часа вперед в октябре и на два часа назад в марте. Идея вызвала интерес, но так и не была реализована. К ней вернулись в начале XX века, в период массовой электрификации промышленности и быта. Более рациональное использование светового дня должно было сократить расходы электроэнергии на освещение помещений.

В 1905 году британский строитель Уильям Уиллетт предложил переводить часы на 20 минут вперёд в каждое из четырех воскресений апреля и возвращать обратно на одинаковую величину в каждое из четырех воскресений сентября. Свои восемь переключателей времени в год он описал в изданной на собственные средства брошюре «Пустая трата дневного света». Идея строителя привлекла внимание члена британского парламента Роберта Пирса, который внёс законопроект в палату общин в феврале 1908 года. Но проект законом так и не стал. Против этой идеи выступили многие, особенно фермеры. И только во время Первой мировой войны, когда вопрос экономии ресурсов остро встал перед Германией, немцы первыми решились ввести летнее время с 30 апреля 1916 года. Вскоре их примеру последовало большинство экономически развитых стран.

Многие государства сразу же после окончания войны отказались от летнего времени, другие — неоднократно то вводили это время, то отказывались от него, а некоторые страны сохраняли такое смещение времени в течение всего года. В России впервые этот переход был осуществлен 1 июля (14 июля по новому стилю) 1917 года, когда в соответствии с декретом Временного правительства стрелки всех часов в стране были переведены на один час вперед. Назад их переводили 27 декабря 1917 года (9 января 1918 года по новому стилю) уже согласно декрету

Совнаркома от 22 декабря 1917 года (4 января 1918 года по новому стилю). В 1924-1930 годах страна жила по поясному времени. Но постановлением Совета народных комиссаров СССР от 16 июня 1930 года на территории государства часы перевели на один час вперед относительно поясного времени, а после назад не вернули. Страна круглый год стала жить и работать на один час опережая естественный суточный цикл. Установленное время приобрело название декретного. К сезонному времени страна вернулась только в 1981 году...

Всё это Гребнев вспомнил позже. Когда уже нашёл в отдалении от входа в Греческий сад неказистый седан, выпадающий из общего ряда машин этого времени.

Размером чуть больше «горбатого» «Запорожца». И с такой же компоновкой — две двери. Лобовое стекло — словно с «Победы» слизано. Но до неё ещё лет пять. Зато стильный росчерк на капоте уже есть. Правда, без эмблем, это вам не «Кадиллак». И даже не «Паккард». Хотя в радиаторе и было что-то, напоминающее именно «Паккард». И немыслимые в СССР, тем более в эти годы — квадратные фары! По периметру автомобильчик был словно обшит панелями, напоминающими хромированные накладки из трубок, вроде футуристического обвеса космического аппарата — для охлаждения на скоростях свыше скорости света? Но он хотя бы до сотни-то разгоняется? В час, не в секунду. Хотя вон, поверх радиатора надпись — «600». Это что ж, скорость такая? Или максимальное расстояние пробега? До Москвы хватит…

Вообще-то Игорь искал нечто, напоминающее микроавтобус. К этому его подтолкнуло тиснение на ключе — «РАФ». И только заметив выбивающийся из жидкого потока кативших мимо машин припаркованный у обочины автомобильчик мятного цвета с хромом по всему кузову, всмотрелся более внимательно в ключ. А там по бронзе

вполне себе чётко было выдавлено: «РЭАФ». Что за зверь такой? Рижский — понятно, другого названия не подобрать, не ржевский же. Экспериментальный? Возможно. Но всё равно не сходится. Хотя… Если «АФ» принять за автомобильную фабрику... Ведь и «РАФ» не содержит указания на то, что это завод… Однако если буквы перевести в латиницу, то всё сходится. Rīgas Autobusu Fabrika. Просто, как всегда, коммунисты завод украли, и не озаботились даже вывеску сменить.

Гребнев обошёл со всех сторон припаркованный в полусотне метров от входа в Греческий сад автомобиль. Не хотелось облажаться и быть задержанным за вскрытие чужой машины — он только-только избавился от объятий милиционера, спешившего на звуки стрельбы. Объяснение с которым не заняло много времени. Под носом вновь стало горячо, усы и после первого выплеска крови были красными, так что слова сами собой нашлись:

…— Нет, я не ранен. Сосуды у меня слабые. — Доставать удостоверение с отдалённо похожей на него фотографией Игорь не стал. Во-первых, пойдут вопросы, а то и предложение последует — вернуться в сад и разобраться со стрельбой. Типа, ты ж вроде тоже страж правопорядка. Но Гребнев понятия не имел, страж чего он. Точнее, был прежний владелец удостоверения. Да он и фамилию «свою» из «корочек» не запомнил, только имя — Серафим. И то потому лишь, что странным показалось. Он ещё успел подумать не шестикрылый ли. Вместо того, чтоб прочитать дальше — отчество и фамилию. А ведь ещё и звание должно было быть. Но убористый почерк Гребнев до конца не осилил, надо было бежать. Как и сейчас. И только непредвиденная остановка в виде встречи с милиционером в потёртой шинели прервала его бег.

— Что, блокада?

— Да нет, у меня это и раньше случалось, до войны, — тут Игорь душой почти не покривил, хотя и соврал чуток. Да, он бывал в прошлом до войны, и тогда тоже порой умывался кровавой юшкой. Но имело ли это отношение к сосудам? Гребнев так и не разобрался в чём была причина внезапных носовых кровотечений, сопровождавших его в походах меж временами. Однако точно не сосуды… — А как стрельба началась, у меня и плеснуло. А они там, за поворотом. Перестреляли друг друга.

— Живы?

— Да я ж не подходил! Может и живы, издалека не разобрать…

Мысленно Гребнев себя похвалил, что не позарился на оружие, которое само шло в руки, более того, бросил даже свой наган: милиционер пусть и не очень тщательно, но облапил его, карманы прохлопал — обыск чистейшей воды. Но противиться ему Игорь, удерживая на вытянутой руке грязную «капитанку», не стал. Чтоб не создавать конфликтную ситуацию на ровном месте. И не задерживаться на месте преступления дольше, чем того требует ситуация. Не то какой-нибудь бдительный гражданин, случайно видевший его до стрельбы или во время оной, настучит доблестной милиции, и тогда уже всё будет иначе. Охлопыванием дафлкота дело не закончится. А объяснять собственное появление в саду, да ещё с чужими документами — то, что удостоверение чужое выяснится очень быстро, стоит только сравнить фото в нём с трупом, не входило в его планы. Особенно после того, как он ещё там, над мёртвым гадёнышем, ухватил за хвост одну шальную мысль. После чего и решил, что машина ему не помешает.

А автомобильчик, пусть и неказистый — вот он. Не тот «рафик», что он искал, ориентируясь на неверно прочитанную надпись на ключе. Хотя откуда бы

микроавтобусу рижского завода взяться в Питере пятьдесят третьего года. Но оказалось, что всё ещё лучше. Маленький автомобильчик, пусть и приметный — цветом и облицовкой. Но, должно быть, шустрый. По крайней мере, пока Гребнев шёл за заячьей шапкой к саду, слежки из этого автомобильчика он не заметил. «РЭАФ» если и катил за ним от забегаловки с пончиками, то умело маскируясь в потоке машин. А появление троицы на тропинке сразу после того, как Игорь избавил город от маньяка, ещё не вошедшего в полную силу, ничем иным, как наличием у них машины, объяснить было невозможно. Поэтому он и не видел слежки. Из-за чего едва не стал жертвой собственной беспечности. И отсутствия должной бдительности.

Зато теперь он был на коне. Почти в буквальном смысле слова. Ещё бы оправдалось его предположение о декретном времени… Зимнем… Не просто же так часы змеёныша на час убежали вперёд.

Игорь бросил быстрый взгляд на свои часы. Пешком бы он точно не успел…

Машина, на заднее, кожаное сиденье которой он бросил свою безнадёжно испорченную «капитанку», шла с натугой. Это вам не коробка-автомат, хотя и здесь было нечто не похожее на привычные механические коробки, переключение скоростей в которых сопровождалось скрежетом и надрывом всех сил водителя. Всё-таки даже в ту (в эту, поправил себя Игорь) пору в Прибалтике работали лучше, чем в континентальной России. Впрочем, русские, даже когда их угоняли в рабство, и там не работали, так что старались бы они без надзирателей…

Пропустив скудный поток машин по Литейному справа, Гребнев с Некрасова, так и не заехав в Басков переулок, свернул на проспект. И принял к тротуару повыше улицы Жуковского. Он тревожно окинул взглядом

окрестности через мутноватые стёкла доставшегося ему «РЭАФа». Но Игорь про себя упорно называл его «рафиком».

Следов аварии, да ещё с человеческими жертвами, не наблюдалось. Вряд ли, если что-то уже случилось, все следы так быстро замели. Судя по заявлению старшего из троицы, бравшей Гребнева, ставка делалась на то, что сакральная жертва будет принесена открыто, так, чтоб всем была видна. Не то зачем было бы гонять карету скорой помощи. Это в московских пробках скорая стала подвидом такси для особо выдающихся клиентов. Не созревших до персональной мигалки, но желавших прокатиться с ветерком. Здесь дело было не в ветерке. А в том, что убийство на виду у всех проще всего изобразить как борьбу за спасение жизни. И кому, как не экипажу скорой, спасать?

Но пока спасать было некого. И не похоже, что всё уже случилось, как о том вещал гадёныш с меленькими зубками. Которые никого уже не укусят.

Не наблюдалось и ничего подозрительного. Машины катили себе и катили, не густо, но постоянно. Вдоль проспекта стояли, как и Игорь с его «РЭАФом», пара «виллисов», не добитых на фронтах. Или то были уже ГАЗ-64? Тут Гребнев путался. Как и в «эмках», припаркованных чуть дальше, которые вполне могли оказаться уже «Москвичами». Со стороны улицы Жуковского на проспект смотрел капот грузовика, ГАЗ-51, судя по всему, такие ещё и детстве Гребнева по улицам бегали. Ну, или почти такие. Потому как этот был песочного цвета. Что за африканский корпус такой, подивился Игорь, и переключил внимание на другую часть проспекта, ещё не исследованную. Но и там ничего примечательного не заметил.

Унимая волнение, Игорь выдохнул, поправил салонное зеркало заднего вида — не мешало и оглянуться. Но сквозь заднее маленькое окошко мало что можно было

разглядеть. И Гребнев оглянулся. Точнее, повернулся всем корпусом в сторону тротуара.

Вовремя.

Метрах в десяти от машины, аккуратно переставляя полноватые ножки в ботиках, шла Кира. Его Кира. В чёрной «плюшке», как она называла свою душегрейку — нечто среднее между курткой и шубкой. Плюшевый жакет, как значилось на этикетке, попавшейся Игорю среди домашнего скарба Киры — это была её обновка по случаю назначения завотделением. И сегодняшний вызов в горздрав был связан как раз с тем, что Кира, избавившись от приставки И.О., должна была о чём-то докладывать номенклатурщикам, протиравшим штаны в кабинетах, подальше от больных и рожениц.

Рванув дверь, Гребнев выскочил на проезжую часть, вскинул руки, словно в приветствии:

— Кира! Я здесь!

Близоруко щурясь, девушка подняла взгляд, стараясь найти откуда исходит знакомый голос, шагнула на зов, заступив с тротуара на брусчатку проспекта.

И тут же за спиной Гребнева взревел мотор.

Игорь удивлённо оглянулся.

Из-за поворота с Жуковского на Литейный выруливала карета скорой помощи. Тот самый грузовик. Песочного цвета. Хотя, скорее, цвет был топлёного молока. Но красный крест на фоне белого круга на кургузой будке с тремя окошками, изображавшей санитарное отделение, не оставлял сомнений, что это ничуть не грузовик. Да, «морда» от «газона». Но вместо кузова — отдельная конструкция типа автобусного салона с колбой фонаря на крыше. И тоже с крестом. Красным. Как та кровь, что должна будет пролиться. А пока не пролилась, машина казалась ничуть не страшной. Подумаешь, скорая из

«Кавказской пленницы». Там же только смеялись все… Но Гребневу было не до смеха.

Карета скорой помощи только по названию была каретой. И — скорой.

Скорость она набирала очень медленно. Хотя мотор и ревел на все лады. И это рёв всколыхнул сознание Игоря. Да так, что он едва устоял на ногах.

В одно мгновение Гребнев понял всё. Начиная с того, что часы змеёныша действительно, как он и предположил, показывали декретное время. От которого страна отказалась только при пересиденте Медведеве. Назвать иначе никчёмыша, гревшего трон, покуда его патрон изображал мнимое уважение к Конституции, коей позже всё же окончательно подтёрся, не поворачивался язык. Ну да это, как водится, не имело значения.

Важным было то, что время истинное время шло по часам Игоря. Из-за чего Кира пару раз даже опоздала на работу. Которая начиналась по декретному. Но тогда Гребнев не придал этому значения. Нынче же всё было иначе.

Щеря свои зубки, агент Серафим, или как там его, выложил лишку. Будучи уверен, что всё уже случилось, сказал, где и как должна была погибнуть Кира. Да вот только со временем он ошибся. На час. В этом парадоксе Игорь пока не разобрался. Да и к чему, когда и так всё ясно: сейчас, пусть и с опозданием на час, Киру всё равно будут убивать. Почему именно её? Из-за ребёнка, что она носит под сердцем. Пусть это ещё и не ребёнок, а только намёк на него. Но кому-то он уже мешает. Почему?

Додумать это не хватило времени. Мгновение прошло очень быстро. Ещё быстрее за это мгновение разогналась скорая, сокращая расстояние до застывшей у кромки тротуара Киры.

— Беги, Кира! — глядя на ревущего монстра, крикнул Гребнев, спинным мозгом осознавая, что и от крика, и от внезапности всего происходящего Кира только ещё больше будет тормозить, не соображая, как поступить. И он, сожалея, что не прихватил оружие тех, кто пытался его убить, уже понял, что песочного цвета автомобиль с крестами ему не остановить. Нечем. Да и было бы чем, ещё не факт, что удалось. Оставалось одно. Не своим голосом, надрывая связки, он заорал: — Назад! В подъезд беги! В подъезд!

А сам сделал шаг навстречу несущемуся по проспекту автомобилю. Так, словно это действительно была карета, и её понесли кони. Которых можно ухватить под уздцы и усмирить. При должной сноровке. Которой, как и оружия, не было. Игорь и с одной-то лошадью дела не имел, а тут на него нёсся целый табун. Числом около семидесяти. По мощности мотора, если он правильно помнил.

Упрятанные под капотом, пусть и небольшие лошадиные силы не сочли угрозой одинокую фигурку в развевающемся дафлкоте. Они лишь вильнули задом машины, и продолжили свой бег. «Газ пятьдесят раз» — некстати вспомнилось Игорю, как в народе называли грузовик, работавший сейчас скорой помощью. Только вот помощь ныне спешила к старухе с косой — сама она, видать, не справлялась с задачей. И не мудрено. Гололёд. Любой промахнётся. Чего уж там о старухе говорить. Даже машина, о четырёх колёсах, и то рисковала не поспеть…

На булыжной мостовой проспекта карета скорой помощи, словно поскользнувшись, метров десять прошла юзом, скруглённым краем своей надстройки-салона ударила Гребнева в бок и грудь, сбив его с ног.

Удар пришёлся вскользь, хоть в этом повезло. Но всё ж по силе был сродни удару ядра, пробивавшему

деревянные борта кораблей, моряки на которых в те давние времена ходили в похожих на гребневский дафлкот форменных одеждах. Игорь пролетел мимо автомобильчика, на котором приехал. Пролетел в буквальном смысле — удар оторвал его ноги от земли. А инерция удара понесла дальше. Метра на два-три. После чего сработало земное притяжение. И инерции не хватило поставить его на ноги или хотя бы удержать вертикальном положении. Вот она и уронила его головой на гранитный бордюр, отделявший брусчатку проспекта от тротуарных плит. Уронила и бросила. До полной потери связи с реальностью.

Последнее что Игорь увидел перед тем, как погрузиться во мрак, — запоздалый рывок Киры к входной двери в здании у неё за спиной, сером, пятиэтажном, часть окон которого была всё ещё то ли зашита досками, то ли закрашена. Но дверь меж двух полуколонн была распахнута. Настежь. До запирания дверей и кодовых замков в них дело ещё не дошло. И если бы Кира побежала чуть раньше…

Но большего ему увидеть было не суждено…

10

— Очнулся, миленький?

Голос донёсся откуда-то издалека. Где-то там же щучьей икринкой — жёлтой и мелкой — мерцала лампа. Под высоким потолком. Наверное высоким. Потому как большую часть поля зрения занимали зеленовато-серые серые стены. Верх которых уходил в никуда. В этом никуда и тлела лампочка.

Игорь попытался сфокусировать зрение. Но для этого нужно было иметь ориентир. А кроме икринки, мерцающей в колеблющемся мареве, он ничего не мог разглядеть.

Кто-то невидимый коснулся его лба влажным полотенцем. Пахнущем то ли карболкой, то ли ещё чем-то. Но в любом случае — больничным. Не тюремным, как он поначалу предположил, будучи не в силах определить куда попал. Хотя он и не знал, чем пахнет тюрьма. Так, мог предположить. По опыту в психушке. Которая и была замаскированной тюрьмой. Для инакомыслящих. Или — просто мыслящих. Имеющих голову на плечах, а не чугунок для варева, которое туда сливает власть. Благодаря чему, ну и боксёру, конечно, тоже, он и выбрался оттуда. А теперь опять был на больничной койке. Хорошо ещё, не привязанный, что внушало надежду. Но прежде нужно было понять, что с ним. И что — не так.

Он прислушался к телу. Тело болело. Почти повсеместно. Но не критично. Куда больнее было возвращение воспоминаний.

Удар бортом машины скорой помощи. Короткий полёт. И удар головой о поребрик — тут он себя поймал на мысли, что перешёл на питерский сленг. Не бордюр — поребрик его вырубил.

В этот же миг мелькнуло ещё какое-то видение, и тут же голова взорвалась адской болью.

Гребнев вскинул руки, пытаясь сжать, собрать воедино или хотя бы просто в кучу разваливающуюся на части черепушку.

— Нет, нет, миленький! Не трогай повязку! — в сознание опять ворвался тоненький голосок, который Игорь уже слышал. А может, и нет. Могло ведь и показаться, с разбитой-то головой. Но это обращение «миленький» он уже явно слышал не в первый раз. Зина его так звала? Вряд ли, для неё он был шпионом. Или врагом народа. Хотя она и пришла ему на помощь. Когда не стало боксёра. Впрочем, она и до того была за них. Но без неё, а не без боксёра он бы точно не выбрался из психушки. Однако и роль

неустановленной личности боксёра, с которым он вновь, или теперь уж впервые, встретился сегодня утром, отрицать нельзя. Зато можно смело утверждать, что сегодня этой встречи не было — Игорь наконец разобрался в ощущениях помимо дикой головной боли, и понял, что отлежал все бока. Пусть и лежал он на спине. Но всё тело ныло от долгой неподвижности. Так что с боксёром сегодня он вряд ли встречался. Если вообще встречался.

Но тут потревоженная память услужливо преподнесла ещё одну картинку. И Гребнева едва не вывернуло наизнанку — он забился в рвотных конвульсиях. Но желудок был пуст, и ничего из этого не вышло. Зато боль заполонила его всего. Вытеснив мимолётное видение. Которое он не забыл, но отложил до лучших времён.

— Пить, — откинувшись в изнеможении на ватную подушку, разлепил он пересохшие и потрескавшиеся губы.

Из сумрака, на миг перекрыв свет икринки лампочки появилась рука. И губы увлажнил комок ваты, пропитанный водой, отдающей железом. Или ржавчиной.

Игорь судорожно впился губами в зажатую пинцетом ватку, высасывая из неё по капле влагу. Но тот же девичий голосок остановил его:

— Не спеши, миленький, я ещё смочу ватку…

И влажный тампон пропал. Но только на мгновение. Чтобы тут же вернуться вновь, уже напитанным водой. И железом.

— Где я? — смочив горло, поинтересовался Гребнев. Не тюремной больницы он боялся — психушки. Видать, давно по ней соскучился. Или созрел…

— Да где ж тебе быть, миленький? В больнице, — в поле зрения Игоря появилось какое-то пятно, которое можно было принять за лицо. Но уж больно трещала голова. И зрение никак не фокусировалось. Только всё та же

золотистая икринка лампочки где-то вдалеке и серость вокруг.

Первым делом ему хотелось спросить, что с Кирой. Но, как бы ни болела голова, здравая мысль пробилась прежде, чем он задал свой вопрос.

Вряд ли с места, где карета скорой помощи едва не помогла ему отправиться туда, куда не сумели отправить гадёныш-змеёныш с подручными, его увезли далеко. До страховой медицины здесь ещё не доросли. Это не Москва будущего, где в приёмном без полиса и разговаривать не станут, а случится, что страховой полис не той клиники, исполнят куплеты начала перестройки: «Дорогой вы мой больной, вы не нашего района, есть такой у нас порядок, раз разбились не в своём, то…». То хочешь стой, а хочешь падай. Так что должны были доставить его в ближайшую больницу. То бишь, в ту, где работала Кира.

Вот это сочетание — «работала Кира», и резануло внутренний слух как ножом по горлу. Но Гребнев взял себя в руки, продолжив размышлять. Пусть и давалось это с трудом. Из-за боли в затылке.

Так, с больницей ясно. Раз не в тюремной, то, значит, в той, где в этот мир пришёл младенец, которого он вознамерился убить. Во избежание неисчислимых жертв и бед в будущем.

Это что касается места. Теперь Кира. Будь она жива, уже пришла бы. Если только не сообразила, что нужно дать дёру. Не блондинка ж она, понимать должна. Если выжила, то могла бы и сообразить, что надо срочно скрыться. На время хотя бы. Тогда и не стоит её ждать. Хотя, скорее всего, ждать не стоит по иной причине. О которой думать не хотелось. Но приходилось. И всё ж он убедил себя, что просто не стоит ждать. Ведь всяко бывает. Но прежде всего не стоит задавать вопросы. О Кире. Чтоб не привлекать внимание к ней. Если ей всё ж повезло

выжить. Если его карета скорой поломала, приковав обломки к постели, то Кире могло достаться ещё больше. О том, чтоб ей повезло уцелеть, он и не мечтал. Ведь Гребнев видел, как песочного цвета машина с красным крестом в белом круге пронеслась мимо, сокращая расстояние до стоящей у поребрика Киры. И катастрофически сомневался, что Кира, услышав его вопль, в последний миг спаслась. Это ж не кино. Жизнь…

В любом случае Кире он сейчас не помощник. Скорее обуза. Самому бы оклематься.

— Давно я здесь? — вновь разлепил он губы. Не ожидая ответа. Потому как не видел, к кому обращался. Если вообще что-то видел, кроме жёлтой икринки лампы вдалеке.

— Миленький, ты бы пока не говорил, — мягкая, пахнущая больницей ладонь легла ему на грудь. Но чья? Лица Игорь не видел. Даже пятном. Но голос шёл оттуда, куда он вперил свой невидящий взгляд. — Три дня без сознания. А так — четвёртые сутки пошли. Да ты, миленький, и сейчас в себя ещё не пришёл. И лежи так, не шуми и рта не разевай. Не то ведь за дверью только того и дожидаются, чтоб ты заговорил.

— Кто? — не сообразил Игорь. Хотя, будь голова на месте, понял бы сразу. На людной улице сбили человека. А то и двоих, если Кира тоже попала под карету скорой помощи. Значит, должно быть расследование. Значит, милиция.

Ответом ему было шуршание газеты. Потом шёпот:

— Ишь чо пишут-то…

— И что пишут? — несмотря на предостережение не говорить, шёпотом спросил Гребнев. Впрочем, он и не мог громче — горло, хоть и промочил он его, нещадно скребло, словно песка и битого стекла натолкали в глотку. — И вообще… Вы кто?

— Саша я. Александра. Как с войны демобилизовалась, так и тружусь тут, осьмой год уж пошёл как на одном месте. Сестра хирургическая. А ночами вот подрабатываю. Сиделкой. Тяжёлых у нас много. И не только в отделении. Всех в нашу больницу везут, со всего города. Рук не хватает. Вот и подрабатываю. А мне чо… Одна я. Дома чо сидеть… Там только крысы. Вот такие!

С лёгким шорохом газета упала на пол — сиделка, похоже, развела руками, показывая, как заправский рыбак, размер обитающих в её жилище крыс.

От нестерпимого желания узреть размер сих монстров, зрение Гребнева внезапно улучшилось. Не то чтоб до прежнего состояния, но видеть он стал определённо лучше. И разглядел не только лампочку под потолком, но и освещённую ею девушку в белом халате. Даже девчушку, надо бы сказать.

Маленькая, худенькая, в белой косынке, она и сама была белой, как мел. С чёрными, вразлёт, бровями на узеньком личике в обрамлении седых волос. Хотя на вид была она куда моложе Гребнева. Но разглядеть её толком он не успел.

Где-то позади девчушки рывком распахнулась дверь, и в палату ворвался солнечный свет. И это Питер? Мартовский? Или уже лето? Так девчонка сказала, что три дня прошло… Да и всё равно слишком много света для солнца.

— Дочка, пойди погуляй! — властно раздалось с порога, но Гребнев отдавшего приказ со своего ложа не увидел.

— Да кто вы такой! — подхватилась с места Александра. — Какая я вам дочка, нахал! Врываетесь тут среди ночи! Больному покой нужен!

— Я лучше знаю, что ему нужно, — Гребнев плотно смежил веки. Это явление и голос были явно не к добру.

Он не знал, не испытал пока ещё на своей шкуре, но не сомневался, что на подобные визиты способны только люди, мнящие себя деятелями с горячими сердцами и холодными головами. Ну и ещё с чистыми руками. Однако жизнь показала, что руки у них мало того, что загребущие, так ещё и в крови, сердца черствы, а головы — мстительны. Вот только сейчас Игорь ничего против поделать не мог. Как и Шурочка не могла противостоять этому натиску. Но она хоть пыталась.

— Да он-то и говорить не может! С переломом основания черепа! Глазами только водит… — Вот и примерный диагноз он услышал. Как и приговор: — Того и гляди — помрёт.

— Шагай, дочка, ничего с твоим больным не случится. Мне с ним поговорить нужно.

— Знаю я ваши разговоры! Из-за них, считай, без ноги осталась.

— Ты говори, да не заговаривайся! — оборвал голос девчонку.

— Шо, правда глаза колет? Да я где хочешь это повторю, — Александра ещё пыталась упираться, но силы явно были не равны. Хоть и не в рукопашной сошлись эти двое у ложа умирающего.

По палате, малюсенькой, как понял Игорь в лучах света, ворвавшегося из коридора, кто-то прохромал — стук каблука явственно указывал, что ходок припадает на одну ногу. Судя же по словам Александры о потерянной ноге, это она и шагала. А шаги пришельца были вкрадчивы, но настойчивы. Хотя что там было шагать — от двери до кровати два шага по комнатушке без окон. Примерно в такой же, чуток побольше разве что, из расчёта на

двоих, Гребнев пребывал в казанской психушке. В тюрьме для тех самых, мыслящих инако, если уж называть вещи своими именами.

С порога Александра ещё пыталась что-то возражать, но её окончательно выпроводили. Насильно. Она вырывалась «Больно же!», но всё равно оказалась за дверью.

— Когда закончу, я тебя позову, далеко не убегай, — бросил визитёр напоследок, захлопнув за сиделкой дверь. И подошёл вплотную к кровати: — Ну что, Серафим Калистратович, говорить можете?

Игорь не шелохнулся. Но глаз предательски дёрнулся.

— Вижу, что можете. Так что давайте не будем притворяться.

У Гребнева и мысли такой не было. Глаза он закрыл по иной причине — когда льющий из коридора свет пропал. Да и в темноте ему было спокойней — голова не так болела. Поэтому глаза он приоткрыл, но промолчал.

Над ним нависла тёмная фигура. Массивная, куда там девчонке было с ней тягаться. Да ещё и хромой.

Страха не было. Было только сожаление. Опять не случилось, не сбылось. Поэтому и взгляд Гребнева был устало-равнодушным, ничего не выражающим. Пустым был взгляд. Однажды, в одной из редких свар с супругой, такой взгляд его выручил. Убедившись, что не находит отклика в нём всеми своими претензиями, большей частью, вероятно, пустыми, жена, покойная ныне, отстала от Игоря. Впрочем, вряд ли это можно было назвать его ноу-хау. Даже в животном мире жертва, притворившись мёртвой, может избежать смерти. Так что Гребнев глаза-то открыл, но в них ничего не отразилось. Даже лампочка.

Но нависшего над ним человека это мало смутило. Хотя и поубавило пыл.

— Кивните, если понимаете меня.

Кивнуть Гребневу было едва ли не труднее, чем говорить. Но не исключено, что голова на продавленной подушке в перепачканной наволочке шевельнулась. Иначе чем объяснить, что визитёр, которого Игорь даже не пытался рассмотреть, чтобы не выдавать своего интереса, присел на край кровати и продолжил донимать его вопросами. Но прежде представился, вынув из внутреннего кармана пиджака с большими лацканами красную книжицу — это Игорь рассмотрел. Хотя и против своей воли. Но взгляд на ней не задержал. А переводить на лицо визитёра и вовсе не стал — со зрением творилось что-то непонятное, мерзкое, и всё, что он мог видеть, — только блики и пятна. Даже икринка лампочки растаяла, остался кружок с расплывчатыми краями:

— Капитан госбезопасности Пименов. Мне поручено ваше дело. Дело с покушением на представителя государственных органов. Совершённое с особым цинизмом.

И, поскольку Гребнев молчал, товарищ Пименов, кашлянув, продолжил:

— Вы помните, как попали сюда?

Гребнев неимоверным усилием воли сохранил неподвижность всех мускулов, лицевых прежде всего. Однако ж глаз всё же дёрнулся. Да только такие периодические подёргивания объяснить можно было скорее тиком, нежели разумной реакцией на вопрос.

И тогда визитёр зашёл с другой стороны.

— Серафим Калистратович… Тут такое дело. Отлагательства не допускающее. Как я уже сказал, покушение на представителя органов. В приёмном покое документ при вас нашли. Хорошо ещё, что врачи, хоть им, как я понимаю, и не до того было, сообразили нас в известность о нём поставить. Или, если так вам больше нравится, о вас. Не то бы вы так и провалялись здесь один до

морковкина заговенья — ни знакомых, ни друзей. У нас вы ж в командировке?

Гребнев ничем не выдал своего отношения к рассказу. Прямо скажем, заинтриговавшем Игоря.

— Вы ж сами понимаете, — выдержав паузу, далеко не мхатовскую, но всё ж достаточно долгую, капитан госбезопасности вновь попытался достучаться до совести. Или до чего он там хотел добраться, чтобы вызвать отклик на безучастном лице больного. Или раненого? Так не в бою ж пострадал… — Реорганизация, не до каждого комиссара госбезопасности сейчас есть дело, чего уж там говорить про старшего лейтенанта…

Так, значит, Серафим, не шестикрылый, но Калистратович, или как там его, старлей. Госбезопасности. Это то, что Гребнев не узрел в удостоверении, подобранном с трупа змеёныша, пытавшегося его убить. Да не преуспевшего в том. Сам, гад, полёг и корешей положил. Или коллег? Подчинённых? Без разницы. Ведь в рассказе капитана было нечто более важное…

То, что конторе дела нет до своих комиссаров? С чего бы это? И что за реорганизация…

Нет, не это. До людей там никогда нет дела. До винтиков — да, чтоб закрутить. А так — нет. Тогда что же?

Гребнев понял, что значит в его положении недостаток информации. Эх, не читал он в последние дни газет. Впрочем, даже если бы и читал. Не было там информации. Голимая пропаганда, должно быть. Демонстрация страстной любви по безвременно усопшему вождю. Но что-то же было... О чём знал капитан Пименов, но было неведомо старшему лейтенанту… Как там его?

Фамилию, которой он прикрылся, Игорь пока так и не узнал. Как и многого иного. Проще было на пальцах сосчитать что узнал. Что он в Мариинской больнице?

Последнее воспоминание, абсолютно внезапное, до такой степени удивило Гребнева, что он едва не вышел из образа человека, пребывающего в прострации. Чем очень бы порадовал сидящего на краешке кровати «коллегу». Но втихаря, про себя, порадовался сам. Потому что за одним воспоминанием, вытеснившим наносное знание, всплыло и ещё одно.

Больницу, в которой работала приютившая его женщина, вновь он подумал о Кире в прошедшем времени, и это было печально, Игорь знал как имени Куйбышева. А она, и это был непреложный факт, была Мариинской. Но куда важнее было то, что Гребнев вспомнил и другое. Куда более важное. И, вероятно, имевшее отношение к тому, о чём талдычил визитёр.

Со смертью Сталина система государственной безопасности претерпела мгновенную трансформацию. В тот же день, 5 марта, когда тело ещё не остыло. Но король умер, поэтому — да здравствует король. Вот только эта поспешность выдавала, что заказ боксёру мог поступить от самого Лаврентий Палыча. Который только и мог стоять за смертью Хозяина. Хотя и не обломилось самозванцу. Однако он успел, и именно в день смерти вождя, создать новое министерство, подминавшее под себя всё. Создать, объединив с МВД Министерство государственной безопасности СССР. Следом, ещё до опубликования официальных указов, Берия добился провозглашения обновлённого Министерства внутренних дел. Естественно, под своим началом. Что открывало перед ним неизведанные пути к неограниченной власти. Недолго, правда, музыка играла. Но что было, то было. На что и намекал, видать, говоря о реорганизации, визитёр, которому на этом фоне нашлось какое-то дело до старшего лейтенанта. Правда, с чего бы при той занятости, что спровоцировала реорганизация, на какого-то старлея тратятся такие силы?

Александра-то намекала ведь, что за дверью палаты к нему прислушивались, а это значит, не один капитан там дежурил…

— Так о чём, значит, я? — спохватился капитан, вновь так и не дождавшись отклика. — Реорганизация, значит. Но даже с ней в нашем управлении не нашли мы следов старшего лейтенанта госбезопасности Серафима Калистратовича Красноборова…

Так вот в чём дело! Ну, ладно, с боровом можно и смириться, красный же. Значит, красивый. Но тут скорее свой. Красный среди красных. Пусть и боров. Хорошо ещё не Черногаев. Так надёжнее. Это вам не Бабченко с Турченко. Ведь в условиях ведущейся в его времени Игоря войны «гай» в фамилии мог бы указывать на вражеское происхождение. Не говоря уж об окончании на «ко». Но он-то не в своём времени.

Судя по тому, что свет окончательно померк, капитан приподнялся, осторожно, чтобы не привлечь внимания. Однако не учёл, что лампа за спиной. Так что, когда он заглянул в глаза Гребнева, увиденное его не порадовало. Уж Игорь-то постарался уйти в себя. Настолько глубоко, насколько смог. И дождался продолжения монолога.

— Всё проверили. Потом ещё раз. Документ подлинный, сомнений не вызывает. А вот сам Красноборов… Не наш. — И тут, словно спохватившись, что перед ним больной, которому не нужны потрясения, а важен покой, Пименов, словно извиняясь, затараторил: — Нет, нет, вас никто ни в чём не подозревает. Это я неправильно выразился. Не наш в том смысле, что служит где-то в ином месте. И здесь может быть разве что в командировке. Но не поставил в известность управление. Не хорошо, конечно, однако ж бывает… Дела могут быть и личные… Так что тут без упрёков, это вы будете уже со своим начальством разбираться. А нам понять надо, кто и за что покушался на

нашего коллегу. Ведь с нас-то спросят в любом случае. Не уберегли, мол. И где — в центре города, почти у самого управления!

Игорь и на такую заботу не отреагировал, так что Пименов, вздохнув, продолжил:

— Мы сделали запрос в столицу. Но там, как я уже сказал, не до старших лейтенантов. А нам бы дело закрыть. Не поможете?

Просительные нотки Гребнева не тронули. Поначалу. Но на том они не закончились.

— С меня ж не слезут. Как коллега коллеге. Тут ведь даже начальник управления побывал. Это я сказал по глупости, что до старлеев дела вроде как нету. На самом деле ещё как есть! Но не просто так, вы уж извините. Вопросик у начальника нарисовался. Как только вас увидел, так и спросил. Так что мне ещё и за это ответ держать. И вас мучить.

Что за вопрос? — насторожился Игорь. И был прав, навострив уши. Хотя и виду по-прежнему не подал. Взгляд его был пуст, как засыпанный песком колодец в пустыне: дыра в земле есть, воды — нет.

— Такое дело, Серафим Калистратович… Несоответствие какое-то… По документам... Вам лет-то сколько? Если по документам, так вас должны были уже уволить. А вы в старших лейтенантах бегаете. И на вид… Даже в этой чалме… С басмача её сняли, что ли? Вот начальник управления — сами посудите, на какой уровень всё вышло, и спрашивает: как так получается? Я с вами, как равный с равным, делюсь… Начальник женился недавно. И переживает, что жена молода. А ему… Ну, в общем, больше, чем вам. Если по документам. Вот он и боится, что изменять молодая станет. С его-то занятостью. Да и возраст… Самому справляться, видать, тяжко… Но это строго между нами. Я в вас верю. В возраст ваш. В то, что вас

заменить некем, поэтому и не уволили до сих пор. Хотя все сроки вышли. В шестьдесят-то два…

Так вот в чём дело! Начупра городской госбезопасности интересует секрет его молодости? Ну, да, и в своём времени Гребнев выглядел моложе своих шестидесяти. А перенёсшись во времена до своего рождения и вовсе омолодился. Но ведь ларчик-то мог просто открываться — ошибка в документе. Однако это почему-то не пришло на ум начальнику Пименова. Значит, было что-то ещё… Значит, надо ждать, что рано или поздно визитёр должен разродиться истинной причиной такого внимания к мелкому старлею во дни, когда трясёт всё министерство, снизу доверху трясёт, и, как откровенно признал капитан, даже до комиссаров дела нет. А тут целый комиссар госбезопасности интересуется… И якобы исключительно в целях удовлетворения молодой жены. Это, конечно, тоже нельзя исключать. Однако подобный интерес у спецслужбы появится гораздо позже. Когда не убитый Гребневым младенец возжелает жить вечно. Вот только до этого ещё очень далеко…

Капитан явно чувствовал себя не в своей тарелке, сидя в ногах лежащего неподвижно Гребнева. Мялся, явно имея что-то на уме, но не рискуя высказать. Однако в конце концов, тяжко вздохнув и ещё раз попытавшись заглянуть в глаза Игоря, весь вид которого указывал, что он если и жив, то далеко не здесь пребывает, вытянулся во весь свой немалый рост.

— Я не прощаюсь, Серафим Калистратович, буду рядом. Сиделку сейчас пришлю. А вы, если в себя придёте, шлите её за мной. Договорились, Серафим Николаевич?

Оговорка была слишком очевидна. И явно неспроста. Вот только Гребнев даже бровью не повёл. Дождался, когда из коридора вновь хлынул поток света в его

полутёмное пристанище, и только потом перевёл дух, задавшись вопросом: а что это было?

Но ответить на него не успел.

На грудь легла тёплая ладошка:

— Ну, как ты, миленький? Чего хотел этот бугай? Здоровенный, но тупой…

11

Всё, конечно, было плохо, но не настолько чтобы взять и умереть. Ведь Сатурн ещё не виден. А значит, сатана не вошёл в свои права. Но так можно было рассуждать, не имея окон. И всё ж… Будь он даже в своём времени, и то до наблюдений Сатурна как минимум полгода. Так что власть нечистого, когда Сатурн находится в тёмной стороне от бога солнца, ещё не пришла.

Впрочем, это было то, что Гребнев случайно почерпнул в ходе своего краткого визита домой, в своё время. Как обстояло с Сатурном в марте 1953-го, Игорь не знал. Однако не исключено, что неплохо. Ведь помер-то тиран, прислужник сатаны. Значит, не так уж и сильна его власть здесь и сейчас. Это раз.

Во-вторых, все мы в жизни играем роль. Хорошо если свою. Но ведь нередко случается и чужую.

Гребнев явно играл чужую роль. И по документам. И по времени пребывания. Поэтому требовалось либо вжиться в неё, либо сбросить личину.

Пока всё вроде хорошо. Но отчего же плохо в целом?

Можно ли верить сиделке? А вдруг и она играет роль?

Игорь с натугой разлепил губы, возвращая осмысленное выражение лицу:

— Здесь кто-то был? Кто?

— Я ж говорила, что не в себе больной! — всплеснула руками Александра: — Так ты, миленький, хоть слышал-то его? Я под дверью почти всё слышала, еле ноги унесла, когда он намылился уходить. А ты, сердешный, выходит, даже не заметил…

Что ж, такая легенда для его чужой роли была вполне пригодна. И Гребнев не собирался разубеждать сиделку в том, что он якобы ничего не вынес из визита капитана Пименова. Даже свою новую фамилию не пытался вспомнить. Ещё и потому, что она как бы вызывала сомнения в истинности. При всей подлинности доставшихся ему документов. Именно на это намекал ночной гость перед уходом. Якобы спутав отчество бескрылого Серафима. Никак не шестикрылого…

Верить в то, что словоохотливо рассказывала Шурочка, которую в этот раз он рассмотрел получше, Игорь не спешил. Уж больно заковыристый получался сказ.

Из дома на Литейном — гэбэшного управления, как понял Гребнев, к нему нагрянули уже на второй день пребывания в коме. Только слова такого, не исключено, никто не употреблял. Куда понятнее — «больной без сознания». Для соответствующего времени уровню образования. И познаний в медицине. Это Игорь без всяких эскулапов знал о своих болячках всё, причём едва ли не больше молодых дипломированных выпускников медвузов. Достаточно погуглить симптомы. Другое дело, что при таком подходе можно обнаружить у себя кучу несуществующих заболеваний. И при должной внушаемости овладеть ими. А то и помереть от них. При богатом воображении. Таком, как у Гребнева. Но он жив. Потому что, в отличие от докторов, лечащих болезнь, а не пациента, он практик, и который год держится, цепляется за жизнь. После смерти. Клинической. Конечно, держится благодаря врачебным рекомендациям. Но и сам личным опытом

вносит коррективы. Правда, сильных отклонений пока не случалось, не то бы ему несдобровать. Особенно в то время, когда надолго, вот как сейчас, оказывался в далёком прошлом, где не было прописанных ему лекарств. Он даже у Киры не пытался их спрашивать. Потому как понимал: не изобрели ещё, не открыли, потому и нечем лечиться. И когда будут — неизвестно.

Ну да это другой вопрос. Первый был в том, что к нему, находящемуся в беспамятстве, с Литейного, 4, где даже в годы его службы в Питере обитали энкавэдэшно-гэбэшные деятели, нагрянула целая делегация. От которой до сего дня осталось круглосуточное дежурство у палаты. И капитан не соврал — делегацию возглавлял какой-то большой начальник. Генерал.

…— К нему они так и обращались — товарищ генерал, — рассказывала Александра под демонстративное посапывание Гребнева. Хотя он не спал, сопел и слушал. Не перебивая и не задавая вопросов. Они и не требовались — Шурочка и так вываливала даже больше, чем Гребнев мог переварить. — А уж набежало-то народу, набежало…

Словоохотливая сиделка выложила всё, что прошло мимо сознания Игоря.

Обнаружив в одежде доставленной в больницу жертвы аварии «корочки» с мечом и щитом, кто-то из врачей или из регистратуры немедленно набрал номер в доме на Литейном. Вначале гости были мелкого ранга, но на следующий день заявилась целая толпа. «Делегация», — мысленно поправил Шурочку Игорь, но голос не подал. А она продолжила: генерал несколько раз переспрашивал свою свиту, всех и каждого в отдельности: «Ну, что? Он?». «Похож», говорили некоторые. Другие пожимали плечами: «Да я только мельком его видел. Да и то как с другой стороны Литейного»…

Пользуясь своей незаметностью ввиду полной никчёмности в глазах больших начальников какой-то там сиделки — всего лишь раз кто-то из сопровождавших генерала цыкнул на неё, прогоняя из-под ног, Шурочка даже ухитрилась подслушать разговор прибывших, когда они, выставив за двери докторов отделения, оккупировали ординаторскую. И промывали мозги главврачу и бригаде, приставленной к Гребневу до его полного излечения.

По всему выходило, что приняли Игоря за кого-то другого. И не молодой вид тому был причиной. Потому как видели в нём не носителя секретов молодильных яблочек, а большого начальника. Случись с которым ещё что-то, помимо уже ставшегося, то не поздоровится всем.

Вишенкой на торте был подслушанный Александрой разговор генерала с полковником, державшемся довольно вольно в присутствии лампасов.

Беседу Шурочка передала в лицах, как заправский актёр, пусть и школьной самодеятельности.

— Генерал, значит, упёрся рогом в дверь отделения, повернулся к отставшему от него на один шаг полковнику и говорит… По-доброму так говорит, как лучшему другу…

Так, конечно, не бывает, но Шурочка утверждала, что было именно так:

«— Терентьевич, ты же из Москвы пришёл к нам. Неужто не встречался?

— Так времени сколько прошло, Николай Дмитриевич! И то, кем я там тогда был. Ближневосточный отдел. И если бы только это. Так ведь и пришёл он уже после меня. И сразу на управление, хоть и замом…

— А как же насчёт того, что начальство нужно знать в лицо?

— Так я и знаю вас. Хоть в лицо, хоть со спины.»

На том всё и закончилось. Если не считать того, что добавила Александра, подводя итог своему рассказу:

— Сказал — и засмеялся. Нехорошо так засмеялся. Как будто знал что-то такое… Не очень хорошее. А генерал его не приструнил.

Гребнев театралом не был. Тем более — актёром. Так что выпавшая ему роль казалась неподъёмной. Как чин генералиссимуса для Суворова. Который, по легенде, получив указ о присвоении высшего воинского звания, то ли воскликнул, то ли прошептал обречённо: «Велик чин, он меня задавит». И задавил-таки…

Игорю не хотелось быть раздавленным. Да ещё и за чужие то ли подвиги, то ли грехи.

— В общем, распорядились они вас в отдельную палату поло́жить. С тем и отбыли. Но охрану оставили, — подвела итог Шурочка, и Гребнев обратил внимание, что миленьким она его больше не назвала.

А обратив внимание на слова, открыл глаза.

Девушка, сонно потягиваясь, сидела на табуретке в кругу света, отбрасываемом небольшой настольной лампой со стеклянным зелёным абажуром. Симпатичное личико на миг исказила гримаса боли, тут же уступившая место извечной усталости. Но она заметила, что Игорь, лежавший всё то время, что она тихонько говорила, молча, открыл глаза.

— Миленький, больно? Или пить? — Шурочка рванулась к кровати.

Гребнев попытался отрицательно мотнуть головой. Пришла боль. Но не сильная. И зрение вернулось в полном объёме.

— Мне бы встать…

— Нет, нет, нельзя! Куда вставать! У вас на рентгене здоровенный отёк. Почти в темечке. Враз парализует. Если лопнет. Я утку, щаз…

— Не нужна мне утка. Вещи мои где?..

12

Как он поднялся с постели, как доковылял до двери, где на крючке слева от входа висел его дафлкот, уже вычищенный, и оделся, это отдельная история. Которую поутру Александра расскажет тем, кто будет её допрашивать. Но Игоря не это занимало. А то, как пережить, что едва ли не впервые в жизни он ударил женщину. Которая к тому ж о нём заботилась, пыталась оградить от тех, от кого он бежал. Но, тем не менее, он и её подозревал в пособничестве спецслужбам. Ну или вынужденном сотрудничестве с оными. Хотя и слышал, пусть и краем уха, что у неё свои есть претензии к ним. И как бы не более серьёзные, чем у него. Ведь хромала Сашенька, по её же словам, из-за того, что её допрашивали. Вместо оказания помощи. А может, ещё и пытали. Что там было, Игорю недосуг оказалось вникнуть. Время работало против него. Впрочем, как всегда. И всё же он, оправдывая себя, пришёл к выводу, что, скорее всего, как это часто случалось на войне, вышла Шура раненой из окружения. А таким веры у «Смерша» не было. Невзирая на чины и раны. Тем более какая-то медсестра… Подумаешь, цаца. Ну, раненая, и что ж? Враг он и не на такие ухищрения идёт. Тутто особисты и дорвались. До молодого мяса. Которое можно и рвать ради орденов, и пользовать себе в утеху. Пусть Александра о том и не обмолвилась. Однако примеров таких — хоть отбавляй. Да, пытались внуки доблестных чекистов задним числом стереть позорные страницы биографии ВЧК-НКВД-МГБ. И так до ФСБ. Где совсем уж не осталось для совести чистого места. И всё же Игорь клеймил себя последними словами за нанесённый Шурочке удар. Да тут же и опять оправдывал: мол, в её же интересах. Конечно, можно было бы и обойтись.

Договориться. Или уговорить её. Если она не с ними. Но на это не было ни времени, ни сил. А кроме того, снимает такой удар с неё все подозрения. Ну, или хотя бы частично, на чекистов ведь не угодишь, подлое племя. Рождаются они уже такими, что ли? Гребнев лично знал многих, и ни одного порядочного среди них. Если не считать порядочных сволочей.

…Он бил прямо с кровати. Не успев полностью подняться. Не исполнившись силой. Однако удар пришёлся удачно. Прямо в переносицу. Едва сиделка склонилась над ним. Предлагая свою помощь. А он оказался подлецом, даже в драке так бить западло…

Глаза у Шурочки мгновенно закатились под лоб. Ещё и усталость после дежурств и бессонных ночей приложилась. Вот она и запрокинулась навзничь. Да так и осталась лежать — с разбитым в кровь носом и треснувшей от удара губой. С гарантированным сотрясением. Хорошо ещё, если череп не треснул, как у него. Но высота падения была небольшой, и Гребнев надеялся, что Шурочка отделается ушибом. С потерей, правда, сознания. Хотя и было важно, чтоб не пришла она в себя до того, как он сбежит.

Игорь, глядя на дело рук своих и терзаясь муками совести, опустил босые ноги на пол.

Однако едва он выпрямился во весь рост, как его качнуло. Судорожно схватившись за выкрашенную в густой синий цвет спинку кровати, Гребнев устоял. Разглядел свою одежду, на которую, потеряв бдительность, кивком указала сиделка. Взял вначале пеленг на дафлкот, а после и курс проложил.

Получилось. Как и одеться. Теперь бы ещё оправдались слова санитарки о том, что охрану перевели этажом ниже. Мол, чтоб сразу при входе были. Генерал

приказал. А полковник добавил: случись попытка проникнуть в отделение, брать врага за жабры. И лучше живым.

Морщась от боли в сломанных или как минимум треснувших рёбрах, он приоткрыл дверь. Правая нога слушалась плохо — ей тоже досталось. Да ещё и лодыжку он, видать, подвернул. Но, скрипнув зубами, выдержал. И даже шагнул за порог.

«Прости меня, Шурочка, — мысленно в который раз проговорил он, пускаясь в дальнюю дорогу. Но на свою жертву так и не бросил последний взгляд — боялся, что она пришла в себя, и сейчас всё сорвётся: — Надеюсь, я сделал настолько больно, чтоб тебе больше никто не причинил боли…»

На первом этаже он, припадая на правую ногу, чуть притормозил, понимая, что силы явно переоценил. Боль в ноге была терпима, а вот в голове…

С головой всё было ясно. Обнаруженное на рентгене кровоизлияние около темечка, о котором говорила сиделка, — не из этого времени. Оно давно стало его персональной миной замедленного действия. Готовой рвануть в любой момент. Но он-то жил. Несмотря на то, что МРТ с компьютерной томографией, недоступные в 1953-м, не раз показывали: он играет со смертью. Но Гребнев продолжал играть. Вот и сейчас он, играючи со смертью или с кем-то из её подручных, повернул в другую сторону от выхода. Знать бы ещё в каком из корпусов больницы он лежал…

Судя по табличкам на дверях, пустой ночью этаж был административным. Значит, фасадом это он выходил на Литейный. Слишком уж открытое пространство. Даже при том, что путников в ночном городе по пальцам перечесть можно. Зато в торце. И он пошёл до конца коридора.

Взглянув в тёмное стекло окна в одном из кабинетов, едва ли не самом дальнем от центрального входа,

Игорь малость взбодрился, увидев своё отражение. Вокруг глаз не было чёрных кругов, явного признака перелома основания черепа. О чём говорила Шурочка, защищая его перед особистом. А он её кулаком, в лицо…

Отмахнувшись от угрызений, Гребнев распахнул окно, которое легко подалось, и беспрепятственно выскочил в тень другого корпуса. Прыжок, правда, дался нелегко, и подвернувшаяся нога едва не отказала. Хотя хуже было другое. Студенистая, желеобразная, как он её представлял, масса в голове плюхнулась, словно туда, в это мёртвое болото посреди мозга бросили камень. И разошедшиеся по извилинам и нейронам круги на миг ослепили его. Как это уже не раз случалось.

Игорь постоял, прислонившись плечом к стене, вновь обретая способность видеть. И шагнул на проезжую часть. Идти ему предстояло далеко, километров пять. Если по прямой. А ведь он собирался ещё и крюк небольшой сделать, чтобы заглянуть на квартиру Киры. Ни на что не надеясь…

Ожидание встречи с опасностью в полуподвальной комнатушке, где они провели пять счастливых месяцев, было невыносимее самой опасности. Если она вообще была. Однако, что бы он себе ни внушал, но перед неведомым злом, идущим то по пятам, то на шаг впереди, Игорь испытывал страх. Хотя в реальности это зло, не исключено, было не страшнее того, что могло поджидать его в комнате Киры. Что там могло быть? Мертвенная пустота, подтверждающая, что Кира погибла? Так он почти и не сомневался в том. Просто страх был страшнее опасности, вот и трясло Гребнева, как осиновый лист.

И не зря. Квартира оказалась перевёрнута вверх дном. И без следов того, что Кира в неё возвращалась после того, как отправилась в горздрав. А без неё Гребневу нечего было делать в комнатушке, помнившей их

страстные лобзанья. И он зашагал прочь. В ночь, медленно уступающую утренним сумеркам.

В таких же сумерках он из громыхающего вагона пригородного поезда перешёл в другой, ближе к голове состава. И ещё затемно сошёл на своей платформе. В Москве.

Коридор меж временами работал, только Игорь был не уверен в том, какой день за окном. Да что день — год… И ведь домой нельзя, следят.

Часть третья

1

…Он отправился на автовокзал. Хотя и не собирался никуда ехать. Пока не собирался. Просто недавно выстроенный торговый центр с автовокзалом был к станции ближе иных мест, где можно затеряться.

Нога немилосердно болела, но ему удалось осилить пройти ещё пару километров, теперь уже по Москве. Утренней. С тенями людей, спешащих на работу. Стараясь никому не мешать и не особо маячить, хотя и было немноголюдно в такую рань, Гребнев добрался до фудкорта торгового центра. Магазины его не интересовали, тем более всё было ещё закрыто. Кроме «Макдональдса». Из чего Игорь сделал вывод, что вернулся он во время более раннее, чем то, из которого бежал. Это доказывал сам «МакЖрак», который ещё не стал «Точкой». В которой всё якобы вкусно. Если и вкусно, то только потому, что рецепты украдены. И техника «отжата» у истинных хозяев ушедшей с рынка фирмы. Значит, передел ещё не наступил. Или войны не случилось?

Если да, то лишь пока. Не настолько он наследил в прошлом, чтобы избежать кровопролития в своём времени. Ведь малец, из которого к этому дню должен был вырасти монстр, остался жив. Потому что Гребнев так и не решился его удушить, когда мог, а после подступиться не сумел. Хотя те, кто был по другую сторону баррикад, не церемонились — Игорь вспомнил медсестру, удушившую подлинного младенца. И то, как всполошилась Мария, не желая признавать чужого ребёнка своим сыном.

А ведь её и Кира уговаривала…

Измученный подозрениями и близкой опасностью, Игорь уже и её стал подозревать. Вдруг и Кира, пусть и неосознанно, сотрудничала с теми, кто охотился на него? Мёртвой её он не видел, а то, что квартира вверх дном…

Так она же не появилась на работе. Раз к Игорю не пришла. Могли просто отправить кого-то на поиски. Правда, для этого не нужно было всё переворачивать. Хотя и был шанс, что Кира уцелела, и в комнатушке искали её следы. Чтобы добить всё же…

Вытянув под столом ноги и давая им отдохнуть после ночного марафона, Гребнев, прихлёбывая мутный кофе из бумажного стаканчика, окинул взглядом кафе. Ничего подозрительного. Даже «ночных бабочек» не видать. Или перевелись? Для студентов рановато. Для мамаш с детьми — тем более. Всего-то человек пять уныло жуют жвачку, как коровы на выпасе. И это считая самого Игоря.

Косясь на занятые столики, Гребнев не увидел опасности в двух работягах, заказавших гамбургеры прямо перед ним, и в паре таксистов или водителей автобусов, отправлявшихся с этого автовокзала в ближайшее Подмосковье. Эти двое сидели уже давно, отодвинув использованную посуду на край стола. Опередившие его молодые парни, с грубоватыми, топором рублеными лицами, прячущимися под козырьками бейсболок, не были иноземцами, свои, русские. Но какие-то мутные. Подворовывают со стройки, что ли? Не без этого, видать. Вон и стёганый жилет-безрукавка одного из них весь в серой цементной пыли. У второго закатанный не по погоде рукав клетчатой рубашки, торчащий из-под такого же жилета, но с капюшоном, обнажил какую-то заковыристую татуировку. Сам в краске, уже подсохшей. Давятся бургерами вперемежку с картошкой да колу потягивают. Ещё, похоже, настоящую. Но самое главное — интеллектом явно не блещут, таких не берут в космонавты, можно не опасаться. И всё ж от подозрений Гребнев до конца не избавился. Но, малость успокоившись, принялся размышлять.

Отсутствие масок на лицах дало ему ещё один ориентир во времени. Пандемия если не закончилась, то строгости увяли. Значит, год примерно 2022-й. Зима. Перед весной или после осени? В любом случае это не точно. И зима, и год. Поэтому первым делом нужно найти доступ в интернет. Что, судя по письму дочери, он сумел-таки сделать. Подал ведь весточку о себе. Но интернет был нужен не только для этого. Он мог помочь определиться со временем возвращения в Москву и понять, что случилось в больнице. И до того, как Игорь в неё попал.

Искать компьютерный клуб пришлось долго.

Можно, конечно, было наведаться домой, но рисковать не хотелось. А на покупку смартфона даже если бы и хватило денег, то покупка сим-карты была сопряжена с необходимостью наличия документов. Которых не было. И в этом был весь парадокс его бытия: деньги не вопрос, он помнил, что в предыдущий свой приход увидел пополнившиеся за счёт процентов счета. Но добраться до них не было никакой возможности. А их уже успела и инфляция подъесть. И, как Гребнев подозревал, налогами его тоже не обошли, что-то такое он смутно помнил из предыдущего визита: то ли их ввели на вклады, то ли только на проценты по ним... Налоги же, вместе с изобилием относительно доступных мобильных средств связи, и задушили компьютерные клубы. Как прежде видеомагнитофоны убили видеосалоны. Но клуб всё же нашёлся. И оно того стоило.

Первым делом он выяснил, что оказался в марте 2022-го. В день, когда за 82 года до этого закончилась советско-финская война. Но уже третью неделю шла война новая. И вновь начатая его родиной. Она и без завоеваний занимает обширные и богатые земли. Однако не может на них обеспечить достойную жизнь гражданам. Своим. Но вечно силится ещё и других подстричь под свою гребёнку,

утянуть в своё болото. Где на территории от моря и до моря, во всех одиннадцати часовых поясах время давно остановилось. И страна никак не может выбраться из прошлого. Раз за разом, как в день сурка, наступая на одни и те же грабли. А всё почему?

В 1917-м общество, всколыхнувшись, само о том не подозревая, не только свергло прежнюю власть. Потому как и не само оно вышло из спячки. Революционную бурю посеяли прожжённые циники, вбросив в обеднённую вековым послушанием и чинопочитанием почву мозгов убогоизбранного народа семена льстивых и столь же лживых обещаний. Самые деятельные, которым всё надо здесь и сейчас, поверили. Остальные как минимум не возражали. И пошла плясать губерния. Писать тоже. Указы и прокламации с декларациями.

Опора прежних верхов тоже оказалась среди недовольных, вот и пала власть. Потому как любая власть нуждается в защите. А защитники оказались так себе. И власть пала. Прямо в руки горстки авантюристов. Но сами они мало что значили. Сколько там их было. А у власти полиция, армия… На том бы всё могло и закончиться. Однако на подмогу пришли одурманенные зажигательными речами массы. Армия разбежалась или примкнула к восставшим, полиция заныкалась. Так что новые вожди входили в историю на штыках солдатиков и матросов, опьянённых ожиданием обещанных благ. Материальных. На свободы — слова, печати, вероисповедания и проч — полупьяным матросам и безграмотным крестьянам, призванным в рядовые, было плевать. Вот они и выплеснули их вместе с защитниками старой власти. Да только свобода — это ещё и закон. Который тоже пошёл под революционный нож. И тут уж к вершителям революции примкнуло российское дно, узревшее возможность хорошо поживиться. Не прикладывая особых усилий.

Буря, что смела верхи, перемешала все океанические слои общества. И ладно бы, так океан насыщается кислородом. Но она взбаламутила и вековые донные отложения, которые российский люд прятал, в том числе и от себя самого. Пока вожди создавали легенды о своих белых одеждах, на гребень революционных волн, зовущих в новый мир, из глубин вознеслось самое что ни на есть дерьмо. Которое изливалось и изливалось, не зная удержу. Потому как не было больше закона. Теперь можно было жить, пользуясь правом верхнего, более сильного, и давить нижнего. И всплывшие давили, давили, давили…

Это не в одночасье, не в 1917-м стало нормой — давить нижнего по праву сильного. На то она и тюрьма народов, Россия. На протяжении нескольких поколений тюремная действительность выработала в обществе тюремное поведение. Задолго до проклятого семнадцатого нормой стало «с волками жить — по-волчьи выть». Что выражалось не только в насилии сидящих на должности над всеми прочими, но в и в языке, который был призван, как солдат срочной службы, обслуживать русскую жизнь, поддерживая её в состоянии постоянной, бесконечной войны и со всем миром, и с самими собой. «Аквариум» пел о семидесяти годах, на протяжении которых «по новым данным разведки мы воевали сами с собой». На самом же деле эта война длится гораздо дольше. И конца ей не видно. Когда все живут по законам военного лагеря, то задача языка — война каждого с каждым. Если сильный обязательно должен побить слабого кулаками, задача языка — сделать это словесно. Унизить, оскорбить, опустить ниже плинтуса. Такого вербального оружия, как мат, нет ни в одной другой не то что «империи» — ни в одной стране не сыщешь. На этом языке, выражающем суть загадочной русской души, тысячу лет говорят и власть, и население. Говорят. Но не пишут. То же, что

написано пером, — это калька с западной литературы, иностранная нашлёпка на теле рабской пирамиды, которая появилась в XVIII веке. Тогда в Россию с Запада хлынул поток переселенцев, принёсших с собой нездешние понятия: Liberté, Égalité, Fraternité. Свобода, равенство, братство. Но какое может быть равенство меж потомственным рабом и владетельным сиятельством? Первый о свободе и слыхом не слыхивал, второй и без братства с немытым слугой жил неплохо. Вот и были выплеснуты, исторгнуты из российского общества обслугой большевиков эти чуждые в стране понятия. За ненадобностью малограмотным вершителям судеб революции. И ещё менее грамотным исполнителям. А спохватившаяся старая власть уже голоса не имела…

В общем, всё было как после запора, когда организм долго не в силах остановиться, высвобождаясь от измучивших его каловых масс. Уже и на унитазе сидеть больно, а дерьмо всё прёт и прёт. Так и в революционной России вся всплывшая мерзость, эта пенистая зловонная масса, разливаясь по водной глади, неожиданно возомнив себя новой элитой, заполняла собою общество.

Прежде находившаяся там, где ей и место, на дне, среди отбросов и помоев, у нужника, в болоте, в грязи — нужное подчеркнуть, она неожиданно оказалась наверху. Не на самом — выше были самопровозглашённые боги революции, коим эта масса лживо поклонялась и принуждала поклоняться других, куда более бесправных. При этом ища повод, цепляясь за любую возможность занять место на пьедестале истории, свергнув кого-то из небожителей. А пока в силу своего скудоумия по своему образу и подобию равняла остальных. Имевших силы, знания и желание самостоятельно плыть в светлую даль. Умных, сильных, красивых. Но… Жалкий уродец никогда не допустит рядом с собой писаного красавца. Так девица,

стремящаяся к замужеству любой ценой, всегда выбирает себе в подружки дурнушку. Чтобы выглядеть лучше, чем есть. Потому и моральные уроды боятся оказаться на фоне нормальных людей, даже не киногероев. Чтоб не выглядеть ещё более мерзко. Дорвавшись до власти, они первым делом истребляют тех, кто даже без сопротивления, самим фактом своего существования доказывает их никчёмность. Как новой элиты.

Взобравшиеся на самый верх по ступеням карьерной лестницы, ставшие видными деятелями, новые элитарии, выбившиеся из общей массы грязи, получившие чины и награды, сами уже не спешили пачкать руки в крови. Однажды доказав свою верность партийному курсу вождей революции, они подыскивали среди оставшихся отбросов ещё более мерзкое отребье. Которому и поручали всю самую грязную работу. Этот процесс сепарации, отрицательного отбора, шёл все годы советской власти. И не прекратился с её падением. Потому как и новой власти, выросшей из отходов прежней, нужны были исполнители, не брезгующие ничем. И, что самое интересное, желающие всегда находились. Написать донос, ударить в спину, желательно ножом, пытать… Или лгать — что с высоких трибун, что с голубых экранов, даже когда они стали цветными. Да что там, даже якобы сеющие разумное, доброе, вечное дружно продались за мизерные подачки. Им поручали работу «интеллектуалов» — подделку всенародного волеизъявления на имитации выборов. Когда выбора не было. И они оправдывали доверие верхов. Успешно справлялись со вбросами или круговыми голосованиями за нужного кандидата. Точнее, единственного. И так лет двадцать кряду. Все те годы, что вождём был не убитый Игорем младенец…

Из-за этой долгой прелюдии, пробежавшей по экрану арендованного на пару часов монитора

компьютера, Гребнев едва не упустил то, из-за чего и отправился в поиск.

Управление НКВД в Ленинграде в тот год, когда Игоря едва не убили на Литейном, возглавлял генерал-лейтенант береговой службы Ермолаев. Николай Дмитриевич. Как к нему, по словам Шурочки, и обратился некий полковник. Которого генерал назвал Терентьевичем. Такой тоже нашёлся. Аленцев, Виктор Терентьевич. Заместитель начальника управления, полковник госбезопасности. Пересидевший своего шефа на неделю. Ровно. Ермолаева в ходе реорганизации сняли… через пять дней после визита в больницу. Из которой бежал старший лейтенант госбезопасности Серафим Калистратович Красноборов.

Ну, бежал-то Гребнев. А личность Красноборова, чьим именем он прикрылся, с трудом, но тоже удалось идентифицировать. Лялин.

Помогла демонстративная оговорка капитана Пименова, пытавшегося достучаться до сознания Красноборова-Гребнева. Вежливо так стучавшегося. Почему вежливо, что не типично для комитета глубинного бурения, независимо от его названия в разные эпохи? Да потому, что визитёры именно Лялина в нём подозревали. Не простого какого-то там Лялина.

Серафим Николаевич Лялин был заместителем министра госбезопасности СССР.

Вот только с 11 марта 1953 года в должности он уже не значился. Не потому ли, что был убит при попытке задержания путешествующего сквозь времена Гребнева?

Странно, конечно, что на такую операцию, да ещё под чужой фамилией могли отрядить целого генерала. Который, похоже, тогда не погиб. Потому как через год чудесным образом воскрес на должности с понижением — в Горьковской области. И только годы спустя вновь поднялся до прежних высот. Видать, где-то отличился всё ж.

Да и то сказать, для парторга тульского завода он сделал головокружительную карьеру. Пусть и перемежавшуюся падениями. Но после всё равно опять шли взлёты. Не так прост был, этот товарищ Лялин. Не то что Ермолаев, сосланный после случившегося в Сибирь, да так там и увязший. А всё почему? Не было в его биографии партийной линии. Рабочий-краснодеревщик ярославского завода «Красный маяк», он пришёл в ЧК с должности агента «Госстраха». Участвовал в советско-финской войне, после чего вновь потянуло его в спецслужбы. Так и дорос до генерала, возглавляя «Смерш» Балтийского флота. И только Гребнев всё подпортил генералу…

Разобравшись с тем, что произошло в Питере, Гребнев собрался уже было пойти отобедать в какой-нибудь забегаловке. Москва — не Питер, выбор, особенно на окраине был небольшой. Но он потратил ещё полчаса на поиски возможных следов Киры. А заодно пытаясь понять, кто же за ним гоняется через все времена.

Увы, тут он потерпел полный крах. И вышел из полуподвала, где размещался компьютерный клуб, чудом уцелевший в эпоху поголовной компьютеризации, на Беломорскую, почти к станции метро.

Щурясь на серый свет дня, отражавшийся от плотной облачности, он едва не сбил какого-то невзрачного мужичка, торопившегося к метро и ухватившегося за дафлкот Игоря, чтоб не упасть.

— Простите, — буркнул Гребнев, не глядя. Не хватало ещё уличных разборок.

Но внезапно его самого окликнули со спины:

— Игорь? А мне буквально только что твоя соседка сказала, что ты пропал…

2

— А ты почувствовала, что страна превратилась в зону? Как минимум отчуждения. Хотя скорее радиоактивного заражения. Куда долгие годы не ступит нога цивилизованного человека… Или это мне видно из-за того, что не жил здесь… Сколько же меня не было…

Марина, влюблённо вздохнув, прикорнула на его плече. А Гребнева всё несло и несло, и никак он не мог остановиться. Вместо того, чтоб выслушать женщину и ответить на её незамысловатые вопросы: «Где ты пропадал? Как ты?». Самому спросить о том же. Но ему нужно было выговориться после стольких лет молчания. И он говорил без умолку. Благо в дороге никто не мешал шептать прильнувшей к нему женщине почти в ухо. Вот только будь он повнимательнее, заметил бы, что Марина, помимо любви, излучает и озабоченность. В те моменты, когда вроде как просыпается. Хотя и не спит вовсе. Слушает.

Да, он говорил об этом же с Кирой. Но, видимо, не всё сказал. Хотя и примерно теми же словами общался. Но тут пришли новые знания. Предварявшие более поздние. Следом — понимание того, что Рубикон позади, и дороги обратно нет. А кроме того, он уже знал больше, чем жившая в этом времени Марина, и поэтому мог сойти за Нострадамуса. Правда, до исполнения пророчеств пришлось бы долго ждать. Но у него теперь было время. Как и место, где укрыться от преследователей. Которым, как он надеялся, не придёт в голову искать его в Ярославле. С чего бы? Даже если его связь с Мариной засекли, ехал он за сто первый километр инкогнито. В маршрутке от ВДНХ никто паспорт не спрашивал, в отличие от поезда. Разве что обратит внимание какой-нибудь очень уж бдительный эфэсбешник, что Марина сдала билет, а в Ярославле всё же объявилась. Ну да мало ли какие причины у неё могли быть. Пусть и пришла пора почти поголовной слежки. О чём сама Марина, конечно же, ещё и не догадывается. А

Игорь всё ещё надеялся, что не настолько он важная шишка, чтобы на него ставили сети едва ли не на пол-России.

Но как пророк был он всё ж недостаточно хорош. Чтобы он там ни пророчил. Ибо знал: чтобы в стране победила демократия, воцарился закон и порядок, нужен… царь. И с этим ничего не поделаешь. Вчерашний раб не в силах взять на себя ответственность за своё будущее. Но новому царю потребуются всё те же атрибуты власти, что и свергнутому им самодержцу. А значит, поддерживать его будет всё то же болото. Способное только резать, убивать, предавать… И круг замкнётся.

Разорвать его можно было только одним путём. На нём-то Гребнев в своё время и разошёлся со всеми штатными и записными демократами, которые ко второму его возвращению в своё время будут либо за кордоном, либо по тюрьмам. Но разошёлся он давно, со времён Болотной площади. Где протест бурлил, да так и не дошёл до точки кипения. Потому как те, кто считал себя демократами, уже видели себя в креслах сенаторов и прочих властителей. Ведь у них интеллект на лице, а на улицах — быдло.

Эту оценку Игорь воспринял и в свой адрес. Вот только в том, что на улицах было быдло, не поддержавшее протест, винил демократов. Не пожелавших примерить на себя рубища разночинцев. Пошедших некогда в народ. Но не преуспевших. После них никто более и не пытался просвещать серый и убогий люд. Власть же народ не забывала, но по-своему, запудривая ему мозги, вливая опиум если не с церковного аналоя, то из телевизора. В последнем случае ещё более успешно. Потому и стал народ быдлом, убогоизбранным…

В результате страна и в XXI веке продолжила жить по закону Золотой орды: над всеми хан, пахан, если точнее, сразу под ним — его родня-друзья-приятели, затем

обслуга и силы удержания существующего порядка, и только в самом низу — тот самый народ, быдло, рабы, без права голоса и собственности. Единственный же смысл и идеология этого общественного устройства — сама власть. Которую берут не для того, чтобы отдать в ходе каких-то там выборов. Так что она никогда не заканчивается, и власть, и борьба за оную. Для которой необходимое и достаточное условие — насилие.

При этом сама российская власть подобна царю Мидасу. Вот только античный царь превращал всё, к чему прикасался, в золото. А российская власть всё, чего касается, превращает в дерьмо и кровь. Первую кровь пролили в Чечне. И… покорились ей, выплачивая контрибуции для удержания власти местным царьком, грохнувшим ради восшествия на трон своего папаню, оказавшегося недоговороспособным в отношениях с центром, слишком порядочным был он по меркам диких горских племён. То же, что случилось отцеубийство… Ничего удивительного, в племенах каннибалов кулинарное искусство передаётся из поколения в поколение: сын готовит отца.

Откупившись от сынка, со временем совсем лишившегося тормозов, верховная власть кинулась скупать остальных окрестных мелкопоместных вождей. Кто не купился, изведал дряхлеющие мощи русского оружия. Потом, правда, был «Крымнаш», вскормивший ложные надежды на лёгкую прогулку в дальнейшем. Ну так и Гитлер начинал с парадных маршей через пол-Европы, а чем всё закончилось? Вот только пока некому открывать второй фронт против России, в той же Европе, да и в Америке, в ещё большей степени, надеются вразумить бесноватого. И оказавшись в 2022 году после посещения 2024-го, Гребнев был не в состоянии предсказать окончание войны, начавшейся за несколько дней до его появления. Да он даже и ход-то её не особо запомнил. У

путешественников во времени и не такое случается. Так что нечем ему было удивлять Марину, которая живо интересовалась происходящим на фронте. Благо телевизор, видать, ещё исполнен победных реляций. Но что неприятно резануло слух Игоря, его женщина, если она была его после такой долгой разлуки, была явно не против войны. Которая пока действительно казалась спецоперацией. Против каких-то там нациков. Сведениями о которых Украина сама снабдила отечественную пропаганду — уж больно открыто говорили в Киеве о неподконтрольности центру отдельных добровольческих батальонов. Хотя в самой России таких нациков, и не только их, а и куда худших представителей человечества, больше в разы. А уж батальонов частной охраны на службе отдельных олигархов и вовсе не счесть, даже у мэра столицы свой личный вооружённый отряд.

О том же, что страна стала не военным лагерем, а станом прокажённых, Марина не думала. Ни прежде, ни теперь. Она спала на его плече. Игорь надеялся, что это она пока не думала. Потому как в противном случае с ней ему не по пути. Ему и без того сложно жить. А жить, поминутно оглядываясь, ожидая удара в спину, вообще будет невыносимо. Потому как от одобрения войны до такого удара один шаг.

Ему не хотелось её опять потерять. В том был и шкурный интерес — кроме как к ней, идти было некуда. Но это частности. Главное было в другом. Он и без того потерял уже многих. И потери будут только множиться. Но он знал: чтобы Марину убедить, дабы она из стороннего наблюдателя стала пусть не союзником, а хотя бы сочувствующим, придётся многократно повторять прописные истины. Недоступные воспитанным в духе племенного сознания. А в нём воспитаны все. Он сам — не исключение. Просто в отличие от других Игорь всегда много

читал, обдумывал прочитанное, анализировал, самообразованием занимался. На что у большинства нет времени. Но чаще — желания. Потому как жизнь в неведении проста и понятна. А знания о происходящем где-то там, за пределами твоего маленького мирка, в котором самое страшное — рост квартплаты, заставляют крепко задуматься. И тогда приходится либо осознать, что думать-то нечем, либо признать, что и квартплата растёт не просто так. Но русские никогда даже себе не признаются, что ошиблись или в чём-то ущербны. Тем более — в отсутствии мозгов. Значит, до них нужно достучаться, заставить мыслить. А чем крепче они задумаются, тем больше открытий их ждёт.

Но чтобы важные утверждения дошли до всех и каждого, их надо повторить хотя бы дважды. Этот закон, как и большинство иных, определяющих бытие, вывели на «диком Западе». И там он работает. Однако в случае с русскими некоторые важные мысли не закрепляются не только после двойного, но даже и после многократного повторения. Причина не в убогости народа, недоразвитых способностях, а в отсутствии культурного фундамента у людишек. Такие и на Западе по помойкам живут в изрядном количестве. Но им-то простительно, выросли в гетто, генетически отставая от более светлокожих соотечественников. А с нашими их объединяет то, что им не на чем строить свои рассуждения о жизни вокруг. Мало читали они, говоря в двух словах. Да и учились кое-как. Ведь важные мысли, по определению сложные для понимания, не всегда могут заинтересовать. Ещё чаще могут не понравиться с первого раза. А самое главное — не воспринимаются. С наскока, с первого знакомства. Реакция на них, как правило, из серии в одно ухо влетело — в другое вылетело. Не усвоенные полноценно, такие мысли не дают всходов, оседают мёртвым грузом. Если вообще

задерживаются в голове. В большинстве же своём русские люди не в состоянии превратить сложные и важные мысли в постоянную часть своего мышления. Поэтому даже их повторы не могут привести к закреплению важных мыслей в сознании. К примеру, осознанию, что власть не от бога, что жизнь каждого важна и ценна, что заповедь «не убий» не имеет иных оправданий её нарушения за исключением одного случая — когда пытаются убить тебя. Но беда в том, что русские, почище обитателей негритянских гетто, поголовно недоучки и невежи. Ещё и уверовавшие в свою избранность. Поэтому, прежде чем их научить мыслить, их сначала нужно заставить читать, многое узнать, стать хоть сколько-нибудь культурными людьми, а уж потом втолковывать прописные и прочие важные истины. Иначе хоть сто раз повтори. Бестолку стучать в медный лоб, ожидая хрустального звона.

Игорю, пусть он и не считал Марину настолько отсталой и некультурной, предстояло повторить свои мысли не меньше ста раз. Если он хотел, чтоб рядом был единомышленник, друг. Ну, или подруга, как в случае с Мариной.

— Ой, нам можно было выйти у Московского вокзала, там пешком рукой подать, а мы приехали на Главный! — запоздало встрепенулась, просыпаясь, Марина, когда маршрутка добралась до конечной своего путешествия из Москвы в город, который, как надеялся Гребнев, с 1918 года не растерял свои традиции неприятия власти…

3

Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают. Потому что в любой момент тот, кто всегда выглядел умным и рациональным, может оказаться невероятным идиотом. Но хуже того, у идиотов есть свойство всё время возникать в самых неожиданных

местах и в самое неподходящее время. Чтобы одним только своим появлением разрушить ваши планы.

Именно это и произошло, когда Гребнев, пропустив Марину вперёд, ступил на буквально рассыпающийся под ногами асфальт дороги, вливавшейся на привокзальную площадь откуда-то из тьмы. Скудное освещение и ранние сумерки не позволяли разглядеть, куда он приехал. Но вокзал, именуемый Мариной Главным, остался за спиной. А она потащила Игоря туда, откуда они въехали на площадь, сделав круг почёта до ступенек перед входом в здание вокзала, вокруг которого толпились встречающие и отъезжающие. Зачем, Гребнев понял только у самого перехода — на другой стороне плотными рядами стояли машины. Частный извоз — такси по вызову подруливали прямо к вокзалу.

— Моя машина там, чуть дальше, — внесла поправку в рассуждения Игоря Марина. Оглянувшись на него, она протянула ему что-то невесомое, чёрное.

Машинально Гребнев принял неожиданный дар. Ключи. От машины. Его что же, берут персональным водителем? Так прав нету. Как и вообще каких-либо документов, неужто она забыла за время в пути? К тому ж сама говорила, что можно и пешком. Ну, да то было от другого вокзала…

Ничего спросить он не успел. Марина неопределённо махнула рукой куда-то вперёд, по ходу движения, где, должно быть, была её машина. И, оставив Игоря за спиной, перешагнула через едва видимую разделительную полосу. Бойко так шагнула. Но тут же стала заваливаться назад, на Гребнева.

Ему бы её подхватить, удержать. Но Игорь краем глаза уже углядел яркую вспышку в дверном проёме цветочного киоска на другой стороне улицы. Следом, словно догоняя изображение, грохнул выстрел. Звук ударил по

ушам. Вот только прежде маленьким кусочком свинца он ударил Марину в голову. Отчего её волосы распались по плечам золотой россыпью, взметнулись искрами, да тут же и погасли. Они, как луна, не могли светиться сами по себе. А света вокруг почти не было. Но Гребнев и не нуждался в нём.

Ему не нужно было всматриваться в повернувшееся к нему в три четверти в бледное лицо, на котором во лбу распустился багровый цветок, чтобы понять: Марина мертва. Она умерла, даже не почувствовав боль удара. Хоть это хорошо, если так можно говорить о смерти. Ведь это же ещё не конец. По крайней мере, для Игоря.

Давным-давно забытые навыки, которые едва пробудились в короткой схватке в Греческом саду, на сей раз всё выплеснулись мощным потоком — адреналина, злости, ярости, холодного расчёта, жажды убивать…

Он даже не успел подумать, а тело, не успевшее состариться после возвращения из прошлого в отстающее от истинного времени настоящее, отреагировало сообразно эмоциям. И боевым инстинктам.

Вместо того, чтоб хотя бы в последний момент поддержать сорванным листком опадающую наземь Марину, он машинально сунул в карман её прощальный дар. И тут же шагнул чуть в сторону. Чтоб не мешать падению. А уже в следующее мгновение, после едва заметных перемещений почти на месте, резко ускорился. До такой степени, что его тело стало тенью, метнувшейся в сторону ещё не погасшего отсвета выстрела.

Ему не хватило двух шагов. Всё-таки далековато он был от цветочной палатки, из раскрытой двери которой выглядывала рука с пистолетом. Это из него была убита Марина. Случайно. Игорь не сомневался, что целью был он. Просто его женщина — всё-таки его, пусть и с оговорками — приняла удар на себя. Как принимали и другие его

женщины. Из которых, считай, никого не осталось. Разве что дочка, Оксана. И та далеко. Но подвергать её смертельному риску Гребнев себе не позволил бы. Даже если бы пришлось сдаться ради её спасения. Хотя он и так практически отказался от достижения своей цели. Уехал вот в глубинку, в провинцию. Что не спасло от преследования. И от идущих по его следу убийц. А теперь вот не хватило двух шагов. Чтобы захлопнуть дверь до выстрела. Второго. На пути которого уже некому было встать.

Но ему повезло. И слившиеся воедино гром и вспышка выстрела только показались страшными. Пуля ушла туда, где Игорь только что был. Именно был, а не стоял. Потому как он там уже не стоял.

Ещё за мгновение до выстрела он буквально уже летел. Пластаясь по воздуху, не чуя ногами земли. Летел вперёд, навстречу опасности. И смерти. Летел, хотя и не успевал.

Но и выстрел запоздал.

Лишь грянул гром, буквально едва не опалив ему брови огнём, как Гребнев всем телом навалился на лёгкую пластиковую дверь палатки.

Рука, сжимавшая пистолет, и после этого успела ещё разок нажать на спусковой крючок. Но удар по ней, пусть и не ставший зубодробительным, заставил выронить оружие. Хотя пуля из ствола всё же вылетела. И ударилась в бордюр у самых ног Гребнева. Здесь-то поребрика не было. Да и был бы. Пуля ударила в бетон уже за, а не перед ним. Так что рикошет ушёл куда-то туда, где посреди дороги всё ещё опадала на асфальт Марина. Сломанной веткой опадала, бесшумно, не потревожив сгущающийся, как студень, мартовский воздух.

Зато из палатки раздался вначале хрип, а затем крик и стон. Стоном сопровождался треск костей —

Гребнев рванул зажатую дверью кисть на себя, и рука в просвете двери безжизненно повисла.

Распахнув дверь, он вцепился в безжизненное тело стрелка. И тут же отступил на шаг назад, узнавая знакомое лицо.

Ну как знакомое… Видел он его. Не далее как утром.

Рубленое словно топором. И на рукаве рубашки, торчащем из-под куртки-безрукавки на молнии, маслянисто-белое пятно. Не зря парочка, опередившая его в очереди за гамбургерами, показалась Гребневу подозрительной. А где ж второй идиот, которому, Игорь не сомневался, поручили добить его, если стрелок не справится?

Ответом стал мощный пучок света в спину. И рёв мотора.

Гребнев буквально нутром ощутил давление света. Пусть и не солнечного ветра, которым фантасты намеревались наполнять паруса космических кораблей для дальних странствий. Но ещё немного, и свет фар размазал бы Игоря по палатке. Может, конечно, и не свет, а вылетевшая на тротуар машина, тяжёлая, чёрная, с хромированной решёткой на тупой морде. Вот только инстинкты вновь взяли верх. И Гребнев, рухнув на спину и перекатившись через голову, отлетел от цветочной палатки за мгновение до того, как массивный внедорожник смял пластиковую конструкцию. Смял, вдавив в землю и стрелка, и пистолет, из которого была убита Марина. Должен был бы и Игоря смять. Но тот уже подхватился на четвереньки и, быстро-быстро семеня, убрался в тень, под чугунные ступеньки, ведущие в какой-то магазинчик. Да и там задерживаться не стал. Просто опора помогла встать на ноги, и уже на своих двоих продолжить бегство. Вот только куда бежать…

Неожиданно память вернула его в последнее мгновение жизни Марины. И он сунул руку в карман.

Ключи. С брелоком сигнализации.

Нащупав кнопку, Игорь нажал. И… ничего не случилось.

Машину, оставленную утром без присмотра, могли и угнать. Как здесь обстояло с хищениями автотранспорта, Гребнев был не в курсе, не собирался он ехать за сто первый километр от Москвы. Тем более почти за триста. Но вот пришлось. Бежать. Так далеко.

Игорь постарался восстановить дыхание. Оглянулся. Погони не видно. А на перекрёстке шум и крики. Кого-то явно бьют.

Гребнев надеялся, что незадачливого водителя, пытавшегося расплющить его на двери в цветочную палатку.

Машинально ещё раз нажал на кнопку сигнализации. И впереди, шагах в десяти примерно, мигнули огоньки.

Это, конечно, было ещё не спасение. Но вполне себе возможность быстро оказаться подальше от места преступления. Хотя Игорь и не представлял куда ехать. Когда он только познакомился с Мариной и в шпионской манере заглянул в её паспорт, штамп с пропиской изучил так себе. Его интересовал возраст. О котором сегодня она несколько раз вздохнула, подчеркнув его молодость. Теперь, мол, я стара для тебя. На что он махнул рукой, не став пускаться в объяснения. И завёл свою пластинку. С которой так и не сошёл, пока Марина не умерла. Из-за него…

Или всё же потому, что идиотов куда больше, чем можно себе представить? И они всякий раз возникают там, где могут разрушить наши планы?

В том, что стрелявший был из идиотов, у Гребнева не было сомнения. Если уж ему поручили убрать

неугодного, то делать это в ночное время, в месте, где кто угодно может оказаться на траектории выстрела с такого расстояния, значит, быть полным идиотом. Прекрасно зная, что жертва даже не подозревает, что погоня не только на хвосте, а даже и опередила намеченную цель, пустить всё псу под хвост. Когда можно было выполнить задачу с гарантированным результатом пусть и чуть позже, но в более благоприятных условиях. Или хотя бы дождаться, чтобы обречённый поравнялся с палаткой. И выстрелить в упор…

Идиоты, конечно, рано или поздно задавят нормальных людей. Своей неистребимой массой. Но поодиночке они ничто, пустое место. Хотя и очень вредное. Как трясина на болоте. И не видна вроде, но при случае засосёт…

Сегодня в эту трясину угодила Марина. Что могло означать только одно: погоня, едва где-то там, где отдают приказы на уничтожение Гребнева, узнают о провале очередной акции, возобновится. Где, когда, как… Это всё неизвестные в одном уравнении. Которое при таком количестве неизвестных не решить. Да и не уравнение это вовсе. Неравенство. Игорь один. А против него — мироздание. То самое, что подменило младенца. Что не позволило убрать, взяв грех на душу, заменившего настоящего ребёнка Марии, требовавшей вернуть ей сына… Да и мало ли палок в колёса вставило оно на пути Гребнева, открыв ему дорогу между мирами. Или временами. Складывалось впечатление, что с Игорем играют две противоборствующие силы. Одна за то, чтоб убрать, монстра, пусть и во младенчества, другая — за то, чтоб уродец, занявший чужое место, свершил все свои подлости. Но для обеих Гребнев всего лишь футбольный мяч. Который, как пелось в незапамятные времена, не знал людских секретов. Хоть и пролетал порой над полным стадионом. Только теперь

уже летал Гребнев, получив очередной пинок. Но не над стадионом, а над целой планетой по имени Земля летал. Ну, или как минимум каким-то из секторов этого вселенского стадиона. Опять же, как в песне, пусть и другой — где-то между Ленинградом и Москвой…

Но всё это — продолжение погони, попытки уйти от неё — будет позже.

Пока же Гребнев дошёл до всё ещё мигающей габаритными огнями машинки. Маленькой. Чёрненькой. «Шкода-Фабия». Когда-то он шутил, что в такой машине водитель глохнет. Потому что, сев за руль, коленками намертво прикрывает уши. Из-за тесноты. Но ничего, втиснулся…

Куда ехать, Игорь не представлял. Но перед ним была дорога. И нужно было убираться как можно дальше. Быть может, даже вернуться в Москву, где его никто не ждёт после побега из столицы.

Но, взглянув на приборную панель, от этой идеи он вынужден был отказаться. Стрелка указывала, что бензина в баке осталось только на пробег до заправки, литров пять. А наличных нет. Как и карты тоже. Не побираться же по трассе. Да и вряд ли кто подаст…

И всё же он оторвал машину от бордюра. Даже плавно получилось, с учётом того, сколько времени не садился за руль…

4

Влившись редеющий к ночи поток машин, Гребнев, вместе с властью над дорогой, обрёл и способность мыслить — выплеск адреналина иссяк. И уже на третьем светофоре пришёл к однозначному выводу. Что он такой же идиот, как и стрелок.

Вероятность того, что человек глуп, не зависит от других его качеств. Вот и Гребнев, при всей своей

разумности, не сообразил, что за ним следят. И давно. Вряд ли от самого Питера, там он вроде бы оторвался. Да и время прошло — десятилетия, тут ни один «жучок» не выдержал бы. А вот дома, в своём времени…

Если бы за ним не следили, то как бы так точно устроили засаду? Ладно, он не такой уж и идиот. Просто умные всегда недооценивают разрушительный потенциал глупцов. Прежде всего потому, что постоянно забывают: иметь дело с дураком, в любой момент времени, в любом месте и при любых обстоятельствах, означает совершать ошибку, которая дорого обойдется в будущем. А он, пусть и не по своей воле, но связался с идиотами, возомнившими себя вершителями судеб. Судя по тому, что Игорь выяснил уже после возвращения в Москву, все его тюремщики ничем хорошим не кончили. Но, вырвавшись от них, он расслабился. И сам предоставил идиотам поле, на котором они мало того, что разгулялись, так ещё и нанесли невосполнимый урон, разрушив-таки все его планы.

Игорь мысленно отмотал «плёнку». До самой встречи с Мариной. С которой, даже несмотря на её смерть, всё ещё не снимал подозрений. Пока не доказал обратного. И тут же вспомнил.

Мужичонка. Который буквально повис на нём перед «Беломорской». Мало того, что невзрачный. Ещё и с незапоминающейся внешностью. Неказистое пальтишко, шарф на пол-лица, вязаная шапочка… Вот и всё, что вспомнилось. При том, что Гребнев обладал неплохой-таки памятью на лица. Это не на имена и фамилии, которые ему всегда с трудом давались…

Резко приняв вправо, так, что сзади кто-то, норовивший обойти его по обочине, истошно засигналил, Игорь втиснулся в какой-то переулок, выскочил из машины, не заглушив мотор, рывком сбросил дафлкот и повернул его спиной к свету фар.

Ничего.

Не может такого быть!

Гребнев, не поверив глазам, ощупал лацканы дафлкота, прошёлся по воротнику…

И точно, за отворотом нащупал что-то, чего там отродясь не бывало. Должно быть, когда Марина его окликнула, потерял он бдительность. И мужичонка прилепил с тыльной стороны воротника малюсенький комочек, едва ли больший, чем использованная жвачка. Он-то, видать, и держался за сукно дафлкота за счёт того же эффекта — пережёванную жвачку не так-то просто отодрать. Но, выхватив изрядный комок нитей, Игорь вырвал из одежды небольшой кругляш, избавляясь от выдающей его метки, отражающейся где-то на радарах, следивших за ним от самой Москвы.

Конечно, лучше бы этот маячок прицепить на кого другого, как в кино, на собаку или на крысу, на худой конец. Но поблизости не было ни души. И Гребнев, приподняв крышку, прилепил «жвачку» к мусорному баку. Зашвырнув дафлкот на пассажирское сиденье, плюхнулся за руль, сдал назад, выруливая из переулка. И вновь влился в поток. Который нёс его неведомо куда.

Как и в ночной Казани, впереди замаячили купола. Много. И все над одним храмом, стоящим где-то над водой. Почему? Да потому что он был сбоку от моста, на который Игоря вынес поток машин. Он, впрочем, и не сопротивлялся особо, катил себе и катил, стараясь не нарушать порядком подзабытые правила.

С моста он, думая о том, как едва вновь не подставился, свернул налево — повернуть вправо, по его представлению, означало вернуться к вокзалу, у которого на холодном асфальте лежит бездыханное тело Марины. Игорь оставил по левую руку ещё пару храмов, свернул вправо, чтоб не увязнуть в круговом движении, порядок

проезда в котором он, по причине неоднократно менявшихся правил, забыл. Но, проехав метров триста, понял, что дальше от дороги остаётся не путь, а только направление. И опять свернул налево. По ряду признаков, сообразил, что объехал какую-то войсковую часть — забор, колючая проволока поверх, шлагбаумы, военные грузовики и приглушённый свет…

Он вновь оказался перед светофором. За которым вынужденно свернул влево — там дороги вообще не оказалось, хотя и не тупик. На следующем светофоре он повернул вправо — поворот налево опять вроде как вёл его назад, туда, откуда он благополучно бежал. Ещё несколько перекрёстков Игорь миновал по прямой. Пока не оказался в какой-то промзоне.

Углядев по левую руку убогие строеньица, малость закрывающие обзор с дороги, он решительно свернул туда. И едва не увяз в рытвинах, для езды по которым машинка явно была неприспособлена. Но он не стал её жалеть, и, перевалив через железнодорожные пути, оказался перед ещё большими буераками, штурмовать которые уже не решился, а свернул влево. Меж двух заборов. Дальше в лучах фар серел песок, засесть в котором было как нечего делать, и Гребнев приткнулся под каким-то деревом. Не то чтоб маскировка, просто не на дороге же машину бросать.

Вспомнившаяся ему в связи с собственными промашками теория глупости с её пятью законами, два из которых он уже испытал на своей шкуре, убеждала, что этим дело не кончится. И прежде всего потому, что против Гребнева, да что там — против здравого смысла играет команда идиотов, дорвавшихся до власти. А это самый опасный тип людей. Уж проще с бандитом договориться, дурак не договороспособен. Но даже если и согласится на что-то, то рано или поздно сорвётся, и устроит маленький

армагеддон. И этот непременно застанет всех врасплох. Всех, а не только Игоря. Точнее, уже застало. И даже сейчас, три недели спустя, и в 2024-м, в котором Гребнев уже побывал, всё было впервые и вновь. Ну кто бы мог подумать, что страна руками своих вождей будет рубить сук, на котором сидит? А она его ещё и пилит. По карманам этих самых вождей распихивая щепки и опилки. Так что к западной теории итальянского историка-экономиста Карло Чиполла, досконально исследовавшего вопрос о природе глупости, есть чисто российская добавка.

По Чиполло, идиот действует без оглядки на личную выгоду, может даже себе во вред. Российские кретины во власти тоже действовали во вред. Стране, народу. Но личную выгоду никогда не забывали.

Наивный итальянец утверждал свою теорию на примерах стран, где власти коррумпированы, а граждане постоянно обходят законы: мол, когда на сцену выходят дураки, они наносят урон, не извлекая выгоды. Блага уничтожаются, общество беднеет.

В России тоже всё так, и заработанное за десятилетия до дорвавшихся до власти идиотов превращается в пепел, хорошо пока не радиоактивный. Вот только верхушка при этом становится куда богаче. Одних только миллиардеров стало больше на два порядка. При этом страна оказалась в самом низу держав третьего мира. И нужно очень-очень много умных людей, чтобы сдерживать активных дураков. Но это задача минимум. Которой уже не обойтись. Да, дураков в России не больше, чем в любой другой стране в процентном отношении. И это, если Гребнев не ошибался, третий закон теории глупости. Вот только с прихвостнями что делать? С детьми идиотов, которые не то что умом — минимальными знаниями не блещут. С оплотом власти опять же — спецслужбами, полицией, судами… При этом весь XX век, начиная с 1917 года, страна

последовательно избавлялась от умных, культурных, образованных людей. И ни одна страна мира не навредила русской культуре больше, чем сама Россия. Руками своих вождей. И их подручных.

Если всё это отребье не убрать, не подчистить, вплоть до ампутации окончательно разложившихся органов государственного организма, страну не излечить. Упустила она свой шанс, с избранием монстра упустила, до прихода которого во власть всё можно было устроить иначе.

Или нельзя?

Уставший от многотрудного дня, от потерь и потрясений, организм Гребнева, задавшись очередным вопросом, внезапно отключился. Словно лампочка в мозгу перегорела. В лучшем случае тумблер щёлкнул, выключая свет.

Игорь даже спинку сиденья откинуть не успел, так и провалился в сон, сидя за рулём…

5

«Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель — царь, а царь — коронованный полицейский надзиратель… Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, что и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — это целый особый мир покорный воле, произволению, фантазии одного человека, — именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях он одинаков, это — олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и в направлении порабощения других народов».

Из полусна, полузабытья Игорь вышел рывком. Словно из тёплой постели провалился в прорубь. С головой. И ледяная вода мгновенно привела его в чувство.

Встрепенувшись, подобно собаке, отряхивающейся от воды, он выпрямился и сел, тупо уставясь в ветровое стекло.

Впереди была чернота ночи.

Игоря трясло. То ли от холода, то ли ещё по какой причине. Заболел, к примеру. Что было недалеко от истины. Потому что щёки пылали огнём, а тело била мелкая дрожь. И дафлкот, которым он укрылся, но не помнил, когда, не помогал.

«Надо бы завести мотор, прогреть машину», — мелькнула мысль.

Но дрожащая рука долго не могла нащупать ключ, а после — повернуть. Вот только когда он и провернулся, ничего не произошло. Зато в мареве путающихся мыслей отчётливо всплыла цитата. Где и когда он её, как бациллу свободомыслия, подхватил? Это не отложилось в сознании. Помнил только, что это Герцен. Которого разбудили декабристы, а уже он ударил в колокол. В переносном, конечно, смысле, так назывался издаваемый им журнал. Интерес к которому в обществе, издревле бывшем скорее тюремной камерой, нежели собранием интеллектуалов, быстро иссяк. Сам же Герцен был далеко не революционный прагматик, а скорее любвеобильный романтик. Мечущийся от республиканских идей до социалистических. Что не мешало ему простить измену жены, родившей от его друга, и зачать с ней совместных детей после того, как большинство родившихся прежде были потеряны. Потом жениться на супруге давнего приятеля Огарёва, и с ней тоже завести детей. Отчего его потомство во многих поколениях расселилось по Европе в США. Да и в Отечестве кто-то остался. Но бунтарей, пусть и тихих, не вышедших

на баррикады, а хотя бы в мыслях бунтующих, в роду более не было. Зато сам родоначальник вырвался из застенков родины. Указав путь исхода. Не забытый и досель.

Кстати, именно с Герцена начались гонения не только на инакомыслящих, но и на их родных. Грубо говоря, был он едва ли не самым первым иноагентом. У которого не только изъяли всё имущество и наложили запрет на упоминание его имени, эдакий Навальный XIX века, но и отняли имение матери. А сам он при этом одним из первых заявил, что «запад сгнил, и в его обветшавшие формы не влить уже новой жизни». После о том, что Запад гниёт, кто только не говорил. И все предрекали его скорую погибель. Но детей своих и внуков отправляли именно туда, чтобы уж наверняка «сгнили». Да только Запад всё ещё живее всех живых. При всём при том, что далеко не всё там хорошо, чтоб без разбору переносить на родные нивы и поля.

Отвлёкшись на крамольные мысли, Гребнев на время забыл о бившей его дрожи. Герцен хоть и не попал покуда под запрет, но кто его знает, может, пока Игорь спал всё изменилось, и нечего искушать судьбу. Он и без того в бегах, на него в который раз покушались, и убили последнюю его надежду и опору. Что простить себе он вряд ли сможет.

Впрочем, и о других потерях он мог бы сказать так же. Да только жил он и после них, и не тужил. Такова уж природа людей. Терять. Сожалеть о потерях. Проклинать себя и каяться. Чтобы потом опять находить. Кого-то иного. Кто поддержит, протянет руку помощи. И всё повторится сначала.

Но прежде нужно было закончить начатое.

Игорь вновь провернул ключ.

Ни звука.

Аккумулятор сдох?

Он пощёлкал тумблерами и переключателями.

Нигде не мигнула ни одна лампочка.

А холод брал за душу всё сильнее и сильнее.

Схватив дафлкот, Гребнев распахнул дверцу и едва ли не выпал из машины — рядом с ней оказалась глубокая канава. То ли след большого автомобиля, застывший в высохшей грязи, то ли заброшенный ров для прокладки кабеля.

Игорь вынужден был сделать широкий шаг, чтоб не сверзнуться в борозду, оставленную, судя по всему, очень давно. И как он, свернув сюда с дороги, не угодил в эту западню машиной? Переворота на крышу было бы не избежать. На том бы его вояж и закончился. Но сейчас под его водолазку попытался проникнуть ледяной ветер, влажный, бесцеремонный. Как врач-патологоанатом, которому всё равно кто под его ножом: мужчина, женщина, ребёнок… Для него все в одном статусе — труп.

Игорь трупом ещё не был. Но если не согреется в ближайшее время, то недолго ему оставаться в живых. И что уж там потом в его теле найдёт последний из эскулапов? Возраст-то хотя бы сможет правильно определить?

Натягивая дафлкот, Гребнев непроизвольно стал пританцовывать на месте. Из-за того, что вместе с ним приплясывал и окружающий пейзаж, да ещё и тонущий в ночном мареве, он долго не мог понять, что не так в этой картинке.

Ладно канава, её он мог и не разглядеть. Окружающие место его стоянки полуразрушенные строения? Так он вроде как специально ради них, скрывающих машину от дороги, и свернул здесь.

Он выдохнул облачко пара. И сквозь него разглядел то, что заставило его задуматься о неестественности окружающего пейзажа.

Свечение. Вот что было не так.

Морозный воздух светился тысячей тысяч светлячков. Которых не могло быть в такой холод. Но каждая травинка, каждая торчащая из земли жестянка или палка, да что там — всё, что хоть малость выступало над плоской, насколько в темноте мог видеть глаз, поляной, очерченной обломками чего-то более массивного, что не разрушилось до состояния трухи, светилось. Светилось призрачным голубовато-зелёным светом, таким же холодным, как и воздух вокруг.

Что-то это напомнило Гребневу, но что? Однако, даже ещё не вспомнив, внутренний голос внезапно возопил, что из этого места нужно убираться. Незамедлительно. Хотя и не указав куда. А это был главный вопрос. После того, что делать с машиной.

Но на этот вопрос он получил ответ, едва оглянулся на тоже подсвеченный мертвенным свечением остов «Шкоды».

Именно остов, а не машина. Которая всего несколько часов тому назад позволила Гребневу оторваться, как он наделся, от слежки и хвоста. И теперь этот остов и был тем, что оказалось весьма необычным в пейзаже. И таких скелетов машин вокруг было целое кладбище.

С ними-то ладно, их он мог не разглядеть, останавливаясь. Но как машина, на которой он приехал едва ли не из центра города — вокзал Игорь считал пупом, от которого вились жилы городских улиц, оказалась убитой напрочь? За одну ночь? Которая к тому ж ещё и не закончилась…

Этому у него не было объяснений, но был голос. Не свыше, а откуда-то из глубин сознания. И голос уже надрывался в истошном крике: «Беги отсюда!».

Бежать он не мог. Несмотря на подсветку, дорогу под ногами было почти невозможно разглядеть. А едва он ускорился, как тут же подвернул ногу. Хорошо, что самую

малость — успел остановиться, перенести вес на другую. Не то бы, как минимум, заполучил вывих. Если не перелом.

И всё же, пусть медленно, но Гребнев выбрался из кратера — это определение пришло ему на ум, едва он переступил незримую черту, отделявшую место, где он спал в машине, от остальной части города, их которого пытался бежать, спасаясь от смерти. Как до того бежал из Москвы.

Впрочем, черта была не такая уж и незримая. А сходство и сравнение с кратером — не только уместно, но и жизненно.

Переступая по битым, крошащимся под ногами кирпичам, Игорь взобрался на небольшой гребень из хлама, который-то и был той самой чертой, что отделяла почти идеально круглую поляну от прочего мира. Но увидел он это только поднявшись на метр-полтора выше дна кратера. И благодаря вышедшей из-за облаков луне.

На сколько мог охватить взгляд, перед ним расстилался не мусорный полигон, как он сразу подумал, заметив первые искорёженные железяки и горы битого кирпича.

Это была гигантская кальдера. Которой в равнинном Ярославле быть не могло. Откуда здесь, в границах города горы и следы их тектонических сдвигов? Так что Игорь вернулся к первоначальному определению. Кратер. Который мог быть не только у вулкана. Которого здесь быть не могло. Как и кальдеры. А вот кратер мог быть и результатом взрыва. Но такой огромный…

Познания Гребнева о ходе идущей войны ограничивались почерпнутыми из визита в 2024 год редкими сообщениями о налётах украинских БПЛА на предприятия нефтегазового комплекса России. Работающего на войну, само собой. Но даже если здесь и рвануло несколько цистерн с горючим, такой ямы всё равно не было бы. Да и

сообщений о таком взрыве не было, он бы вспомнил. Ярославль долгое время оставался недосягаем для боевых действий, хотя и сбивали над нефтезаводом какие-то летательные аппараты. Ну так на то и училище ПВО в городе.

Обведя взглядом стенки образовавшегося кратера, а он был явно новенький, на противоположном конце, где на горизонте виднелась водная гладь, что-то ещё курилось, Гребнев увидел то, что должен был разглядеть сразу. Но слона-то он и не приметил. Хотя именно там и въехал в эту яму. Да и не было другого пути. Дорога именно там обрывалась вздыбленными кусками асфальта, это он точно помнил, пришлось объезжать рытвины, прежде чем встать на постой.

Дорога-то обрывалась, но сбоку от неё высилась громада оторванного стабилизатора самолёта. Это вам не хвостовое оперение птички-БПЛА. Там самих беспилотников можно было разместить с дюжину, если не больше.

Эту свалившуюся с неба громаду он накануне принял за полуразрушенный дом. Который и должен был скрыть его от взглядов с дороги. Дом там тоже был. Только разрушенный до основания. Из его обломков, как из обломков и других домов, как раз и выросли стенки кратера. Ну, и ещё из вывороченной взрывом земли. Авиакатастрофа? Ну так единственный самолёт, что здесь падал, рухнул вроде как в реку. И было это давно. Неужто пока спал, он вновь провалился в прошлое? Когда там разбился ярославский хоккейный «Локомотив»? Если это последствия того крушения…

Опять же вряд ли. Самолёт с погибшими хоккеистами был о трёх двигателях, причём третий менял очертания киля, будучи его основанием. К тому ж венчали киль у Як-42 горизонтальные рули. А взору Гребнева предстал немного покорёженный и покосившийся хвост без признаков турбин и подруливающих по высоте

крылышек. Да и высотой он был с трёхэтажный дом, если не больше. В отличие от скромного среднемагистрального Яка. Который, как шутили новоявленные горожане на курсе Гребнева в училище, был чуть выше сельсовета.

Ну и самое главное. Река.

Её было видно за пределами кратера. А единственная уцелевшая часть Яка с хоккеистами упала именно в реку. За счёт чего и не сгорела полностью в отличие от остального самолёта. Но хвост-то торчал из земли! По которой, впритирочку к нему, Игорь накануне и проехал. Проехал, и не заметил. Ни хвост, ни звёзды на нём. Совсем не такие, как на светлеющем небосклоне. На пассажирском Яке-то звёзд и вовсе не должно было быть.

Дымок, курящийся на краю кратера, оставшегося от встречи самолёта с землёй, наводил на мысль о недавней катастрофе военного самолёта. Судя по размерам — ракетоносца. Что в условиях ведущейся не-войны удивительным не было. Из своего визита в 2024 год Игорь вынес, что потери у российской авиации немалые. При всём при том, что в воздухе у них нет противников. Сами падают чаще, чем их бьют на аэродромах. Или при попытке войти в воздушное пространство, где работает ПВО. Случай из этого же ряда? Так он же буквально утром накануне поездки рылся в интернете, ни о чём таком не сообщалось. А тут — падение в городе, такое точно не скроешь, даже если это промзона, и пострадавших нет. Время не то — интернет всё видит. Не всё правильно интерпретирует, но видит — всё. И это уж дело пользователя — делать правильные выводы из предоставленной информации.

Но раз тут нет работ по разбору завалов, и вообще только какой-то одинокий дымок над всей разрухой, то всё случилось уж несколько дней как. Марина, царствие ей небесное, вспомнил Гребнев о погибшей по его вине женщине, ни о чём таком не обмолвилась. Хотя и живо

интересовалась ситуацией на фронтах. Которые были не фронтами, а линиями боевого соприкосновения. Жертва которого, скорее всего Ту-95, насколько мог судить Игорь по своим скудным авиационным познаниям, лежала, зарывшись в землю по самый киль, без малого за тыщу вёрст от мест боёв. И Марина, только утром, на первой электричке махнувшая в столицу, о таком вряд ли могла бы не знать. Даже если закрывала глаза на захватническую суть войны.

Луна, конечно, выхватывала из мрака лунные пейзажи, но на земле. Однако всю картину при таком скудном освещении, пусть и помогали ей звёзды, разглядеть было немыслимо. Окоченевший Гребнев повернулся спиной к кратеру и обозначающей его край громаде киля, закрывавшего едва ли не четверть неба. Но спуститься с образовавшегося по краю воронки гребня не успел.

Перед ним возникло чудище обло и стозевно. Точнее, пучеглазо и хрюкающе.

Луна очень вовремя вышла из-за туч, отразившись в круглых гигантских бельмах под выступающим над ними высоким гладким лысым лбом.

От неожиданности и внезапно пронзившего сердце ужаса Игорь едва не оступился. Но устоял. Как не рухнул на спину — это уже была вторая удача. А тут ещё и спуск придал ему ускорение…

Семеня, как в каком-то то ли еврейском, то ли горском танце, Гребнев в одно мгновение слетел вниз с края взрывной насыпи. Инерция же потащила его ещё дальше. Прямо в пялящиеся на него бельма, отражающие лунный свет.

…А ведь где-то всё идёт хорошо. Только мимо. Вот пусть бы и шло.

У Гребнева мимо не вышло. Он рухнул прямо в объятия пучеглазого чудища.

6

…Сознание возвращалось очень медленно. Где-то на его периферии мелькали зелёные огоньки. И холод. Хотя и давило Игорю на грудь не меньше дюжины одеял. Однако холод всё равно пробирал до костей.

— Где я? — наконец разлепил он губы. Потрескавшиеся, спёкшиеся. Но ещё послушные. Хотя и сам не понял, что сказал. Зато услышал.

Нет, не себя, чей-то жёсткий голос, прокуренный, чуть с хрипотцой.

— Мадам бургомистр, он очнулся.

«И где ж это я очнулся?»

Последнее, что он помнил — своё падение. Прямо в огоньки, освещавшие кратер и отражающиеся в круглых бельмах под зеленоватым капюшоном. Или он таким, болотного цвета, казался из-за всё тех же огоньков? Да и капюшон ли? Ведь вначале Игорь принял его за большую лысую голову. Но какую-то остроконечную. И это уже бессознательное внесло коррективы, заменив лысину капюшоном. Всё-таки более подходящим моменту. Потому как откуда взяться инопланетянину где-то на окраине Ярославля? Вот только Ярославль ли это?

Сомнений в том, куда он приехал с Мариной, принявшей предназначавшуюся ему пулю, сомнений не было. Ну так это было уже давным-давно. Вначале он спал в угнанной машине погибшей женщины, потом пытался выбраться из какого-то кратера, в котором незнамо как оказался, пусть потом и почти разобрался, хотя и окоченел при этом. А после было чудище. На которое он просто сверзился. И — провал. Причём, провал во всех смыслах.

О том, что было дальше, Игорь не помнил вообще. А теперь ещё и не мог понять, где оказался.

По глазам безжалостно полоснул неяркий свет. Знакомо так. По-казански. Лампочка неведомо где, да и

горит едва вполнакала. Из своих сорока ватт. Но и это вызвало нешуточную резь в глазах. Гребнев хотел протереть их, словно песком засыпанные, но руки не повиновались. Если не сказать хуже. Сравнение с казанской психушкой всплыло, видать, неспроста.

Игорь прислушался к себе.

Он лежал на спине. Голый. Что уже делало его беззащитным перед любой угрозой. Так ведь ещё и руки…

Его руки и ноги были пусть и не сильно, но притянуты к стальному остову кровати, за края которого из последних сил цеплялась скрипучая сетка, прогибающаяся под тяжестью его тела. И уже поэтому его вопрос, пусть и адресованный в никуда, был очень своевременным. Для дальнейшего понимания происходящего. В котором ещё и какая-то мадам объявилась. Да ещё и бургомистр.

— Он говорить может? — раздался над ним высокий женский голос, срывающийся на фальцет.

«Могла бы и у меня спросить», — подумал Игорь, но промолчал. Ответив сам себе на заданный вопрос.

Не могла.

Боги не снисходят к разговорам со смертными. Властители общаются с подданными через доверенных слуг. И никогда напрямую.

Губы хоть и шевелились, но говорить он почему-то не мог.

— Да, мадам. Сейчас смочим ему губы. И дадим попить. По всем данным, внутренние органы у него не повреждены. Да и тело почти не набрало радиации, так, самую малость…

— Надо же, вылез из самого эпицентра, и хоть бы хны, — то ли недовольно, то ли восхищённо пропищала мадам бургомистр. Если это была она.

Гребнев пока вообще никого не видел. Хотя глаза и были приоткрыты. По крайней мере, свет он улавливал.

Но тут ему стало не до света.

В губы ткнулось что-то мокрое и холодное, со стальным привкусом.

Игорь хотел выплюнуть, но на язык упали первые молекулы воды. И он жадно впился в то, что ему подсунули. Как уже было недавно. Где? В больнице. Имени Куйбышева. Там, где он ударил санитарочку. Александру, вроде как. Но как и там, здесь ему сунули в губы напитанный влагой ватный диск на кончике пинцета. Вон как зубы лязгнули о металл. И вода мгновенно иссякла, стоило ему затянуться. Как заядлому курильщику после долгой паузы между выкуренными сигаретами. Точно так ротный Гребнева выкуривал свою первую за день сигарету — одной затяжкой. Он и после мог так затянуться. Но первая затяжка непременно была ровно одна на сигарету. Без разницы, какую. С фильтром, без, импортную или примитивную, вызывающие рвотные позывы, ту же «Приму», например. С тех пор, правда, миновали десятилетия, уже и ротного не было в живых, и Гребнев после нескольких неудачных попыток давно бросил курить. Но инстинкты остались. И он вновь прильнул губами к влажному тампону, высасывая из него всё, до самой распоследней капли.

— Ну, ну, только пинцет мне не сломайте, — послышался второй, голос. Прокуренный, значит, скорее первый. И тампон с влагой исчез.

— Вы можете говорить? — а вот и второй голос. Властный. Хоть и какой-то истошно-надрывный. Можно даже сказать, болезненно истошный и столь же надрывный.

Теперь, вопреки его умозаключениям, вопрос уже адресовался Гребневу. И он, покорившись невидимой властной силе, вздохнул и открыл глаза. Во всю ширь.

Света особо не прибавилось. Но он всё ж разглядел две фигуры. По обе стороны кровати. Пружины которой сквозь тонюсенький матрас давно, судя по всему, отдавили ему все бока. Точнее, спину — на бок он пока никак не мог перевернуться. А очень хотелось. Уж очень зудела, да что там — ныла от боли спина. Из-за пролежней? Сколько же он лежит в такой позе? Да ещё и голый на пружинах…

— Попробую, — не совсем уверенно прошелестел вновь высохшими губами Гребнев. Тем самым дав понять, что всё-таки может. Говорить. Но что ему говорить? Ведь он не знает где оказался. И кто эта мадам, задающая вопросы. На которые придётся отвечать. А всякое неверное слово может стоить ему жизни.

— И что же вас понесло в запретную зону? Вы старатель? Или вы там и находились всё это время?

«Какое время?», — хотел спросить Гребнев, и не осилил. Да и у мадам на последнем слове голос сорвался, и она его почти пропищала. Ещё и наклонилась над Игорем. И он наконец увидел её. Хотя и не успел за тот короткий миг, что она была на расстоянии вытянутой руки, хорошенько её разглядеть в мерцающем свете. То ли свечи, то ли керосиновой лампы — это явно не был свет лампочки, пусть и такой же слабой, как в казанской психушке. Зато он отметил копну иссиня-чёрных волос, весьма вероятно крашеных, судя по белёсым корням. Такие же чёрные брови, широкие, почти сросшиеся на переносице, перечёркивали лоб едва ли не сплошной линией. Ни дать, ни взять —эскиз, подмалёвок для будущего портрета маслом. Но и деталей было хоть отбавляй. Та же россыпь пор, обильно забитых пудрой или крем-тоником, на круглом, словно луна, лице, с маленьким подбородком и сжатыми губами невыразительного рта. Он бы вообще был

неприметен, если бы не тёмная, как и брови, полоска усиков под носом, увесистым и таким же пористым, как щёки.

«И это она бургомистр? Чего и где? — подивился Гребнев. — Как же она правит? Городом или чем там. Никакой тебе властности…»

— Старатель чего? — хрипло переспросил Игорь, не поняв вопроса.

— Ну, или этот, как его…

— Сталкер, — подсказала вторая дама, на которую он не сразу взглянул, отдав предпочтение более властной. Да и другая причина была. Вторая женщина у его кровати была дородная, но при этом какая-то неприметная, серая, как мышь. При такой-то массе… Биг-маус. Но, видать, врачующий. Ведь мышь была в белом халате. Но знала, оказывается, не только медицинские термины. И всё ж была крайне невзрачной, расплывчатой, с неясным контуром в дрожащем свете.

Скосив глаза, Гребнев внимательнее взглянул на мышонка-переростка, перекатывая во рту, как леденец, сказанное ею слово.

Сталкер. Что-то знакомое. Ах, да, кино, Тарковский, Кайдановский…

Фильм он не помнил. Но книгу, по которой был написан сценарий, знал. И тут же в эти воспоминания, забивая напрочь давно прочитанный роман, вклинились картинки из недавнего прошлого. Правда, Гребнев не мог сказать, насколько недавнего. Потому что с момента встречи с пучеглазым не помнил абсолютно ничего. А эта встреча была…

Когда же она была?

Да ладно встреча! Сталкер-то причём?

Но именно он и напомнил Игорю картину ночи. Со светлячками во тьме. Внутри кратера.

Неужто там пришельцы приземлялись? И зона отчуждения как в фильме и книге. Оттуда же и свечение. И пучеглазый урод…

— Вот, вот, — пискнула бургомистр, когда Гребнев, похоже, что-то такое сказал не про себя, а вслух. — Что вас туда понесло? Зачем? Не в смысле почему, а именно за чем?

— Не туда. Оттуда, — проскрипел с песком на зубах Игорь. Чем несказанно удивил обеих дам.

— Как оттуда? И сколько же вы там пробыли?

— Понятия не имею, — качнул головой из стороны в сторону Гребнев, не отрываясь от комковатой подушки. Что-что, а больничные подушки ничуть не менялись, куда бы он ни попадал. — Какой сегодня день?

Он бы и сам узнал, только добраться бы до интернета. Но вряд ли он есть в этой убогой больничке. Глаза уже привыкли к сумраку, и Гребнев разглядел окно, до половины закрашенное белой краской и крест-накрест перечёркнутое бумажной лентой, дверь, покосившуюся и оттого неплотно закрывающуюся, отклеившиеся обои… Или это слоями висит краска? Вроде как обои нельзя в больницах клеить…

— День? — переспросила мадам бургомистр. — Сейчас ночь. Ночь бесноватых.

Шестерёнки в мозгу Гребнева дрогнули и пришли в движение. Со скрипом, стенаниями всего организма, отдававшего все силы на вращение приводных ремней головного мозга. Всё потому, что не сходилось что-то в его рассуждениях.

Если дама на западный манер бургомистр, чего в России быть не может, то оставшийся от пришельцев кратер мог забросить его куда угодно. Если это он так с ним поступил. Пусть и говорят с ним тётки по-русски. Но другого объяснения Игорь пока не видел. И уже не

сомневался, что из реальности, где погибла Марина, его опять куда-то унесло. Как, почему — не по адресу вопросы. Унесло, и точка. Не только во времени. Однако бургомистр западного городка вряд ли бы назвал День всех святых ночью бесноватых. А именно на это указывали слова дамы. Ну, или Игорю так почудилось. Чтоб уж зацепиться хоть за что-то. Так-то выходило, что он очнулся 31 октября. Неведомого года. В неизвестном городке. Где бургомистром работает дама. Или служит?

— Хорошо, ночь, — после короткой паузы согласился Гребнев. И осторожно добавил: — Но… Не сочтите меня за сумасшедшего… Не знаю, сколько я тут провалялся… Всё спуталось в голове. И бог с ними, с деталями. Год-то сейчас какой?

И он жалостливо, насколько сумел, взглянул выше усиков, фокусируя взгляд на сливе носа. Хотя нет. И цветом в сливу нос не вышел, и кожа вся в рытвинах пор. Какая уж тут слива с её гладкой кожицей. Скорее тыква, пусть и маленькая. Но в честь праздника сойдёт. Если сегодня действительно Хеллоуин.

Дама бургомистр хмыкнула, мышь-переросток отвела взгляд.

— И откуда ж ты такой будешь? Московит? — пропустила мимо ушей вопрос мадам.

— Не без этого, — осторожно не то согласился, не то опроверг предположение бургомистра Игорь: — Кто ж не бывал в столице…

— Я же говорила! — неожиданно взвилась, взмахнув полами халата, врачевательница. — Мы и так дозорного потеряли, и лекарств на этого, — пренебрежительно дёрнула она нехилым плечиком, — извели. А он — московит! Хотя это и так было ясно! С самого начала! Кому ж ещё было там быть …

Производимый докторшей, или кто она там была, шум плавно накрыл Гребнева с головой. И он мирно выключился из реальности. Так и не поняв, какая она…

Провалившись в беспамятство, Игорь оказался в счастливом неведении относительно происходящего вокруг него.

7

…— Что там с нашим дозорным?

— Он и так был обречён. Их десяток стоял там третью неделю. Обычно выдерживают максимум две. Так что в любом случае не жилец был. Зато умер счастливым, лыбился беззубым ртом, сопли кровавые размазывал, но всё туда же. Только и повторял: «Сделали мы его!». Покуда мог говорить. А потом глаза закрыл и вытянулся. В струнку. Я уж думала, будет честь отдавать. Но он только слюни напоследок пустил.

— Ираида, можно было и без подробностей обойтись.

— Мадам бургомистр, вы должны знать, куда людей посылаете. И чего им это стоит.

— Я потому и бургомистр, что могу переступить через личное, через сочувствие и сожаление. О ком-то или о чём-то. Блядь, Ираида, я всякий раз полном ахуе, когда мне начинают втюхивать, чего стоит людям исполнять мои решения. Пусть не исполняют, если считают, что я не права. Но ты ж сама сказала: помер дозорный с улыбкой, с чувством исполненного долга. Не просто помер. За родину погиб, за Русь святую, исконную. Скажи ещё, что все мы тут последний хер без соли доедаем, что нет у нас никаких свобод. И жандармское отделение вечно затыкает кляпом рот всем недовольным. Тебе, к примеру.

— Я ничего такого не говорила, мадам бургомистр.

— Но и по делу ни черта не сказала. Что не так с этим московитом? И московит ли он, которого предсказывали?

— Этого я вам сказать не могу — он ли, другой. Я даже не уверена, что он московит. Хоть он и не отрицал. Судя по одежде, не здешний он. Не нашенский. А что с ним… Это и для меня загадка. Вышел он из эпицентра. На своих двоих вышел. Ещё и дозорного, пусть тот и совсем слаб был, не просто помял — кончил, почитай. Голыми руками. А у того был карабин. И укутан он был в комплект химзащиты. Так этот резину порвал. И дозорному новой порции облучения хватило. До самого конца. А этот — живой. У него только одежда слегка фонит. Подчёркиваю — слегка. Хотя дозорный успел сказать, что наблюдал его в зоне с полчаса, не меньше. А там хватает десяти минут, если помните свой эксперимент.

— А говоришь, что ничего такого не говорила. И вот опять… Да если бы я тогда не послала вторую сотню на замер радиации, мы бы все передохли. А так знаем где опасность, и сколько можно огрести. В этих, как его… Бэрах. И погибло-то из сотни всего ничего. Сколько, человек двадцать?

— Если бы. На сегодняшний день из второй сотни двадцать в живых осталось. Но лучше бы уж и они умерли, а не мучились так.

— Ну вот, опять ты за своё, всё тебе людишек жалко. А думать о державе надо. Это земель наших, свободных от оккупантов Московии, осталось всего ничего. Что из того, что там, за Волгой, земли непочатый край? Он — дикий. И помощи ждать от него не приходится. А воюем мы против всего запада. Потакающего московитам. Вместо того, чтоб за всё, по совокупности, отпор дать. Но они на той стороне. Потому как это мы — последний оплот веры.

— Что-то такое я и прежде слышала. От той же Московии. Но вышло это ей боком. А если не думать о людишках, как вы изволили выразиться, то завтра воевать будет некому.

— Всех под ружьё поставим…

— Так и ружей-то уже нет. Была одна надежда, на пророчество. Что придёт он, восставший из пепла. И обрушит Московию. Он пришёл. Если это он. Но что дальше?

Именно в это время Гребнев пошевелил пальцами руки, потом дрогнули веки, придавленные беспамятством. И шевельнулись губы:

— Где я?

Его никто не услышал, но дородная Ираида заметила, что пациент, распластанный на больничной койке и привязанный к ней — на всякий случай — обрывками простыни, подал признаки жизни.

— Мадам бургомистр, он очнулся…

Продлилось его пребывание в сознании не очень долго, и Гребнев после пустого и короткого разговора вновь отключился. А две плотные, упитанные дамы продолжили свой диалог с той же ноты, на которой прервались.

Но и сон Игоря долгим не стал. Точнее, он спать-то продолжил. Вот только не так как-то. Что-то вдавило его в скрипучие пружины, к которым он был привязан. Или кто-то. Сквозь так и не открывшиеся до конца веки он смутно видел тень, возвышающуюся над собой. Эта-то тень и давила, грозя удавить полностью. Не вдавить, он и так был вдавлен до невозможности — а удавить. И надо было что-то делать, немедленно, иначе — смерть. От удушья — с такой тяжестью ему было не продохнуть. Но как и что делать, если руки не просто связаны, а привязаны? И не сбросить с груди тяжесть…

Сознание отказывалось возвращаться в полузадушенное тело. Но зрение и слух работали. Не в полную силу, однако что-то проникало в тоскующий по кислороду мозг.

Прежде всего Гребнев понял, что на грудь ему никто не давит. А тяжесть навалилась чуть ниже. И уже потом, сфокусировав взгляд на сколько это было возможно, он увидел полуразмытое пятно. Так, словно смотрел сквозь очки с гигантским числом диоптрий. В плюс ли, в минус — значения не имело.

Тёмный контур, который он мог наблюдать, распадался на мириады фракталов, расплывался радужными шарами, то маленькими, то огромными, размером с его голову. В ореоле слабенькой свечи это значения не имело — детали даже не угадывались, не то чтоб их рассмотреть. Но в то же время он понял, что не это главное.

Главным были поступательные движения, с которыми навалившаяся на него тень то ослабляла давление, то вновь вжимала Игоря в натужно стенающие пружины. И вместе с этим пришло осознание, что это всё неспроста.

Дремлющее сознание впустило в мозг лишь отголоски наслаждения от этого движения. И Гребнев понял, хотя и не понял как, что он должен был бы получать от этого удовольствие. Но его не было. Половые отношения были. Точнее, с ним в них вступили. И цинично насиловали, пользуясь тем, что он не в силах противиться. Откуда ж удовольствию взяться? Его он не то чтобы не получает, что-то там в мозгу отдавалось, в отделе, ответственном за наслаждения. Но скорее это были отголоски неудобства от провисшей сетки кровати, ничего другого.

В другое время это его возмутило бы. В постельных делах он предпочитал верховодить. Чтоб получать то самое удовольствие, доставляя его. Тут же он был безвольной игрушкой. Словно страпон, с той лишь разницей,

что живой. И то, что им пользовались, было как минимум унизительно. Но он, находясь на границе яви и марева, никак не мог этому противостоять. Будь он в сознании, в состоянии говорить и осознавать себя, мог бы сказать, цинично и зло: раз уж изнасилование неизбежно, расслабься, дурак, и получи хотя бы удовольствие. Вот только расслабиться в его случае могло привести к тому, что всё бы тут же и закончилось. Впрочем, он и так не контролировал процесс. И всё свершалось не только помимо его сознания, но и помимо воли. Которая значения не имела — работал инстинкт. И пока его действие не закончится излиянием, почти болезненным, Игорь был не властен над своим грешным телом. А по нему вверх-вниз, повинуясь желаниям насаженной на него массы — горячей, жадной до удовольствия и безжалостной к тому, кто это удовольствие доставлял, плавно скользило другое тело. Которое Гребнев практически не видел, однако по колебаниям воздуха подсознательно понимал, что над ним болтаются громадные груди, каждая с ведро. Вот только ему было не до их объёма.

Безжалостность, с которой его насиловали, видать, и давала Гребневу возможность временами видеть происходящее — пару раз раскачивающаяся над ним туша очень уж неловко исполнила свои фрикции, и едва не сломала его. Не самого, а только тело. То самое, грешное. И укол этой боли приоткрыл Игорю глаза на происходящее. Да ещё и в мозг капнул: и ты это так и будешь терпеть?

На вопрос он и не подумал отвечать. Он вообще ни о чём не подумал. Просто оставил как зарубку. И продолжил поддаваться насилию. В котором не видел ни насильника, ни самого процесса. Только далёкие, как в ватном тумане ощущения. Вроде и знакомые, но какие-то не такие…

— Ираида, блять, я так и знала…

Движения на миг прервались, но тут же продолжились с удвоенной силой. Сопровождаемые рыком разъярённой львицы:

— Не мешай, дура старая!

И вслед за этим раздался гром выстрела. Оборвавший видения Гребнева. Но чувства, пусть и с опозданием, отметили и второй выстрел. И мозг, даже пребывая в дрёме, задался вопросом.

Кто стрелял?

Он не нашёл тогда ответа. В голове. Зато услышал то, что слышать не должен был.

Дыхание. Тяжёлое, смрадное. С ароматами застарелой пьянки и явной хворью желудка.

— Вот я и добрался до тебя, сучонок…

Это было что-то новое. Хотя голос вроде как знаком. Впрочем, он бы в том не поклялся. Ему и без узнавания стало хорошо. Совсем немного, но куда лучше, чем когда груди Ираиды упали ему на лицо. По крайней мере, стало возможно дышать полной грудью. И приоткрылись глаза. Совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтоб увидеть, как вместо сползающей с его груди головы Ираиды проявляется из морока мужское лицо. Которое, конечно, же было ему незнакомо. Но внушало страх и отвращение. Вроде как и не имевшие для того оснований.

Что-то тяжело ухнуло рядом с ним. По тому, что ему стало совсем уж легко, Гребнев в своём бессознательном пришёл к выводу, что Ираиду стащили с него и сбросили на пол. И где-то за гранью сознания понимая, что ждать от этого чего-то хорошего не стоит, попытался сфокусировать пробуждающееся зрение. Однако вместо этого увидел нечто чёрное, словно раскинувшее свои крыла позади блёклого пятна лица, не сулившего ему добра. Вот только и чёрное вряд ли было добрым знамением.

По крайней мере для склонившегося над Игорем лица, с почти беззвучно двигавшихся губ которого сорвалось:

— Мене…

Но уже в следующий миг, едва Гребнев, сознание которого подхлестнуло уж точно что-то знакомое, прозрел ещё малость, лицо над ним исказилось, сморщилось, налилось кровью. И… пропало. Как перед тем исчезла Ираида. Как так и не вышла из сумрака Белла. А после и вовсе всё померкло.

И только тьма повторяла в самое ухо:

— Мене, мене, текел…

8

— Две издавна враждующих женщины, стремящихся к первенству по части отрицательных характеристик, схлестнулись… Хотя до честной схватки дело и не дошло. У Беллы было преимущество. Не столько в происхождении и близости к властителю губернии. А в пистолете. Из которого она и прострелила голову Ираиде. Осознав, что у той куда более весомое преимущество. Но без пистолета оно оказалось ничто… А так да, молодость… А если бы Ираида ещё и понесла от объявленного героем посланца Москвы… Белле пришлось бы ой как несладко. Она-то этого была лишена. Хотя и могла бы окрутить и героя, будь такое желание. Пусть и стара, и страшна на вид. Да только она и более молодых окучивала. А морщины… Ну что ж, и с ними можно совладать. Но смысл? Бесплодна она была…

Гребнев бесстрастно внимал обтекающему голосу. И ему рисовались картины противостояния, которого он не увидел, хотя и был его участником. Невольным.

Две женщины. Обе страшненькие. Даже не на любителя — найти такого поди попробуй. И дело ведь не

только в том, что обе с избыточным весом. Временами ещё и недалёкого ума. Что, правда, не мешало им двигаться по служебным лестницам. В России это никогда препятствием не было. Порой даже преимуществом оказывалось. А их лестницы, если разобраться, вели на разные этажи и в разных выстроенных структурах власти. Пусть и начинали они вроде как в одном месте — местном медицинском. Но мадам бургомистр, которую в ту пору величали просто Белла, порой добавляя отчество Брониславовна, родилась с серебряной ложкой во рту. Вряд ли она была прекрасной, или хотя бы лучшей, скорее гадкий утёнок. Поэтому некоторые осмеливались звать её Белкой. Хотя и на бельчонка она не тянула. Скорее на смуглого бегемотика с копной чёрных волос. Но папа… Папа у Беллы был пусть и областного масштаба, но медицинским светилом. Задолго до всяких там перестроек фактический собственник даже не клиники — целой больницы. С вытекающими отсюда благами и прочим. Уже в ту пору, едва ли не со второй половины XX века, а родилась Белла в начале пятидесятых, у дочери главного губернского лекаря были гувернантки и персональные преподаватели. Так что по самому факту рождения Белла была далеко впереди. Но и по возрасту. И тут уже она завидовала своей объявившейся куда позже сопернице.

В своё время юной Брониславовне ничто не помешало быстро впорхнуть из родительского гнёздышка замуж, потом ещё раз, после чего она уже не всегда связывала себя узами Гименея, сходясь с очередным кавалером. И несмотря на свою невзрачность, продолжала менять мужчин. Поднимаясь по ним, как по ступеням. Диссертация, должность в облздраве, потом, уже после смерти отца, при демократах, — депутатство, давшее желаемый статус. Которого, за неимением папиного таланта, век бы ей не видать. А после и новые должности пришли. Всё

выше и выше. И только время утекало меж пальцев. А она — всё на вторых ролях. Зав, зам, первый зам… Так бы и шло, если бы не сослали в губернию чем-то провинившегося постельничего самого главного в стране. Его должность, может, и не называлась так. Это уж говоря вновь востребованным эзоповым языком так выходило. Пусть и не для всех доступно. Так и провинившийся не был особо на виду, чтоб о том судачить. Но не было прежде никого ближе к верховному телу, чем он. И вдруг — опала. Правда, примерно через полгода случилось то ли частичное прощение, то ли ужесточение наказания — назначение губернатором в той самой области, где отбывал он ссылку. Без права отказаться от назначения — область-то депрессивная. Ни тебе заработать толком, подворовывая бюджет, ни отличиться. Тут-то Белла и явилась пред очи самого. Сильно пьющего по случаю такого «удачного» поворота карьеры. Для начала вывела из запоя. В процессе затащила в постель. Хотя и была лет на 12 старше. Но исстаралась. Ведь весь свой предыдущий опыт половой жизни она же не на курсах повышения квалификации получила. Вот и выдала свои экзерсисы в постели за часть реабилитационных мероприятий. Потом ввела в курс дел и в местный бомонд. Направляла на первых порах, пока пребывающий в унынии новый губернский начальник плавал кролем в каждой луже. В благодарность за секс — в любое время и в любом месте, по первой прихоти начальника — или за всё по совокупности получила должность сити-менеджера губернского города, ловко подсидев своего тогдашнего непосредственного шефа. А там и завертелись дела, итогом которых стало возведение Беллы в звание бургомистра. Её же то ли избранник, то ли подопечный и вовсе стал самопровозглашённым императором Всея Руси. После того, как раскол прошёл по земле расейской. Но это уже другая история. В которой Ираида

поначалу участия не принимала. Разве что на последнем этапе, сейчас вот, когда пришла нужда, откуда не ждали.

Чего-то такого Игорь и ждал. Но попытка задать вопрос была проигнорирована. В очередной раз. И он вновь переключился на слух.

— Всё, как обычно, началось оттуда, сверху. Когда верховный возжелал жить вечно. Ну, или почти вечно. Тогда-то в области, куда он сослал своего бывшего постельничего, и устроили лабораторию. Тайную. Даже для ближайшего круга. Ведь она исследовала возможности продления жизни.

Гребнев не просто слушал, он дорисовывал в своём воображении картины, которые не всегда были чёткими в рассказе, уже изрядно его утомившем.

…В планах, как позже подозревала Ираида, без которой лаборатория не стала бы местом силы, было в качестве испытуемых использовать заключённых. Ну, или подследственных из изолятора в Коровниках. Не, ну а что, заведение с историей, там только выдающихся деятелей десятки, если не сотни сидело. О простых смертных можно и не вспоминать было. Хотя именно они, как считала Ираида, и должны были обеспечить базу практических испытаний. На людях. Но для начала работали со свиньями. Как наиболее близкими к человеку. За неимением обезьян — их можно было бы завезти, но к тому времени уже был «Крымнаш», а с ним и санкции, не пропускавшие даже менее экзотические поставки. Да ещё «зелёные» на Западе взвились — нельзя издеваться над животными, к тому ж родственными человеку. К тому же в интересах фактического диктатора. Вот и пришлось одну частную свиноферму быстренько перепрофилировать в биолабораторию.

И всё шло хорошо. Правда, неизвестно куда. Потому как Ираида, хоть и трудилась на ферме-лаборатории,

и даже пару каких-то удачных экспериментов поставила на достижение общей цели, обозначенной свыше, однако так и обреталась в убитой однушке на окраине. И со своим лишним весом, равно как и с унылой физиономией серой мыши, не могла рассчитывать не то что на хорошую пару — вообще хоть на кого-то. Но мужика. Хотя бы пусть и завалящего, пусть такого же убогого, как и её жилище. А возраст брал не только своё, но и отнимал то, что Ираида своим считала. Вот только прорыва в испытаниях, как и в жизни Ираиды, всё не было. Тут-то всё и случилось.

Десяток свинок, на которых ставили опыты, велено было отправить в столицу — там тоже бились над решением вопроса бессмертия вождя. Но порядочно отставали от провинции. Да ещё и пронюхали, что на очередном этапе исследований провинциальные подопытные показали изрядный прогресс. Вплоть до полной регенерации повреждённых органов. Правда, только Ираида знала, что эффект хоть и есть, но крайне неустойчив. С большой вероятностью сваливания в последующее разложение ещё живого тела. Ускоренный регресс, так сказать. Что, почему так — не выяснили. И как с этим бороться тоже. Но — приказ есть приказ. И хрюшки отправились в столицу. Вот только не доехали они.

Да что там, даже из города не выехали. На улице с говорящим названием — Тормозное шоссе — «Газель» с хрюшками в специально оборудованном кузове не вписалась в поворот. И не сказать, чтобы крутой. Но скорость… И тормоза…

Водитель гнал, потому что так велено было — срочно доставить. Причину он не выяснял. Знали только Ираида и те, кому положено. И всё из-за неустойчивости выведенного экземпляра. Поэтому и надо было срочно — пока не проявились ретроградные изменения. Поэтому водитель и гнал. Ещё не зная, что у его «Газели» тормозная

жидкость давно просились под замену. Да что там замена, хотя бы чтобы её долили до уровня, обеспечивающего надёжную работу тормозов. Вот он и не вписался в поворот, когда пришло время тормозить.

В том повороте «Газель» лоб в лоб сошлась с «МАНом». Который тоже не придерживался даже обязательных шестидесяти в пределах города. А там и вовсе было ограничение сорок, шоссе-то Тормозное.

Результат был предсказуем. «МАНу» с его массой и скоростью — хоть бы хны. От водителя же «Газели» мало что осталось. Как и от машины. Зато хрюшки выжили. Все. И разбежались. Едва кузов развалился.

Если бы в лаборатории об аварии узнали сразу, да тут же забили тревогу… Но поиски подопытных животных начали только к вечеру. Когда одну свинку уже успели поймать обитатели если не самого городского дна, то его подступов.

Чего Гребнев знать не мог, так того, что вдоль Тормозного шоссе ещё с советских времён жили собственники частных домов. Однако воображение дорисовало картину. Домишки-то там такие были, что далеко не все хрюшки согласились бы в них обитать. Был там и негласный цыганский табор. Ну как табор. Целый квартал, где обитали ромалы, осевшие в самовольно захваченных брошенных и намеченных под снос хибарах. Они-то и поймали первого поросёнка. И когда район оцепили и пришли по следам хрюшки, от подопытной скотины даже копыт не осталось. Впрочем, внутренности, что не пошли в дело, были всё ж обнаружены. И отправлены в лабораторию. Но только утром следующего дня их исследовали. И пришли в ужас. Почившая и съеденная хрюшка несла в себе тот самый ген разрушения, о котором знала Ираида.

К вечеру следующего дня выловили ещё восемь поросят. Трое из них были так же поражены, и уже начали

разлагаться, оставляя за собой след из кровавых ошмёток — их тела разваливались прямо на ходу. По этому следу их и вычислили на берегу Волги, где они предавались купанию в лужах, оставшихся после работы песконамывочной станции. Из этих же луж вода и в великую русскую реку стекала. И разносилась далеко вниз по течению. По следу же разлагающихся свиней шли не только поисковые отряды, тогда ещё без костюмов химзащиты, но и крысы. Вот эти-то и повеселились всласть. И разнесли благую весть… Ой, не весть — заразу они разнесли.

И был ещё один свин, которого так и не нашли. Он-то как раз и мутировал так, как предполагалось, с регенерацией повреждённых органов. Это уже много позже установили. Когда нашли не свина, а употребивших его в пищу алкашей, обитавших весьма вдалеке от места аварии. Именно поэтому и не хватись сразу — палатка изгоев пряталась в бывших заливных лугах, под кронами молодой поросли, вымахавшей уже метра на три в высоту. Ни с дороги, ни с неба не видать. Но наткнулись. Когда один из «синяков», ходивший вечно в струпьях и заживо гниющим, неожиданно объявился под магазином, где отоваривался бормотухой и боярышником в настойке, оказался помолодевшим и на вид вполне здоровым. О чём и брякнула, где не следовало, какая-то из старушек, уже смирившихся с неизбежностью скорой смерти, однако упорно продолжавших бродить по магазинам. Но было то куда позже. И было в том неведомое ещё спасение…

К исходу третьего дня зараза без боя заняла весь правый берег в пределах города. А в отсутствие карантина, о котором заговорили лишь на четвёртый день, начала вырываться и за его пределы. Куда там ковиду — новая напасть была сродни лесному пожару. Первыми вымерли ромалы, вкусившие запретный плод. Подчистую, вымерли, покойников хоронить было некому — вся улица

была мертва. Следом — и соседние три. А к концу недели жертвами мутировавшего гена стали сотни и тысячи жителей правового берега и окрестностей. И этот пал смертей, как лесной пожар, ширился, захватывая город в удушающие объятия. И простираясь дальше, замахнувшись на Москву и соседние области.

Ираида, знавшая о мутациях едва ли не больше прочих, пробилась к губернатору, который от безысходности готовился сжевать свой галстук. И только костюм химзащиты, в который он загодя облачился, помешал ему испробовать дорогой шёлк на вкус. Но, надо отдать бывшему постельничему должное, былая военная выправка позволила ему взять себя в руки и выслушать нависшую над его рабочим столом серую и невзрачную женщину. Которая поначалу и говорила-то не совсем в лад. Да быстро совладала с собой. У него же, слава богу, не возникло к ней влечения. Не то бы личное смешалось со служебным, и всё могло пойти прахом. Но Ираиду это задело. Она-то ведь знала о губернаторских шашнях с Беллой. Более возрастной и не менее страшненькой на вид. И надеялась перехватить бразды правления. Вот только и Белла не была дурой. Понимая, что сдаёт свои позиции как женщина, подложила в постель областному начальнику молодую девицу. Которой сама вертела как хотела. А уже та дёргала губернатора за ниточки. Ну или за иные какие места, благо мужиком в постели можно вертеть и так, и эдак. Главное — не дать прийти в сознание. Вот юная дева и рулила областным начальником. Не сама, а так, как ей было велено.

Поэтому Ираида осталась в пролёте. Однако систему карантинных мероприятий сумела организовать. Точнее, дала такой шанс сделать это губернатору. Которого из столицы уже считай приговорили: тут,

понимаешь, провал за провалом в спецоперации, а он со своим ударом в спину.

Именно тогда, не особо надеясь на сосланного ставленника, где-то на самом верху приняли неожиданное, но, как казалось, радикальное решение. Если не гениальное. Стереть в пыль источник заразы и большую часть прокажённых. Ну, или заражённых. Пусть и лежала вина за появление убийственного гена на Кремле. Косвенно, конечно, но лежала. Ведь, не будь стремления к вечной жизни у одного обезумевшего старца, ничего бы не случилось. Но когда это власть признавала свою вину? Тем более сам верховный, у которого всегда и во всём виноваты были все — от Рюрика до Ленина. И только он был свят и непогрешим.

Так что недрогнувшей рукой он подмахнул подсунутый ему указ: стереть источник заразы за один раз. Стереть, не считаясь с сопутствующими потерями. К тому же эту рукотворную трагедию, удайся она, вполне можно было выдать за происки врага, который упорно не сдавался, хотя и вышли все сроки, отведённые на операцию. Ставшую из специальной самой позорной в истории российской армии. Даже так: всех армий, которые были на службе у России. Потому как армия из контрактной-полупризывной стала наёмной, потом сбродом уголовников, коим свобода была обещана, а после и вовсе неведомо каким сборищем вооружённых бандитов. Более страшным для своих, чем для врагов.

Но… Желание одним выстрелом убить двух зайцев, как всегда, вышло боком. Впрок не пошёл и прежний опыт, со сбитым «Боингом», вину за который валили на кого угодно, но упорно не признавали за собой. Даже когда всё вскрылось, время такое, что всё тайное становится явным. И хотя всё было шито белыми нитками, задуманную операцию было уже не остановить. То ли от страха

мозги помутились у принимавших решение, то ли мозгов там и не было отродясь. Последнее — скорее всего.

Продумывая соответствующий антураж, чтобы потом с любых трибун никто не подкопался к провокации, закулисные кукловоды из администрации кремлёвского карлика вытащили из запасников атомолёт. Существующий в единственном экземпляре. Это было нужно не в последнюю очередь потому, что штатная авиация, ещё не выбитая на аэродромах дальнобойными ракетами и в ходе диверсионных рейдов противника, была наперечёт. И снимать её с плановых полётов ради бомбёжки по своим не входило в планы верховного и его генералов. К тому же по учётным данным атомолёт вроде бы остался на территории, всё ещё контролируемой соседним государством, обречённым на истребление. Обречённым потому, что его жители не пожелали добровольно влиться в возрождаемую империю. Ещё не провозглашённую, но уже воспеваемую.

С учётом, правда, как всегда, вышла промашка. Последний перелёт атомолёта в авиационном мире всё ж зафиксировали — транспондер отключить забыли, и значился он в мировых реестрах там, где и был — на аэродроме под Саратовом. Откуда и отправился в свой первый и последний боевой вылет. Так что провал провокации был обеспечен ещё до её начала. Но на Руси испокон веков если команду дали, то заднего хода уже не бывает. Подумаешь, не удастся свалить на врага преступление. Ну так хоть кузькину мать покажем…

Полёт был первый, потому что прежде из-за высокой радиационной опасности для экипажа атомолёт после испытаний не использовался. А стал последним тоже не по воле случая…

У бывшего постельничего главы всея Руси в рукаве оказался козырь. Не то чтобы о нём в Кремле не знали.

Просто как-то не придавали значения. И, как в сорок первом кремлёвские курсанты ценой собственных жизней остановили гитлеровцев под Москвой, так слушатели местного ракетного училища, пусть и недоучившиеся, показали, что не зря три года ели армейский хлеб.

Первой же ракетой заходивший на цель Ту-95 на атомной тяге и с атомной же бомбочкой в чреве фюзеляжа, был сбит. Вот только сбит уже практически над городом. Тут не промашка вышла. Объективно так сложилось. Ну, прежде всего потому, что системы ПВО были развёрнуты в противоположную сторону, на противника, с которым страна воевала. Воевала, выпрыгивая из собственных штанов, чтобы доказать миру: мол, мы ведём войну с проклятым Западом. Который, как продажную девку, взял на своё обеспечение сопротивляющуюся из последних соседнюю страну. Маленькую, нищую, тоже вороватую, но всё ж ни в чём не виноватую. Из того, в чём её обвиняли. Так-то она, мол, давно бы сдалась, не будь этой помощи. И был бы мир. На наших условиях. А иного мира мы не примем. Потому как мы богоизбраны. И, случись чо, мы в рай, а остальные сдохнут.

Во-вторых, сведения о том, что атомолёт нацелен на город, пришло слишком поздно, и выставить противовоздушный кордон с другой стороны не успели. И то спасибо неведомому доброжелателю, рискнувшему жизнью и звякнувшему по закрытой связи прямо из Кремля бывшему коллеге по службе в покоях верховного, чтоб сообщить о принятом решении, а потом и о взлёте атомолёта.

Мотивы доброжелателя Игорем легко просчитывались. Атомный взрыв в центре Европы вызвал бы ответный удар того самого Запада, с которым якобы шла война. Что бы там говорящие головы МИДа ни вещали с экранов телевизора. То, что войны с Западом нет, и она только в телевизоре и в тупых головах баранов, прильнувших к

нему, как к титьке, мало что меняло. Если грянет взрыв. За которым прилетит в ответ. А ответка штука такая, непредсказуемая…

Губернатор мог теряться в догадках, кто же пришёл ему на помощь, дело хозяйское. И сложное для недалёкого ума холуя. Но Игорь сразу сообразил, что вокруг главковерха, давно выжившего из ума, немало тех, кто устал от его придури и понёс всякого рода немалые потери. Так что губернатор, в его понимании, не стал долго терзаться поиском благодетеля, быстренько решил: спасибо что упредил, бог даст сочтёмся.

Таких, тихо ненавидевших вождя, конечно, вычислив, вычищали из ближайшего окружения, как, видать, и самого губера в своё время. Но полностью искоренить инакомыслие ещё никому из диктаторов не удавалось. Зато желающих вместе с Брутом, буде найдётся такой, взять диктатора в ножи, всегда будет хватать. Пусть и терпят они до последнего. Да только видать пример сосланного в губернаторы бывшего постельничего, которого ещё и атомной дубинкой решили огреть, и стал той последней каплей. Если кто-то, даже рискуя собой, как Штирлиц из рейхсканцелярии, отважился на звонок.

Тем не менее город из родины нулевого пациента эпидемии, её эпицентра, враз стал ещё и эпицентром ядерного взрыва.

Не взаправдашнего, конечно, не то бы от него ничего не осталось. Да и не только от него. А так… Взорвался всего лишь атомный бомбардировщик, врезавшись в землю в черте города в нескольких сотнях метров от уреза воды. Авиакатастрофа. Коими страна и без того была богата. Но… ни атомный движок не сдетонировал, ни бомба. Так что ни тебе ядерного гриба, ни светового излучения с электромагнитным импульсом. Даже особой ударной волны не случилось. Зато взрыв был с вполне

себе изрядной дозой проникающей радиации и значительным радиоактивным заражением местности.

Приглушённо, отравляя всё вокруг, раскололся реактор двигательной установки самолёта и лопнула оболочка бомбы, удерживающая в себе быстрые нейтроны и прочие гамма-излучения. По счастливой случайности обломки атомолёта и частицы ядерного топлива разлетелись по берегу и накрыли именно ту часть городской промзоны, примыкавшей к тому самому частному сектору, где мутировавший ген начал своё стремительное наступление на страну. В общем, почти попали. Хотя смысл… Это никак эпидемию не остановило. Да что там, даже не повлияло на исход борьбы с ней. Жителей, попавших под бомбардировку, что больных, что переживших заражение, оказалось всего ничего. Для искоренения вируса их смерти значения не имели. А мутация, механизм которой до конца так и не понял никто, затихла сама собой. Буквально накануне бомбёжки. Хорошо ещё, что зона поражения от взрыва оказалась не очень большой. Но в центр этой локации по неведению и по неведомому временному разлому как раз и въехал Гребнев. Но это было уже позже.

— Город, после недолгой растерянности, всё же отмобилизовался на борьбу с напастью. Даже с двумя. И выжил. Хотя цену заплатил изрядную. Не без помощи Беллы, которая руководила мероприятиями, планы которых продумывала Ираида. Ираида была мозг, а вот Белла… Она недрогнувшей рукой посылала людей, десятками, если не сотнями, на смерть.

Иначе, видать, и быть не могло, подумал, но оставил мнение при себе Гребнев.

Кто-то же должен был принимать не то что непопулярные — смертельно опасные решения. Разведка местности, охрана очага заражения. Это по ядерной аварии. Ещё больше пришлось работать по ограничению

распространения заразы. Но тут сам ген пришёл на выручку. Сколь опасен он был, столь и неустойчив. Так что, когда взрыв прогремел, и вокруг образовавшейся воронки засновали патрули, главная опасность уже отступила.

— Но пришла другая беда. По городу пошла молва, что из столицы-то было прислано спасение. А не бомба. Герой, что мог всё исправить. И по этому спасителю губернатор шандарахнул ракетой…

Игорь понял, что речь теперь о нём. Или почти о нём. Хотя на самом деле — о проблеме губернатора. Реноме которого нужно было спасать его окружению. Ведь получалось, что он не просто отказался от помощи. А превратил ради своих амбиций треть города в радиоактивную пустыню. Пусть и было это преувеличением. Но глас народа на том настаивал. Тут-то Белла с Ираидой, имея разные цели, впервые неожиданно объединились. Ради общего успеха.

Кто уж первым бросил крамольную мысль, стало не важно, когда её подхватило ближайшее окружение областного наместника. А мысль была предельно проста. И даже без пояснений Гребнев понял её и мог бы сам озвучить.

Враг напал на нас. И надо сплотиться вокруг сильного лидера, не побоявшегося противостоять Кремлю и его рехнувшимся обитателями. И вообще. Враг — он не вовне. Он внутри. Мимикрирует, рядится в своих. А сам мечтает распродать наши земли и богатства недр.

— За примерами далеко ходить не пришлось. Даже кремлевские пропагандисты нет, нет, да и проговаривались, как с Востока, бывшего для города вроде как очень уж и дальним, за бесценок уходили леса и богатства недр. За великую стену уходили. А уж о том, что за продажу нефти с газом ещё и доплачивали, говорили открыто чуть ли не из каждого утюга, будь он хоть трижды

телевизором. И это при том, что в области, считай, что в шаговой доступности от столицы, газ есть далеко не во всех сёлах. О цене его и говорить не приходилось — всё, что не доплатили заморские покупатели, эффективные менеджеры московского властителя выгребали из карманов своих соплеменников…

Игорь это прекрасно знал, его ни в чём не нужно было убеждать. А вот людишек, верующих в богоизбранность и себя, и своего вождя… Но и с этим оказалось просто. Даже не отходя от генеральной линии, на которую кремлевские за минувшие годы, ещё при Гребневе в своём времени, спустили миллиарды, и не только в рублях.

Чтоб не забивать глупые головы новыми парадигмами, кривую лишь слегка подправили. Благо и основа нашлась: и цари, случалось, здесь ныкались, убегая от бед в столице, и мудростью древних город был славен. А что не сходилось… Так не привыкать, в кремлёвской пропаганде было ещё больше нестыковок, и ничего, два десятилетия продержалась, не сдулась. Теперь же был шанс, что даже столько не придётся натягивать сову на глобус. Либо визирь, то бишь главковерх московский ноги протянет. Либо в противостоянии загнётся Русь изначальная, родившаяся в совместных поисках адекватного ответа на попытку ядерного удара по непокорному городу. Но тогда хоть не так обидно будет помирать. А повезёт, так и победят. У Москвы и без них фронт без флангов — от Каспия до Азова, и дальше. И это если не считать поражений во внешней политике, где даже вчерашние друзья готовы ударить в спину.

Так началась война Руси возрождённой, изначальной, как её стали звать, с московитами. Объявленными узурпаторами. Подменившими традиционные ценности свальным грехом и прочими прелюбодеяниями со стяжательством вместе. На свет божий для начала вытащили

фоточки вождя с его любовницами и внебрачными детишками. Досталось и его холуям из думы и правительства с администрацией. Благо такой информации, не на пустом, конечно, месте было хоть отбавляй. В кого ни плюнь — либо педофил, либо гомосексуалист. Даже не скрытый. Однако скрывающий истинное лицо за гонениями на таких же, но не во власти. Следом тяжёлая информационная артиллерия ударила по тайным дачам, резиденциям и заморским счетам обитателей Кремля и Рублёвки. За которые особенно ухватились западные противники Москвы — им-то нужно было компенсировать свои потери в «бескорыстной» помощи соседней стране, несущей колоссальные убытки. Так что этот удар оказался болезненным вдвойне. И свои всё больше Кремль презирали, и за морем денег и вилл с яхтами сидельцев из администрации лишили. Но самым главным оказалось даже не это. А создание коалиции. Той самой Руси изначальной. В которую нежданно-негаданно вошли ближайшие к обиженному Ярославлю соседние области — Вологодская, Ивановская, Костромская... А следом — и более далёкие. Ведь провозглашение пережившего пусть и не очень удачный, но ядерный удар города столицей Руси перерезало Транссиб. И последний ручеек поставок из уже не совсем братского Китая и убогой Кореи окончательно обмелел. А потом и вовсе пересох.

Да, Транссиб можно было обойти по убитым просёлочным дорогам — других не было до войны, а с ней и этих почти не стало. Пока ещё можно было. Но тут одна за другой остальные обиженные Кремлём области стали заявлять о своей приверженности истинным ценностям. К которым Кремль долгие годы сам же их принуждал. Однако внезапно теперь оказался заложником вознесения этих ценностей на щит вновь провозглашённого государства. И ответить ему на это, после атомной бомбардировки

своего же города, было нечем. То, же что Ярославия, Русь изначальная — с новым названием вечно была путаница, в ходу были разные варианты, кому как нравилось — в считанные дни, да пусть даже и месяцы, стала государством, сомнению не подлежало. Особенно после того, как Новгородская, Тверская и даже частично Владимирская области вошли в состав Руси возрождённой.

Москву всё ещё поддерживали южные волости, где скопились её основные вооружённые силы, участвующие в войне против соседней страны. Войне, пожирающей собственные ресурсы и своих людей куда активней, чем шёл прирост территорий. При этом непригодных к жизни ещё на многие годы вперёд. Что никак не вызывало симпатии на всём протяжении от Курска с Белгородом до Владивостока. Но у южных окраин, тех же Ростова с Краснодаром и Таганрогом, не было шанса противостоять вооружённым бандам, именуемым армией. Им и без противостояния доставалось. И от своих, и от соседей. Набравшихся по мере годами продолжавшейся «трёхдневной» войны не только опыта противостоять агрессору, но и научившихся даже бить по его территории. Свои же либо бомбы роняли на пограничные города и сёла, либо насильничали и грабили. Но разруха ширилась в любом случае.

У Владивостока и Сибири к этому времени нашлись свои покровители и местные диктаторы, присягнувшие им. Потому как Русью изначальной, да и вообще никаким русским духом там и прежде почти и не пахло. Зато рядом был Китай. Предлагавший плюшки куда более интересные, чем противостояние с Москвой.

У Ярославии такого шанса не было, и быть не могло: с Западом, пусть и на словах, война, до Китая и лаптем не докинешь. Вот и выживали, как могли. Особенно после того, как следом за атомолётом, меньше чем за два летних месяца прилетело штук пять планирующих бомб,

которые якобы «уронили» летевшие бомбить соседнюю страну носители ударного оружия. Мол, техника устарела, поизносилась. Вот и уронили. Но то были пустые слова. Обычная ложь. Которой и прежде хватало. И всем стало ясно: то предупреждение. Что пощады не будет. Начнут с губернатора, но ответят все поголовно. Как уже однажды было в ярославской истории. Причём, вполне себе недавней. Когда половину города красноармейцы, посланные недрогнувшей ленинской рукой, едва не сравняли с землёй. Мстя ярославцам за убитых грабителей и насильников, движущей силы революции, носивших партийные билеты в карманах атласных шаровар и красные банты на груди. То днём. А ночами пьянствовавшими, насильничавшими, убивавшими ни в чём не повинных горожан… Поэтому, удерживая в памяти ещё и это, возрождающие Русь подхалимы губернатора начать решили от печки, от Ярослава. Не зря ж он был Мудрым. Здесь и затеял Русь. Не на болотах московских, а в лесах ярославских. Потом припомнили и о последующих побегах центральной власти в Александров и иные ярославские ебеня, то бишь Берендеи. А когда начали, остановиться уже не смогли. Тем более пришла поддержка, откуда не ждали.

— Откололся Калининград. И без того отрезанный от материковой России, он, предоставленный сам себе, решил судьбу не искушать. Объявил войну прибалтам и сдался в плен.

Игорь мысленно ухмыльнулся. Вышло, почти как в анекдоте. Даже куда проще. Без объявления войны. Очередной ставленник Кремля, на которого в Москве уже готовилось уголовное дело, назначил в некогда прусской волости референдум. И народным волеизъявлением, но не без губернаторской подсказки, которому грозило пожизненное по совокупности украденного, Калининград принял решение уйти на вольные хлеба. То бишь выйти из

состава России. По праву наций на самоопределение — а что, Ленин обещал. Его ж пока не только не запретили и даже в иноагенты не определили, хотя финансирование как раз было закордонным. Однако же Ильича даже из Мавзолея не вынесли, освобождая место новому мессии…

Оружия в новой свободной области было вдоволь — ведь после трёхдневной войны за Киев, как знал Гребнев из своих рысканий по интернету, оттуда готовились Ригу с Вильнюсом и Таллинном брать. Из Москвы же отщепенцев могли только окликнуть, даже не одёрну, не то чтоб осадить. А жителям вольного града и отвечать было не обязательно — даже обидевшись, через столько границ щупальцам Москвы до них не дотянутся. Хоть и был там намечен коридор для прохода войск. Да только занять его означало действительно начать войну с Западом. Который, конечно, мог и не защитить своих новых союзников. Однако в Кремле рисковать никто не захотел. Имея геморрой под боком — в Ярославле.

А там с каждым днём становилось всё жарче. Москве припекало.

— Губернатор по совету Беллы с подачи Ираиды, разбиравшейся в царской генеалогии не хуже, чем в генах вирусов, после сброса бомб объявил себя самодержцем. Ни много, ни мало — всея Руси. Его бывший босс, за которым он горшки выносил, о том мечтал, но не рискнул. Трусоват был. И прогадал. Ведь кто не рискует, тот… Ну, в общем, понятно…

Так вот значит как Русь изначальная обрела своего государя-императора!

У Игоря зачесалась голова. И немыта, и мысли, если не вши, грызут. Но он продолжил вникать в рассказ. Тем более, что наметился ещё один перелом в повествовании. И в самой истории.

— Новый самодержец мигом организовал освободительный поход «белых одежд» на Московию. И ставку, по примеру истинных военачальников, тут же устроил — в Ростове Великом. На всё про всё и двух месяцев не ушло. И вот она, русская усобица во всей своей красе.

…Но самопровозглашённому самодержцу хотя бы хватило ума (или опять бабы подсказали) не требовать вассальной присяги от глав примкнувших областей. Они-то и присоединились только потому, что Москва подобрала под себя всю кормовую базу их местных олигархов. Впрочем, таковыми они и не были. Так, должности при кормушке заняли, наворовали слегка, особняки построили. Не на Рублёвке, конечно же, в глуши, в провинции. Хотя в общем не бедствовали. Но детей мечтали отправить на Запад. А им кислород-то и перекрыли. Вот они, едва слабину почуяв, и плюнули в сторону Москвы. Лишившей их главного — возможности устроить потомство и передать ему по наследству честно украденное. Из общего всенародного добра.

Воевать особой охоты у обитателей вновь образовавшейся Руси не было. Да никто и не настаивал, понимая, что народ устал от стратегически проигранной «трёхдневной» войны. Заняв позиции за Переславлем, захваченном мародёрами, выпущенными Кремлём по такому случаю из тюрем, новоявленные русичи осыпали московитов отборной бранью на передовой и в газетах, но дальше отдельных мелких стычек дело не шло. Более того, переход в наступление, с неминуемыми жертвами, мог вызвать недовольство у своих и объединение промосковских. К тому ж хоть и обрубили центральное телевидение по всей Руси изначальной, своими силами достойную замену не создали. И народишко без порции лютой пропаганды, неважно за кого, маялся, как наркоман без дозы. Да и заманить в бой без постоянных призывов, против своих же,

было ой как нелегко. Так что война вот уже несколько месяцев была позиционной. Кто первым начнёт, тот и проиграет. Но войско солидное всё ж против московитов собрали. И примкнувшие области свои отряды-дружины прислали. И те добровольцы заморские товары из Китая и Кореи, отправленные для Московии через всю Сибирь, теперь перехватывали. Что-то себе забирали, а чем-то, ради нового единства, с мятежным губернатором делились. С императором, то бишь. Вот только на том всё и притихло. На фронте.

Зато в народе бурлило. Мол, в сбитом самолёте была, была помощь! Герой, что должен был всё исправить. Губернатор же, чтоб стать царём, решил концы в воду. Вот и сбил аэроплан. Так что на новых рекрутов рассчитывать не приходилось. И как бы самому самодержцу плохо не пришлось. При таком-то настрое. И этот бикфордов шнур к мине замедленного действия продолжал тлеть. Чему немало способствовали ограничения, остававшиеся после обуздания вырвавшегося со свинками гена, подогревавшие недовольство…

9

— Ираида потому и пыталась зачать от тебя. Хотя, может просто мужика хотела. Однако, полагаю, всё ж надеялась, что родит героя. От героя родит героя. Который, если этот не смог, пусть не сразу, но вернёт всё в привычное русло. Но и это не вышло. Белла снесла ей голову. До того, как ты успел излить своё семя в её чрево. Хотя если бы и излил… От мёртвых только смертью веет… Как и от Беллы. Получившей своё. Но уже от моих послушников…

Гребнев, покосившись на своего нежданного ментора, смущённо взглянул на низ живота, прикрытого одеялом. Вот так, значит, всё просто. И вошёл в женщину, и

не справился с задачей. Впрочем, кто её ему ставил. Было сплошь насилие, никакой доброй воли. Тем более желания. И с кем? С горой, против которой он был букашкой? Да будь он в сознании, ни в жисть бы не пришло ему возжелать Ираиду.

Впрочем, он помнил её очень смутно. Глядишь бы, и вышло что.

Гребнев прикрыл глаза, чтоб не выдать свои паскудные мысли.

— Мне показалось, что там был кто-то ещё…

— Вот это и странно. Странно и то, что помнишь, хоть и был не в себе. И то странно, что был ещё один человек. Был. — На слове «был» собеседник Игоря сделал ударение. Вроде как давая понять, что того, кто был, уже нет. — Кто-то, кто хотел тебя, сын мой, убить. Ещё и слова какие-то странные шептал. Как доложили мне послушники. Они хорошо умеют слушать. На то они и послушники. Да вот беда, расспросить его не успели. Не то бы он полоснул тебя по горлу. Уже и руку занёс. Не знаешь, кто бы это мог быть?

Игорь, память которого услужливо подсказала слова, что он слышал перед тем, как окончательно отключиться, всё понял. Или, по крайней мере, решил, что понял.

Неведомым образом его нашли. И вновь едва не убили. Люди, открывшие на него охоту, давно, в других временах и реалиях, никак не хотели угомониться. А он не знал, сколько ещё Его величество случай будет на стороне гонимого. Но это не означало, что нужно выкладывать все свои карты перед человеком, скупо роняющим слова, из которых Игорь так и не сложил полную картину. Чего-то не хватало…

Он чувствовал себя крайне неудобно перед этим человеком, то ли спасшим его, то ль пленившим. Тот же,

пухлый болезненной полнотой, говорил медленно. Голосом вкрадчивым, с придыханием. И с частыми паузами. Вроде как ожидая вопросов. Но когда Игорь их задавал, игнорировал напрочь. И продолжал с того места, где остановился. Единственный раз отреагировал, криво ухмыльнувшись, когда Игорь поинтересовался не по теме, а тем, как попал в помещение без окон, в которое, судя по звенящей тишине, не проникали никакие звуки. Кроме монотонного жужжания. И потрескивания фитиля свечи, едва освещавшей то ли бункер, то ли погреб.

Свеча чадила над обычной выкрашенной в тёмно-коричневый цвет прикроватной тумбочкой. То ли армейской, то ли больничной. Стоящей в изголовье кровати, чуть поодаль от табурета, на котором восседал просветитель Игоря. Больше он ничего не мог разглядеть со своего ложа. В больнице, где Гребнев пришёл в себя первый раз, тоже было мало света. Ещё меньше — просто хорошего. Начиная с того, что был он привязан голым к кровати, и едва не изнасилован. Хотя почему едва… Ему было приятнее вспомнить даже нудный бубнёж двух бабёнок сомнительной красы, чем признаться в своём посрамлении на том самом больничном ложе, к которому был привязан. На поругание, как оказалось. Однако там, даже не выглянув в окно, за которым была ночь, он понимал, что в палату хоть изредка, но заглядывает солнце. На новом же месте, с его сыростью и затхлостью, Игорь утратил всякую надежду увидеть небо.

Но было и нечто неплохое. Он был одет. По крайней мере, в нательное бельё. Какая-никакая, а всё ж защита. Для мужского достоинства. Которого его едва не лишили. Или всё ж лишили?

Так и не ответив самому себе, он продолжил искать плюсы в своём новом положении.

Его одежда высилась аккуратной горкой ногах. Разве что верного дафлкота он не наблюдал. Так ему, может, больше и не доведётся выйти на улицу. Особенно после того, как посреди разговора, едва уловив паузу, заявил, что, не будучи никаким героем и в то же время не поддерживая идею монархии в одной отдельно взятой области, он при этом категорически против и московского узурпатора. И видит его вину, личную, во всём происходящем. Хотя, быть может, он и не обо всём знает, но в его вине не сомневается однозначно. Так что служить ему не станет. Но и за самопровозглашённого императора воевать не пойдёт.

Игорь прекрасно отдавал себе отчёт, что подобный каминг-аут может закончиться печально. Пусть и был совершён этот сеанс саморазоблачения в присутствии всегонавсего одного человека. Лысоватого, точнее стриженого под ноль. С гладко выбритым лицом обиженного ребёнка. Сходство с которым усиливало то, что был просветитель Игоря небольшого росточка. Даже если бы он сполз на бетонный пол с табуретки в изголовье кровати Гребнева и вытянулся в полный рост, то так бы и остался недомерком, полурослико́м. Вытянуться в струнку на кривых ножках, обтянутых защитного цвета бриджами, чтоб достать головой хотя бы по плечо Игорю, ему, в любом случае, было не по силам. Сверху приземистую фигуру плотно облегала не то гимнастёрка, не то косоворотка, тоже защитного колера. И никаких тебе выдающихся примет. Таких мужчин в возрасте после пятидесяти пруд пруди. С красными прожилками на мясистом носу, с морщинистым лбом и отвисшими щеками. Но у этого губки — детские. Почти бантиком. Ну да разве это примета, так себе отличие.

— Эти женщины… Спасибо, что просветили… Я и у них спрашивал, да так и не услышал ответа… — Игорь сбился с мысли, потому как внезапно разглядел в

собеседнике нечто женоподобное. Модная по нынешним временам ориентация? Или что иное?

Толстячок пошевелился, облизнул губы. Но глаза его, навыкате, с сеткой лопнувших капилляров, остались безучастны. И Гребнев, наконец, выдал мучивший его вопрос:

— Вы только ничего не подумайте такого. Я в своём уме. Но понять не могу, сколько был без сознания…— попытался он то ли оправдаться, то ли достучаться до своего собеседника.

Вопросов в голове роилось великое множество. Но он решил тоже, как и неведомые ему устроители новой Руси, начать от печки. Чтоб понять, что это за времена такие, в которые он угодил. А уже потом можно будет и раскаиваться в том, что обрёк на смерть вслед за Кирой и Марину, да и вообще многих подвёл, если не убил. Главное же — так и не исполнил то, к чему вечность его подталкивала. Если это она была. И подталкивала именно к тому, чтобы убрать отродье, захватившее власть в его времени. Но испортившее жизнь людям ещё и где-то в иных временах. Или мирах.

Наконец, переведя дух, он, словно в прорубь с головой окунулся, выпалил:

— Какой сейчас год?

— Но не годы ж были вы в беспамятстве, юноша, — вздохнул ментор.

— За юношу благодарствуйте, и всё же…

— Если по новой хронологии, установленной с возвращением к Руси изначальной, с её провозглашения… То семь тысяч пятьсот тридцать третий…

Ошарашенный Гребнев недолго пребывал в состоянии грогги. Математический склад ума и обрывки сведений, почерпнутых из предыдущего воскрешения из полумёртвых, вкупе с долгой лекцией о нынешнем устройстве

Руси, за пару секунд сделали прикидку с переводом многих тысяч лет на знакомый ему счёт. Но памятуя, что в таком исчислении новый год наступал в иное время, у него получался довольно изрядный разброс. И тогда Игорь решил сосредоточиться на дне всех святых. На который вроде как намекала Белла. Если то была она. И если Хэллоуин имела ввиду…

Хеллоуин. Октябрь. И если новый год наступает в марте…

— Две тысячи двадцать четвёртый по прежнему стилю?

— Бери выше, сын мой. Двадцать пятый. Ноябрь. Полнолуние. Так что ты, воин света, воскрес очень вовремя. Да чего уж там, твоё время пришло. Или это мы его приблизили. С божьей помощью…

Последнее Игорю не очень понравилось. Не хватало ещё оказаться в «друзьях» у сумасшедших. А никем иным истово верующие и не могли быть: кто станет в здравом уме рассуждать, что бородатый или иной какой дедушка сидит на облацех и сверху взирает на дело рук своих? Равнодушно так взирает. Насылая то мор, то потоп с войнами. Чтоб потом, в загробной жизни мучить тех, кто не прошёл ниспосланные им испытания. А для того, чтобы избежать их, всего-то и надо исправно бить поклоны, веровать в несусветную глупость, впечатлявшую древних пастухов, и не ссориться с земной властью. Потому как власть, даже самая мерзкая диктатура, она тоже, видите ли, от бога. И тогда будет вам счастье. Но после смерти.

За прожитые годы Гребнев никакой божьей помощи не ощущал. И счастье обретал не по наводке свыше — всего добивался исключительно своим трудом. Он и сейчас не надеялся на божий промысел, полагался только на собственные силы. Которые, судя по всему, восстанавливались. И довольно быстро.

Да и потом, боги-то — самые слабые существа. Их может уничтожить даже малюсенькая капелька здравого смысла. Не говоря уж о науке. Это извести тараканов наука не в силах, а с богами справится запросто. Куда уж им защитить кого-то…

При этом боги ещё и крайне обидчивы. Но обиду, при всём своём могуществе, предпочитают смывать кровью обидчика, которую пускает вполне себе земной суд. По приговору или без оного. И спусковой крючок жмёт вполне себе человеческая рука. Та же, что и пожертвования во имя богов кладёт себе в карман. Или бросает спичку в костёр инквизиции. Так что Гребнев категорически не желал иметь дела с божественными или божескими делами в любом виде.

Вряд ли это божьим промыслом он был выдернут из больничной кровати, чтобы оказаться на не менее скрипучей койке где-то в бункере. Почти как тот, за чьей презренной жизнью он не единожды пускался в прошлое. Разве что условия отличаются разительно. Где-то там, в недрах под Кремлём или ещё где, действительно бункер, непроницаемый и непробиваемый. И в нём выстроены хоромы, в которых Игорь и на земле бывал едва ли. Хотя, случалось, и жил вроде ничего. Но в том-то и дело, что, во-первых, это лишь изредка бывало, а во-вторых, ничего оно и есть ничего. Ничего плохого совсем не то, что ничего хорошего. Наоборот случается, но мало что при этом улучшается.

Сейчас же Гребнев оказался даже не в бункере — в склепе. Похоронен заживо. Пока не под могильной плитой, а только под вытертым до ниток основы синим солдатским одеялом с двумя серыми полосками. Ненавистными даже сейчас. Ведь по ним в курсантские годы нужно было равнять заправленные постели. Как по ниточке.

Гребнева даже передёрнуло при этом воспоминании. Да и вообще ему было холодно. До дрожи. Ноги страшно озябли. Хотя на них, поверх одеяла, как раз и лежала сложенная стопочкой его одежда, которой он не видел в больнице. И которая, если верить долгому рассказу о событиях вокруг ядерной катастрофы, должна была фонить, как чернобыльский саркофаг. Но и ментор сидел рядом без защитного костюма, и Гребнев спокойно разглядывал свои джинсы и шерстяную водолазку. Они пусть немного, но своим весом согревали его ноги сквозь одеяло. И он прислушивался к этому теплу, медленно оживая. В голове же, мешая сосредоточиться, крутилось одно слово.

Бадлон, как назвал связанный женой Игоря свитер питерский гопник Стас. Которого свои же и прикончили. Втянув ещё и Гребнева в обычную бандитскую разборку. Чем помешали вовремя добраться до главного источника всех нынешних бед, изложенных в ходе оборванного на полуслове рассказа, утомительного даже для слушателя. Так и не уяснившего для себя очень многое. Не исключено, что, как и питерская разборка, этот сказ может только ещё больше всё запутать. Там, в Питере, Игоря, похоже, подтолкнули совсем в другую сторону. Что он сразу и не признал, не сообразил. Потому и сбился с истинного пути. И в результате оказался здесь. Вот только где здесь? В больнице было относительно ясно где. Вроде как Ярославль. Теперь, даже зная год, в который его забросило, Гребнев даже предположить не мог, что случилось с той поры и где находится подземелье, в коем он оказался. А его пастырь, проводник по миру минувших событий проигнорировал все вопросы. Поэтому он зашёл с другой стороны.

— Вряд ли это возможно при свечах, — Игорь взглядом указал на тлеющий огарок: — Но всё ж рискну

спросить. А нет ли здесь компьютера? На выход в интернет и вовсе почти не рассчитываю…

— Это бесовское искушение говорит в тебе, сын мой! Забудь, — пухлое лицо на миг исказила лютая злоба. Враз состарившая собеседника. И что-то такое знакомое и неприглядное в нём мелькнуло. Но что, сразу было и не сообразить.

Так что Гребнев на всякий случай не рискнул не то что настаивать, — даже расспрашивать о причинах такого отношения к вполне безобидной просьбе. К тому же, высказанной далеко не явно. И всё ж добавил масла в огонь:

— Не то чтоб я был недоволен вашим экскурсом, просветившим меня относительно не по моей воле пропущенных событий. К тому ж порой постыдных. Но как-то я привык черпать информацию из разных источников. Один колодец хорошо, но много родников всё же лучше. Особенно в пустыне. Тем более информационной. Где у каждого свой вкус...

Уничтожающий взгляд глаз, сузившихся до размеров воробьиных, и при этом сверкающих молниями, был всепоглощающим и сокрушительным ответом.

На миг над двумя обитателями серой и холодной бетонной коробки повисла тишина. Отдававшаяся в ушах гулким эхом. Или то всё ж и был отдалённый гул?

Помещение хоть и не пропускало земных звуков, но Гребнев в возникшей из ниоткуда паузе расслышал торопливый топот где-то там, за невидимой с его кровати дверью, тонувшей в сумраке, едва разорванном светом одинокой свечи. При ней хорошо было слушать долгий и местами занимательный рассказ, дополнявший то, что Игорь никак не мог знать. В этом времени он ещё не бывал, и место совсем не такое, куда его забрасывало прежде. Но хотелось бы знать, что и вокруг происходит.

По совокупности же всё это должно было что-то, да значить.

При этом его не занимало, как он выжил. Принял это как данность. Ну разве что вскользь подумал о своём вневременном статусе, который его и защитил. Как возвращал молодость при переходах в далёкое прошлое. Но дальше-то что?

А дальше приближающийся топот оборвался прямо за невидимой, но обязательно существующей дверью. И после недолгого шушуканья раздался стук:

— Прошу прощения, ваше преосвященство… Жандармы… Уходить надо, владыко!

Просвещавший Игоря мужичок с чем-то женским в обличье смежил веки.

«Так он ещё и преосвященство… — Мысль постучалась, но сменилась другим: — Вот же вляпался!».

То-то ему что-то почудилось в облике собеседника смутно знакомое. И столь же неприятное. Не женское. Поповское. Гладкая кожа, сытая рожа. Да, бороды не хватает. Но и этому должно было быть какое-то объяснение. Как и идущей где-то войне между русичами и московитами. А он соловьём пел этому владыке о немыслимости собственного геройства, чтобы сражаться с московским узурпатором! Типа, в силу непримиримых противоречий.

Гребневу и прежде категорически не хотелось связываться с церковниками. Чего он довольно успешно избегал. Долгие годы. Куда дольше, чем прожил сидевший перед ним священник. И надо же было оказаться именно с ними в одной упряжке… Только крамольная мысль — а где же сутана или как она там у них зовётся, ряса, что ли, обнадёживала, что не всё ещё кончено, и он может ошибаться. Или то наряд для рядовых попов? Перед ним же — владыка! Митрополит? О церковном устройстве в новой Руси его ментор в своём рассказе умолчал. Но епархия-то

и без того есть, и в Ярославле, и в примкнувших к нему городах. И к возглавляющему её обычно обращаются владыка. Ведь он над всеми попами и окармливаемыми ими чадами властвует. Иначе как объяснить такое обращение вестника, доложившего о жандармах. Сложнее по такому размышлению было объяснить только отсутствие бороды. Не католический же он священник! Хотя в области, воюющей с московитами, где-то был и заброшенный костёл, построенный польскими ссыльными после Варшавского восстания. Ещё того, которое XIX века. Ну так с тех пор его могли и восстановить в правах культового сооружения. С соответствующим отправлением служб…

По некоторым фразам Игорь и раньше подозревал церковную принадлежность своего ментора. Но сейчас вопрос к церкви отношения не имел. Или почти не имел, как посмотреть.

Что значит появление жандармов в этой, явно подземной обители? Хорошо это или плохо?

Объяснений Гребнев не дождался.

— Идти со мной, как я подозреваю, ты не желаешь, сын мой, — открыл глаза названный преосвященством. — И для нашего дела герой из тебя точно не получится, сам сказал.

Маленький человечек встал с табурета, потянулся, разминая затёкшее от долгого сидения в неудобной позе тело.

— Что ж, не свезло. Далеко не все наши устремления успехом завершаются…

Он повернулся к Игорю спиной. Дёрнул головой, обращаясь, похоже, к тому, кто принёс дурную весть:

— Приберитесь тут. Только тихо. Не тащить же его силком. Да и зачем.

Игорь, которого и без того бил озноб, понял: пришёл его смертный час.

А нечего было откровенничать…

Забыв о своём наставничестве, недавний ментор, неловко выбрасывая вперёд левую ногу, шагнул туда, куда не доставали свет и взгляд Гребнева. А на его месте появилось обветренное лицо под белой чёлкой, с плотно сжатыми губами и растерянным взглядом.

— А как же божий промысел, владыко? Герой, коего из преисподней, считай, вытащили. Где он вопреки всему выжил. А после уже мы рисковали, его отбивая у официалов…

Вопросы были скорее риторическими. Тем более, что ещё, видать, и не по чину.

Владыка даже не обернулся. Но через плечо бросил:

— Все могут ошибаться. Я — не исключение. Но в любом случае оставлять его жандармам нельзя. Против нас же и вывернут.

И тут же гулко хлопнула металлическая дверь, отрезая шаркающие шаги от вновь заполняющей бункер тишины.

Игорь встретился взглядом с нависшим над кроватью человеком, явно сомневающимся в правильности своих действий, на которые был обречён.

10

«Я умру, только если сам поверю в это».

Внутренний голос взбодрил Гребнева, уже едва ли не рухнувшего обратно в кровать. Но было это уже после короткой схватки, безмолвной и натужной.

Свои действия Игорь не просчитывал. Они были импровизацией чистой воды. Если таковая после ядерного апокалипсиса местного разлива ещё оставалась где-то в окрестностях. А не испарилась в эпицентре, из которого

Гребнев вышел живым. Раз так, то не мог же он умереть в каком-то склепе, не увидев хотя бы напоследок солнце…

Едва за хлопнувшей дверью прошаркали три шага с явным вывертом на одну ногу, а его потенциальный убийца приблизился к койке на расстояние вытянутой руки, как Гребнев с силой толкнул вверх сложенную в ногах одежду, крутанулся в кровати, сматывая под себя и на себя истончившееся за годы службы одеяло, и ударил противника пятками в живот.

Его далеко не белые одежды, взлетев над головой молодого человека, не ожидавшего сопротивления, отвлекли внимание от последовавшего за этим кульбита в кровати и скрытного, из-под одеяла удара в пах. И под дых.

В следующее мгновение Игорь был уже на ногах. И коротко, без замаха ударил своего противника кулаком в лицо. Дальше последовал захват за шею — Гребнев был не просто на шаг впереди. Он уже был позади, за спиной своего врага. И взял его на удушающий приём.

Стоять босиком на бетонном полу было холодно. Но Игоря грела мысль, что это ненадолго. Потому как белокурый юноша, оказавшийся полностью в его власти, очень скоро прекратил даже не пытаться разжать руки, лишившие его воздуха.

То, что враг был молоденьким парнишкой, с белобрысой чёлкой, резко контрастирующей с чёрными одеждами — вот где была сутана или ряса, Гребнев разглядел только после того, как опустил обмякшее тело на пол. Перед этим тоненькая шейка, торчавшая из подшитого белым воротника-стойки, негромко хрустнула, и голова, коснувшись белой чёлкой бетонного пола, безвольно завалилась набок.

«Чёрт бы побрал эти сутаны», — ругнулся Игорь, излишне суетясь из-за холода и пытаясь найти под рясой

или в оной оружие. Или хотя бы карманы, в которых оно могло быть.

Но первой находкой стали ключи, странного вида, ни дать, ни взять — из сказки. Три штуки — старинные, с массивными кольцами головок, с заковыристыми бородками. И один от английского замка, блестящий в свете свечи как новый. Хотя и изрядно потёртый, с грязью, набившейся в бороздки. В другом кармане рясы нашлась коробочка, чуть больше зажигалки «Зиппо». Вот только вместо откидывающейся крышки у неё оказалась поворотная головка с прозрачным пластиком рассеивателя. Едва Гребнев головку повернул, вспыхнул луч света. Фонарик. Он, следом за связкой ключей, полетел на кровать. Может и ему сгодится, если монашек его с собой таскал.

Не без труда добравшись до пояса под свободно ниспадающим облачением, Игорь, наконец-то, нащупал искомое. С другой стороны тела, которое пришлось перевернуть на бок, в кармане брюк нашлась запасная обойма.

Поднеся свою находку к пламени свечи, Гребнев не без труда разобрал на затворной крышке надпись — Glock 34 Gen4. А с чего это вдруг зрение стало подводить? Или его похождения начинают выходить боком? Да ещё и облучение…

Откинувшись на кровать, Игорь сформулировал установку на ближайшее будущее. Ту самую, на которой едва не зациклился.

«Я умру, только если сам поверю в это».

И только после этого подумал: «А ничего себе, здорово попы живут, «Глоками» балуются. Причём, судя по маркировке, новенькими, такие не во всех армиях есть, разве что у спецназа. Тут же обоймы на девятнадцать патронов! А пацан пошёл на меня с голыми руками. Ну да, приказ. Кончить тихо. Но своя голова-то зачем?».

Игоря передёрнуло. Хоть и было это не впервой, но ещё одно убийство радости не добавило. Пусть и было оно во спасение собственной жизни. Но всё ж не воскрешало ни Марину, ни Киру. И вроде как напрасным было. Ведь до главного своего врага он так и не добрался. И теперь был от него как бы не дальше, чем в начале пути.

«Если я и дальше буду так валяться, то умру гораздо раньше, чем поверю в это».

Он встал на подрагивающие ноги, собрал одежду, оделся.

И куда теперь?

Плана как не было, так и не было. Да ещё и какие-то жандармы где-то приближаются. А он с покойником в одном бункере. Тут к гадалке не ходи, всё будет ясно, заявись жандармы сюда. И под сутаной не спрячешься. Ведь не исключено, что именно по души носителей таких облачений охранители и пришли. Только почему жандармы? Полицаи — да, гвардейцы, хоть и не были они никакой гвардией, тоже. Но жандармы…

Гребнев приоткрыл дверь, глянул в щёлочку. Коридор был пуст и черен непроглядной тьмой.

Впрочем, не совсем. Слева мрак не то чтобы рассеивался, но был чуток пожиже, скорее серый, чем чёрный.

Ну если есть император, то почему не быть и жандармам, запоздало отвечая на собственный вопрос, подумал он, и шагнул в коридор. Где-то вдалеке, со стороны более светлого его конца, был слышен приглушённый звук неслабой потасовки — с лязганьем металла, падениями тел и тупыми ударами по сырому мясу. Но то — в кино. Тут же, похоже, били по мясу живому. А после и вовсе один за одним грохнули три выстрела. Черту под которыми подвела автоматная очередь. Короткая. И всё стихло. Кроме голосов. Но были они едва различимы…

Туда мне не надо, подумал Игорь. Но есть ли другой путь, он тоже не знал. И… вернулся в склеп.

Прошёл мимо уже находящегося во власти трупного окоченения тела, бросил на него мимолётный взгляд.

Мальчишка. На фоне истинного возраста Гребнева, так вообще пацан сопливый. Не по-божески это было отнимать такую молодую жизнь. Но всё было по-честному. Не ты, так он. Просто Игорь оказался более удачлив. Или более расчётлив. Хотя скорее сказался опыт. Ведь действовал он без плана, даже без намёков на осознанное решение.

Мысленно Гребнев сравнил случившееся с любимой своей забавой — первым шагнуть под зелёный сигнал пешеходного перехода. Но на знакомых переходах Гребнев, надо честно признаться, хитрил. Он знал, в какой момент произойдёт переключение. Высчитал, наблюдая за другими светофорами на перекрёстке. В драке же всё было по-честному. Как на старте стометровки. Чуть раньше рванёшь — фальстарт. Только цена ему не новый старт или дисквалификация, а жизнь. Сорваться же с места одновременно с выстрелом стартового пистолета — это умение. На уровне искусства. Вот он и оказался быстрее, искуснее своего противника. Слишком уж дословно принявшего к исполнению распоряжение своего владыки. Который тем самым фактически обрёк мальчишку на смерть. Так что особой вины за собой Гребнев не чуял.

Постоял, собираясь с мыслями. Присел перед тумбочкой в изголовье кровати. И задул свечу — как бы пожара не случилось. Хотя что ему было к тому. Но только после этого спокойно вышел за дверь. Где отголоски короткого боя давно стихли. Из-за чего Игорь едва не перепутал направление. Но в конце концов повернул направо и зашагал, стараясь ступать неслышно. Получалось не

очень. Хотя и слышно было его шаги не дальше, чем за исчезнувшим за спиной серым пятном поворота коридора.

Куда-то он его выведет?

11

Воспользоваться фонариком он не рискнул — шёл в темноте, касаясь правой рукой стены. Шершавой, холодной. Местами — влажной.

Он шёл, полностью полагаясь на слух. До которого из-за спины порой доносились смутные голоса или невнятные команды. Но, когда коридор повернул ещё раз направо, пропали и эти звуки. А тьма, словно издеваясь, стала давить на плечи, создавая впечатление, что коридор сужается и становится ниже.

Последнее оказалось не наваждением, а правдой. И Гребнев чиркнул макушкой о какую-то балку, перегораживавшую проход. Было больно, но терпимо. Так вот, значит, для чего нужен был фонарик — мальчонка-то был повыше Игоря, и точно бы приложился носом в этом месте. И это Гребнев ещё шёл на полусогнутых, предполагая нечто подобное. Однако и после этого фонариком он не воспользовался. А ещё больше обратился в слух. За что и был вознаграждён. Шагов через полста.

Впереди кто-то шёл. Удаляясь. Но чтобы понять это, пришлось ещё раз свернуть направо. Как только рука, скользившая по стене, в очередной раз провалилась в пустоту. Тут-то он и услышал.

Шаркающие шаги. Знакомо так шаркающие.

Припадая на одну ногу, впереди кто-то шёл.

Владыка?

Скорее всего, да. Не подался же он туда, где жандармы кому-то почки отбивали.

Гребнев ускорил шаг. Всё ещё таясь и не отпуская стену по правую руку. Поэтому пистолет он держал в левой. Хотя в кого стрелять в такой темноте?

Внезапно к шарканью добавился негромкий стон. Продолжительный. Потом ещё один. Короткий, как всхлип. А после и вовсе всё стихло.

Рука Игоря вновь провалилась в пустоту. Гулкую. Тревожно-чёрную.

Шаг, ещё шаг.

Хорошо ещё, что шёл он не так быстро, как хотелось. Чтобы скорее догнать идущего впереди владыку. Но всё равно, через дюжину семенящих шагов наткнувшись на препятствие, на сей раз не головой, а ногой, Гребнев полетел на пол, выронив оружие. Ему нужны были обе руки, чтоб смягчить падение. Он и без того не понимал, куда падает. Казалось, перед ним земля развезлась. А без хотя бы попытки не разбить в падении лоб, и думать нечего было уцелеть. Так, чтобы тут же вскочить и оказать сопротивление. Если случится нападение.

Но вместо нападения на Игоря обрушился водопад пыли. Или грязи. Следом ударил отдалённый гром, и земля под ногами заходила ходуном. Вторая волна тряски уже подняла грязь и с пола.

Гребнев в темноте не видел взметнувшиеся вихри, но получил ими по полной — ударом в лицо. Ещё до того, как приложился обо что-то мягкое. Что и спасло от больших повреждений. Но сознание на мгновение выключило. После того, как воздушная волна, отражаясь от стен и потолка ударила по ушам. Раз, другой, третий.

Тряска с каждым таким ударом усиливалась, к невнятным звукам добавилось утробное урчание, а после — и едва слышимый плеск воды. Уж не наваждение ли? Он же оглох едва ли не наполовину! Тем более под ногами было пока сухо. Да и лежал Гребнев не на полу, каменном

и холодном, а на чём-то мягком. Или на ком-то. А от стен и потолка продолжали гулко отражаться далёкие удары. И всякий раз эти отражения ударной волной били Игоря по голове и плечам, по рукам, которыми он пытался уцепиться хоть за что-то, лишь бы остановить качку, в которую попал. А после осыпали потревоженной пылью. И, похоже, едва ли не вековой.

В глазах от ударов по ушам и метаний — от стены к стене, порой вспыхивали огоньки. Но они были не в силах разорвать тьму преисподней, в которую угодил Гребнев. Потому что сверкали в голове, а не средь подземного хода, из которого, как казалось, нет и не будет выхода. Если его ещё не завалило, то последующие удары, скорее всего, довершат начатое. И можно не сопротивляться неизбежному.

Застыв в коленно-локтевой позе, он запоздало сообразил, что в кармане есть фонарик. Однако новый грохот, где-то там, наверху, вновь потряс своды подземного хода. И стало не до фонарика. Уже не водопад — селевой поток песка и каменного крошева обрушился ему на голову полностью лишив возможности дышать, забивая пылью рот, нос, уши…

Земля вперемешку с каменной крошкой была холодной, но сухой. Значит, шум воды, если он был, раздавался откуда-то из другого места, и он пока ещё не тонет. Не то было бы смешно, четверть века прослужить в море, а утонуть в подземелье.

Игорь всё ещё искал хорошее во всём плохом, что его настигало. Или он сам туда влезал. Вот и опять вляпался. Да не просто так — по затылку хорошо прилетело осколком кирпича или чем там был облицован подземный ход, который так никуда и не вывел. А ведь Высоцкий обещал, что тоннели выводят на свет, это ж вам не коридор.

Который кончается стенкой. Но не в этот раз. И если не стенка впереди, то тупик уж точно.

Перенеся вес на правую руку, левой Игорь ощупал затылок.

Было больно, но крови не было. Впрочем, он мог и поспешить с выводами. Потому как наверху опять громыхнуло, и с потолка обрушилась новая порция каменной крошки с пылью. К которой добавились и мелкие коренья. Их Гребнев принял за паутину, и усиленно начал отряхиваться. А сверху сыпалось и сыпалось… Пока не затихло. Всё затихло — от отдалённых взрывов до плеска воды и шороха стекающих с потолка мелких камушков вперемежку с землёй.

Хотя нет. Не всё смолкло. Где-то далеко, неведомо как пробиваясь под землю, продолжала завывать сирена. Словно оправдываясь за то, что не успела предупредить вовремя.

Впрочем, не всё ещё, видать, и закончилось. Едва Гребнев попытался сесть и достать фонарик, как ужасающей силы взрыв вновь встряхнул укрывший его подземный ход. Встряхнул до основания, хотя само подземелье и так уже было ниже всяких там оснований.

С потолка потёк уже не сухой песчаный поток, а целая каменная река. Если по затылку Игорю прилетел один кирпич, то теперь, судя по звуку, их упало десятка два. Хорошо ещё, что мимо. Хотя как знать. Это Гребневу не досталось. А вот самортизировавшее его падение нечто мягкое внезапно издало стон. Который перешёл в натужный крик. А уж тот — в скороговорку молитвы.

Слов было не понять. Ударная волна, ещё раз пройдясь по ушам, почти полностью лишила Игоря слуха. Впрочем, он и не вслушивался в молитвенный лепет. И без того догадался, что лежит на своём непрошенном менторе. Да ещё и своим телом прикрывая его от падения

камней. Один из которых, похоже, всё же достал владыку. Ну, что ж, поделом. И нечего его собой прикрывать. Это ж он же велел своему отроку прибраться. Что с того, что отрок не справился? Это не его прокол, а заслуга Гребнева. Он убил? Так ведь вина за смерть мальчишки и на владыке лежит…

Гребнев откатился с тела, на котором лежал, прижался спиной к стене. Холодно. Даже сквозь шерсть водолазки. Дафлкот был бы сейчас куда надёжнее в борьбе с пронизывающим холодом. Который от взрывов никуда не делся. Наоборот, обещал, судя по учебникам, стать только более лютым. Если взрывы не только обрушили часть свода прохода, но и подняли пыль до небес. Она-то, пыль, и закроет потом солнечный свет. А там и до атомной зимы недалеко…

Мысль о возможности такого сценария прошлась морозом по коже. Хотя, казалось бы, куда уж холодней.

Сплюнув попавший в рот песок, Игорь левой повозил вокруг себя по полу в поисках пистолета, правой достал фонарик, повернул головку-дефлектор.

В неверном свете проступили обрушившиеся своды. Благо был обвал чуть впереди, по ходу направления, в котором следовал Игорь. Там теперь свисали какие-то корни и продолжала сочиться каменная крошка, оседая на кучку камней, перегородившую проход. В луче фонарика по подземелью текла пыль — медленно, лениво. Так хорошее вино стекает по хрусталю бокала. И там, где пыль оседала, на полу, Гребнев разглядел, о кого он споткнулся. Хотя и без этого уже не сомневался.

Уткнувшись лицом в согнутые в локтях руки, среди камней и хлама с кореньями, обрушившимися с невысокого свода подземного хода, возлежал владыка. Во весь рост свой малый рост вытянулся. Но так и остался коротышкой.

Где-то по пути к этому своему лежбищу среди камней он набросил на гимнастёрку-косоворотку подобие шинели, но без погон. И Гребнев, подрагивая всем телом от холода, позавидовал ему. Но не посягнул на одёжку. Всё равно не по размеру. К тому ж в свете фонарика тускло блеснул ствол «Глока», и Гребнев потянулся за ним. Выщелкнул обойму, вернул на место, дослал патрон в патронник. Вот теперь и поговорим.

Не вставая, он ногой пнул тело владыки и бросил зло:

— Ну, что, старче, не удалось меня убрать? Чужими руками. А вот тут уже тебе теперь придётся попотеть, прибираясь. Ведь мальчиков-то не осталось поди. Одного я отправил на встречу с богом, остальных жандармы, или кто там был, если не замели, то отправили туда же. Слышать же должен был, как стреляли. Потому и сюда свернул? И тут не прокатило? Что это, кстати, было, как думаешь?

Он, перескочив на иную тему, намеренно тыкал. И чтоб показать кто хозяин положения, и просто не испытывая никакого почтения к владыке. Не говоря уж об угрызениях совести — прежде Игорь себе не позволял так разговаривать с людьми. Даже крайне неприятными. Но тут многое сошлось — от нервного напряжения и холода до взрывов и последовавшей за ними гулкой тишины. Ещё больше оставалось непонятного в случившемся. Да и с чего питать какое-то уважение к человеку, желавшему ему смерти? К тому же владыка скорее всего был моложе Игоря, в настоящем его возрасте. А Гребнев хоть и пытался избавиться от привычки тыкать всем, кто был моложе, никак в том не преуспел. Хотя и корил себя за вопиющую невоспитанность.

Владыка слабо пошевелился, издал нечленораздельный стон.

— Э, э! Только не надо мне мульку гнать, покойника изображая! Только что был живее всех живых. И мёртвым меня мечтал видеть. Потому как я прислуживать не пожелал. Ни тебе, ни твоим дружкам. Что местным, что московским. Последним — тем более…

— А придётся. Выбирать сторону придётся, — наконец-то выдавил из себя нечто внятное владыка. — Это ж как бы не они перешли в наступление. Вон как лупанули! Если даже у нас в двадцати верстах от губернского града всё порушилось.

Круглое лицо повернулось к Гребневу.

В глазах владыки застыл ужас. Который подчеркнул луч света, вырвавшийся откуда-то из-под грузного тела.

Игорь перекатился, встал на колени над владыкой. И выдернул из-под него такой же фонарик, как и тот, что был у него в руке.

Так вот почему это бесовское отродье так спокойно шлёпало по подземелью!

При всей своей нетерпимости к человеку, лежавшему на полу и силившемуся перевернуться, Гребнев пришёл ему на помощь, усадив у стены напротив.

Сирена, заполнявшая возникшую после взрывов паузу, стихла. Точнее, оборвала свой вой на высокой ноте.

— Ну, раз уж мы снова встретились… Может, расскажешь, о чём умолчал?

Гребнев поворотом рассеивателя выключил свой фонарик, сунул его в карман и воззрился на враз постаревшего владыку. Даже в неверном свете лампочки, явно устаревшей, куда там ей было до светодиодов поисковых фонарей, выдающих не просто свет — световой поток, лицо его врага было серым, с ввалившимися щеками и глазами, глубоко утонувшими в тёмных кругах глазниц. Не могло такого быть, что случилось это с ним из-за далёких

взрывов, что-то другое сломало владыку. Неужто морально не вынес удара по городу от того, кому хотел служить вопреки верности дому, месту жительства, малой родине, так сказать?

— Плохо мне, сын мой…

— Ну так и мне не то чтоб хорошо, падре, — Игоря не тронуло это признание. Он и так видел, что владыка не в себе.

— С чего бы это я — падре? — просипел владыка.

— Мог бы задать тебе такой же вопрос: а почему это я сын твой?

— То принятое обращение при наставлении на путь истинный…

— Так я и не сворачивал со своего пути. А падре… Ну какой же ты владыка — без бороды, сутаны и чего там ещё. Камилавки?

— Бороды я лишился по воле господа нашего. Вместе с волосами. Когда вперёд других оказался там, где рухнул посланник президента нашего. Сбитый самозванцем…

— Падре, да ты себе противоречишь. Забыл, что мне рассказывал? Про атомолёт, бомбу в его чреве…

— Так кто ж знал… Кто ж знал, что человек, за здравие которого я молился, так поступит с нами…

— Да плевать ему на вас. На нас. На всех. Его только власть интересует. А как, каким путём она достанется — дело десятое. Вот ты, падре, лучше скажи: ложь — это грех?

Владыка заёрзал на бетонном полу. И сказал совсем не по теме:

— Плохо мне. Потому и упал. Это всё лучевая болезнь. Ираида сказала. И глаза отвела. Чтоб не говорить, что дни мои сочтены. И я не успел…

— Так, падре, пока дни твои не закончились… Давай всё же по порядку. Я привык, чтоб всё было так: раз, два, три… Ну и дальше как получится. А не это вот всё. И не лги. Хотя в списке грехов вы, попы, ложь аккуратно обходите стороной. Потому как иначе вся ваша божественная конструкция рушится.

Напряжение последних минут постепенно отпускало. Но не холод. И Гребнев в очередной раз клацнул зубами.

— Так что начнём от печки. Где мы? Только не говори, что под землёй, это я и так вижу.

— Переход это. От Казанско-Преображенской церкви к моему дому.

— А церковь — на планете Земля. Третьей от Солнца. Которая с другими планетами вращается вокруг него по гелиоцентрической орбите в плоскости эклиптики. Ну, или как-то так. А всё вместе летит сквозь Млечный путь. Куда — неведомо. Даже богу. Потому как сотворить такое ему было не по силам. Законов ещё не было. Притяжения, хотя нет, тяготения. Сохранения энергии… Ну и этого, закона Хаббла. Потому как его самого ещё не было. Не бога — Хаббла. А бога как не было, так и нет.

— Не богохульствуй, сын мой…

— А я чо? Я ничо. Я знать хочу, где оказался. После того, как вы меня похитили. Не скажу, что мне больничка нравилась, но там хоть солнце была надежда увидеть. А здесь — только тлен. Ну и ещё корни. С которых на голову земля сыплется.

— Не похитили тебя. Вывезли.

— А есть разница?

— Ещё какая. Ты ни этим бабам, ни самозванцу и даром не нужен был. Да и сейчас тоже. Хоть это за тобой жандармы, как я подозреваю, нагрянули. Но им нужен был только повод. Чтоб от меня избавиться. Ну а я не дался.

— Так ты поэтому прикончить меня решил? Как бесприданницу: мол, не доставайся ж ты никому…

— Не стану врать, такая была мысль. Хотя и запоздалая. Не боец я уже. Да что там боец — не жилец, если честно. Права была Ираида: лечить меня — только время тратить. Я ж считай в эпицентре стоял…

— И чего вас, падре, туда понесло? — в Гребневе внезапно проснулась какая-то толика уважения к умирающему. Даже в свете фонарика Игорь видел, как пробегают конвульсии по лицу владыки, как судорожно вздымается грудь.

Так вот почему тот спокойно сидел около стопки одежды Гребнева! Терять ему было уже нечего…

Внезапно у Игоря зачесалось всё тело. Это что ж, значит, его одежда, пропитанная радиацией, мало того, что не греет, его же и убивает сейчас? Хорошо ещё, что он забыл признаки раннего проявления воздействия радиации, если таковые были описаны в учебниках. Не то бы с его воображением помер бы раньше аббата или кто он там. Падре. Владыка. Но не он властвует, а радиация. Ведь говорят же, что она — невидимая смерть. Может и не должен был Игорь ничего чувствовать от излучающей невидимую смерть одежды. Но зуд не проходил.

Он повертел шеей в воротнике своего свитера. Словно тот сдавил ему горло.

— Э, падре. Только помирать не спеши. Мы ещё не всё выяснили. Начнём опять сначала. Где мы?

— Романов. Говорит тебе это хоть что-нибудь? — Владыка говорил хрипло, останавливаясь теперь куда чаще, чем во времена своего менторства для единственного слушателя. И единственного же ученика. Не воспринявшего учение.

Не перебивая владыку вопросами, Игорь узнал больше. И по порядку, а не метаясь от одного факта к другому.

Романов — это только половина города. Древнее её название. Вторая половина — Борисов. А в целом — Тутаев. Имечко, конечно, так себе. Как и герой. Но о мёртвых либо ничего… Есть другая тема. Более насущная.

…Настоятель провинциального храма, красивой, с занимательной историей церквушки, Казанско-Преображенской, стоявшей на левом, высоком берегу Волги, он и сам возвысился. Причём, почти мгновенно. Как и пал потом. Ну так и события стремительно развивались, и времени на раскачку, как попугаем повторял московский узурпатор, не было.

Митрополит Ярославский и Ростовский, принявший назначение из рук покорного Москве Синода, не поддержал губернатора в его стремлении стать самодержцем. Вроде умный мужик, и писание, как «Отче наш» знал, а поди ж ты, и войну против соседей поддержал, и гонения на инакомыслие. А ту то ли струсил, то ли двуличный такой был. Но факт тот, что он своей рукой внёс раскол в церковное сообщество, где и без того хватало обид на вышестоящих. И церковная смута не добавляла порядка в области, где по вине московского узурпатора начиналась эпидемия. И было не до личных обид — город и область требовалось спасать срочно.

Тогда новоявленный самодержец, только входивший во вкус власти, поступил подобно Петру. И подмял под себя церковников. Митрополиту указал на дорогу через блокпосты по границам области в сторону Москвы, его сторонников вообще погнал поганой метлой. И возвысил тех, кто видел истинную Русь в её новых пределах. И без диктата Кремля. Из полтораста священников при одиннадцати храмах сто приняли Русь изначальную.

Протоиереи, кормившиеся от благ митрополита, скоропостижно оставили должности. Так что в гору пошли служители, прежде не имевшие шанса на продвижение. А случайно попавший в струю Николай Лодейников, сорока семи лет, вдовец, обычный священник, даже не настоятель, тем более не благочинный, вообще стремительно взмыл ввысь, к вершинам церковной власти. Чем вызвал шёпотки за спиной. И зависть некоторых. Но ничего предосудительного ради такого карьерного роста не совершил. Просто за словом в карман не лез и за спинами других не прятался. Когда будущий самодержец спросил прямо «Кто готов возглавить епархию?», шагнул вперёд. Кто ж знал, что возлагал он на себя не только обязанности перед богом, но и послушание перед самозванцем, царём всея Руси себя возомнившим.

Другое дело, что в Москве сидел такой же, если не хуже. С той лишь разницей, что струсил облачиться в царские одежды, корону себе на голову возложить. Потому что и так имел её. Без всяких формальностей. И Лодейников, взявший в патриаршестве имя Пётр, в память местоблюстителя патриаршего трона, занимавшего должность будучи в тюрьме и убитого при советской власти, поначалу истово служил двум богам. Небесному и земному. Последний был ещё и кормильцем. Так что выбор был очевиден. До того момента, как стал новоявленный владыка неугоден. Потому как много брал на себя. Так что он в какой-то степени повторил путь своего предшественника. Разве что не успел в тюрьму угодить.

Но рисковал, вмешивался всюду, где считал важным сказать слово пастыря. Прежде всего, помимо дел церковных, в ущерб сну и отдыху вникал во все дела служивых, призванных с московитами биться. Наладил в короткий срок их быт и снабжение. За счёт церкви, само собой. Чем вызвал недовольство тех, кто на злате церковном

прежде едал. Этим он просто сказал: не должно нам есть слаще, чем те, кого мы окормляем. Проглотили. Хотя и шептались по углам. Да только предъявить новому владыке было нечего. Был он бескорыстен. Как и привык в своём почти что сельском приходе. Где сильно не зажируешь.

Но куда больше на него окрысилось окружение самодержца. Ведь новый владыка тянул на себя царское одеяло — имидж народного заступника, радетеля за благо мирское. Тогда и пробежала первая трещина в его отношениях с властью. Однако полностью, на малюсенькие осколки разбились тарелки совместного застолья после того, как владыка сразу после падения атомолёта, ещё до проведения нормальной радиационной разведки, стоившей городу больше ста жизней, спустился с небес обетованных. На грешное шоссе, ставшее позже зоной отчуждения, спустился. И пошёл к выжившим там людям.

Глупость то, конечно, была. Гордыня. Мол, самодержец и носу не кажет, а я с паствой. Не будучи при власти и должности, не поспел к началу эпидемии принести им, страждущим, слово божье, зато сейчас исправлюсь.

Так священник пояснил свой поступок, похоже, стоивший ему жизни. Потому как слово — слабая защита. Против радиации. Даже если это слово божье. Оказалось, что либо бог слаб, либо его словеса.

Вот сейчас и лежал владыка, белый как полотно, в неверном свете фонарика, с трудом выдавливая из себя каждое следующее слово.

Но тогда он о том не думал. Люди гибли, и он пошёл, чтоб быть с ними. Кому грехи отпустить, кого просто приободрить на пороге смерти. А кого и воодушевить. Чтоб смелее шли в самое пекло, где с трудом собранные по всей области счётчики Гейгера зашкаливали, а дозиметры выходили из строя уже через час работы.

В работу разведчиков он не вмешивался, советов Ираиде и Белле не давал, тем более — самодержцу. К которому и подступиться уже нельзя было. Но глупость его, воспринятую в народе как подвиг, верхи владыке не простили. И первым делом наголо обрили. В больнице, не в тюрьме.

Оно, конечно, и правильно. Волосы набрали больше всего радиации. Но он же священник! Владыка! А с бритым черепом и подбородком, как послушник какой…

Умом понимая верность решения, даже не столько обиды, сколько унижения владыка не простил. И выступил со словом божьим против войны.

То, что московский узурпатор, смерти достоин, он не отрицал. Но говорил о худом мире, который лучше любой победоносной войны. Которая могла и не стать такой. За что и был низложен. Формально — по состоянию здоровья. Облучён ведь. Но при этом его сторонников оказалось едва ли не больше, даже несмотря на зависть и те самые злые шёпотки за спиной, чем тех, кто по второму кругу поклялся служить самодержцу. А по сути — самозванцу. Однако большинство, как обычно, спасовало. И епархию возглавил новый митрополит. Во всём послушный самозванцу. Ибо им выбран из общей серой массы и им же и назначен. Ему же и служит, не богу. Даже потом, когда родилась церковная уния, объединившая дружественные епархии в противовес московской патриархии, новый ставленник остался в услужении у своего благодетеля. Что не прибавило веса унии в иных губерниях. И как бы не прошёл по этой борозде новый церковный передел. Ну да это дела не скорые…

Вынуждено отойдя от дел, разжалованный владыка продолжил свои старания по налаживанию мира. Чему способствовала и молва народная. О присланном в сбитом

самолёте герое, который остановит смуту. А тут как раз нашёлся Игорь…

С десятком послушников и семинаристов, оставшихся верными ему со времён во главе епархии, Лодейников провернул операцию, достойную «зелёных беретов». Вытащил Гребнева из больницы, благо там кто-то пристрелил Беллу, убившую Ираиду. Так что пришли они на всё готовое. Потрудиться пришлось лишь чтоб тайком через весь город, перевезти пленника власти в свой прежний приход. Где всё было знакомо. И в то же время оставалось тайной за семью печатями для непосвящённых. С губернатором-самодержцем во главе. Про этот схрон под фундаментом божьего дома знали только священники, возглавлявшие приход Казанско-Преображенской церкви. И тайна сия передавалась из поколения в поколение уже десятки, если не сотни лет. Уж точно больше ста, потому как ход был построен одновременно с церковью. А ей под двести, если не больше. Иначе бы стройка вскрылась прежде времени. О тоннеле же до сих пор никто не знает. И даже не догадывается. Хотя и случалось священникам внезапно исчезать из церкви, а появляться на своём подворье, в полукилометре от храма. Но никто не проболтался.

12

Низложенный владыка устал от своей исповеди. Но не сам её оборвал, а замолчал, послушный длани Гребнева, зажавшей ему рот.

Игорь вслушивался в темноту. Которая уже не была такой непроглядной. Потому как её где-то в отдалении, за поворотами судьбы и коридора раз за разом терзали световые мечи из звёздных войн.

Два луча мощных фонариков, то разбегаясь в стороны, то скрещиваясь, приближались откуда-то из темноты. В которой Гребнев насчитал до этого места не

меньше трёх поворотов. А сколько их было на самом деле, знал только владыка. Но он покорно молчал, натужно дыша через прижатую к губам ладонь Игоря.

Подхватив фонарик, освещавший пространство между ним и владыкой, Гребнев метнулся навстречу приближающимся лучам. Недалеко, правда, шагов на десять — дальше был следующий поворот, который теперь, с лучами фонарей и подсветкой от маленького фонарика обозначился довольно чётко.

Аккуратно приткнув свой светлячок на углу, так же бесшумно вернулся он к владыке, лёг рядом, подвинув священника к другой стене. И вскинул пистолет перед собой.

— Ждём, — одними губами прошептал, взглянув в меркнущие глаза владыки. Тот, в знак понимания, прикрыл веки.

Лучи световых мечей приближались. Вместе с голосами.

…— Видал, тоже обвалилось, нах…

— Так лет-то сколько ходу этому… У нас обвалилось уже даже то, что было при губере построено…

— Ты не заговаривайся, тут хоть и подземелье, да уши везде есть, нах…

— Не твои ли, Слава? То-то мне вместо премии к отпуску начёт за пробитый шлем выписали. А знал только ты…

— Кончай, Саня, мы эту тему уже пять раз мусолили, нах. Оставил бы всё как есть, никто бы и не заметил. Но ты и зашпаклевал, и покрасил ещё сверху, нах. Вот его и заметили. Среди битых. Как новенький был потому что, нах… Ты вон лучше по краю эту кучу обойди, не то свалится на голову ещё чо…

— Ты, Слава, с темы не сползай. Стуканул, так и скажи. А если собираешься заложить, что не славлю самодержца… Так свидетелей нет. Я и про тебя скажу то же…

Две фигуры выплыли из сумрака, поравнявшись с оставленным Гребневым фонариком.

— Ишь, точно идём, кто-то даже маячки здесь оставил, нах.

— И кто бы мог знать, что вход завалит?

Лица говоривших лишь на мгновение светлыми полосками мелькнули во мраке коридора, одно за другим — в шеренгу было не пройти подземным ходом. Но Гребневу хватило и этого мига.

Ствол пистолета, уже пару минут смотревший на полтора метра выше оставленного фонарика, чуть сместился к центру прохода и дёрнулся.

Грохот выстрела ударил по ушам едва ли не сильнее разрывов ракет и снарядов, частично обрушивших свод коридора. А вспышка ослепила Игоря, и он потратил драгоценную секунду, вновь выискивая цель. Но едва в прорези мушки вновь замаячил отблеск света, немного перекрытый целиком, он нажал на спуск дважды, удерживая рвущийся из руки пистолет на той же линии.

На сдвоенный грохот выстрела от фонарика, рядом с которым один световой меч погас, а второй упал и светил в стену, под сводами раздалось протяжное «А-а-а!». И уже после более осмысленное «Сука!». А потом грохот автоматной очереди. Нескончаемый, как показалось Игорю, вжавшемуся в пол.

Сверху посыпалась каменная крошка.

Гребнев как лежал с вытянутой вперёд рукой, так и перекатился на бок, спиной вжавшись в стену. Защита, конечно, так себе. Но, судя по взметнувшемуся каменному крошеву, ударившему в лицо и грудь, следующая очередь прошла именно там, где он только что лежал на животе. И

стрелявшему не хватило каких-то сантиметров, чтоб накрыть цель.

Игорь, уже не целясь, дважды нажал на спуск. И мысленно отметил, что патронов ещё завались, штук пятнадцать. Это в стволе. В кармане и того больше. На приличный бой потянет. Вот только успеет ли он их использовать с толком…

Между стрелявшими было открытое пространство, ограниченное по бокам и сверху коридором. Но у автоматчика случилось благодаря Гребневу преимущество. То ли труп, то ли остывающее тело напарника. Которого Игорь снял первым же выстрелом. Кто это был — Слава или Саша?

К Славе, если верить подслушанному разговору, а не верить Саше у Гребнева не было оснований, он питал куда меньше уважения. Но, как правило, более подлые, стукачи и прочая мерзость, куда как живучи…

Игорь проследил вспышки на дульном срезе автомата, едва заметные в качающемся луче света, упирающемся в стену. Это было не очень удобно из того положения, в котором он лежал — пришлось до упора вывернуть шею. Но и не заметить ведущий огонь ствол тоже было затруднительно.

Дождавшись очередной отсечки в три патрона — рожок теперь, почитай, пуст, Гребнев всадил в место, где вспыхивали огоньки, не меньше пяти пуль. И дождался-таки хриплого стона.

Всё так же спиной вжимаясь в стену, Игорь подтянул под себя ноги, медленно выпрямился. Ощущая противную дрожь в коленках, встал в полный рост. Руку с пистолетом он всё так же тянул вперёд, не поднимая мушку выше светового луча и не опуская ниже оставленного у поворота коридора фонарика. Над этими источниками

света плавал сизый дымок. И тянуло странным запахом. Одновременно и знакомым, и каким-то забытым.

Чтоб глаза стали лучше различать происходящее в темноте, Игорь перевёл взгляд на лежащего у противоположной стены владыку. Едва различимого. Да и то исключительно за счёт смертельной белизны лица, которое так и смотрело вверх. Хотя Гребнев более не зажимал владыке рот. Жив ли? Ладно, не до этого пока. Самому бы уцелеть. Это как в самолёте. В случае разгерметизации вначале маску должен надеть взрослый. И лишь потом позаботиться о вверенном ему ребёнке. При ином порядке действий обречены оба.

Отираясь о стену, Игорь сделал шаг вперёд. Туда, где вновь раздался стон. Но уже не такой хриплый. Скорее сиплый. Словно кто-то тужился встать, а дыхание сбилось.

Гребнев замер. Послышался едва уловимый щелчок. Шорох он не услышал. Но шуршание должно было быть. Потому как томительно длившееся мгновение спустя раздался ещё один звук. Металлический.

Щёлк!

Закрыв глаза, Гребнев мысленным взором увидел, как в дюжине шагов перед ним Саша или Слава пристегнул новый рожок. Три десятка патронов. Против его дюжины. И сделал шаг вперёд. Всё так же, не отрываясь спиной от стены.

Луч света немного заколебался. Живой задел руку мёртвого. Нечаянно или специально?

Ещё через мгновение световой меч немного изменил направление своего острия, упирающегося в стену. Но Игорь следил за своим фонариком. Точнее, за позаимствованным у святого отца. Или как он там его звал… Падре…

«Ты бы, падре, голос подал, что ли», — делая ещё один приставной шаг, мысленно обратился к владыке

Гребнев. Но тот молчал. То ли свято выполняя последний приказ Игоря, то ли потеряв сознание. А может, случилось и самое плохое. В чём Гребнев сомневался — звук входящей в тело пули он бы не упустил даже в стрёкоте швейной машинки автомата…

Вот только владыка мог уснуть вечным сном и без посторонней помощи. Ему, если верить рассказу, досталось по полной. И он честно признался — не жилец. Тем более — не боец. Однако как на бойца, Игорь на него и не рассчитывал. Пусть и надеялся, что изданный владыкой звук может вынудить прячущегося в темноте жандарма выдать себя. Или хотя бы пустить в расход патроны.

Глаза уже привыкли к темноте, расцвеченной только жёлтой лампочкой фонарика падре и разрезанной световым мечом кого-то из преследователей. Хотя, как вспомнилось Игорю из беседы Славы и Саши, пошли они в этом направлении не в погоне за ним со святым отцом. А потому, что выход завалило. Или вход?

Световой меч вновь шевельнулся. Его острие сползло по стене до её середины. А потом медленно стало поворачиваться в сторону Гребнева. Он, хоть и прильнул к стене противоположной, понимал, что рано или поздно станет заметен в этом голубоватом свечении. Не весь, но достаточно для того, чтобы прячущийся во мраке стрелок всадил в его тень не меньше половины магазина своего автомата. И шаг вперёд хоть и был единственным выбором, тоже вёл к тому, что Игорь окажется на свету.

Но прежде на свету оказался его противник. И всё благодаря загодя оставленному у поворота фонарику — падре всё ж помог. Пусть и не так, как рассчитывал Гребнев.

В рассеянном свете между жёлтым кругом, очерченным фонариком, и голубоватой прямой светового

меча, явственно нарисовалась чёрная тень. Слишком тёмная, чтобы быть просто тенью.

Задержав дыхание, Игорь перевёл ствол пистолета чуть ниже линии, которую выдерживал с начала перестрелки. На миг прикрыл глаза. А когда вновь открыл и тень не исчезла, нажал на спуск. И тут же рванул вперёд, продолжая с каждым шагом нажимать на курок.

В грохоте выстрелов потонул и щелчок отпущенного затвора, вставшего в боевое положение, дослав патрон в патронник, и сдавленный, теперь уже не притворный крик. В котором было столько боли, что даже Гребнев ужаснулся: «И это сделал я? Опять?».

Он и в этот раз не купился, не стал полагаться на удачу. И добрался до своего врага прежде, чем тот повернул взведённый автомат в его сторону.

В отражённом от стен свете Игорь разглядел причину того, что автоматчик сплоховал. Хотя и был недалёк чтоб встретить его очередью.

Оружие тот, лёжа на левом боку за трупом напарника, тянул правой рукой, которая повисла как плеть. Но упирался он что было сил, ещё немного, и неизвестно, чья бы взяла.

— Тихо, — перепрыгнув через распластанное на каменном полу тело, Игорь всем весом рухнул на колени и приставил ствол пистолета ко лбу своего противника. — Не рыпайся, если хочешь жить. Вот скажи, хочешь же?

— Так да, нах…

По этому добавляемому в конце почти каждой фразы «нах», означавшему известно что, но в более приличном, более приемлемом, что ли, виде, Гребнев понял, что его предположение о том, что у подлых всегда куда больше шансов выжить, оказалось верным.

— Ну, что, Слава, глупости будешь делать? Ну тогда и ладненько, — дождавшись, когда стриженая голова

в каске-сфере мотнётся из стороны в сторону, словно тряпичная, Игорь неторопливо, но настойчиво потянул автомат из простреленной руки жандарма. — Поговорим?

— С этого, ну нах, и нужно было начинать, а не пулять. Сашку вон завалил, нах, — Игорю очень не понравилось, что автоматчик так быстро овладел собой. — А он в отпуск собирался…

— Я сейчас и тебя отпущу. Насовсем, а не в отпуск. Рыпнись только, повод только дай.

Слава тупо кивнул, сглотнул, но не выдавил из себя ни слова. Понял, что шутки кончились. Если и были.

— Падре, вы как? — крикнул Гребнев в темноту, не особо надеясь на ответ. Но владыка что-то прохрипел. Что — не понять. Но ясно, что жив. Покуда. Так что Игорь вновь переключил внимание на своего пленника: — Что вы здесь делали?

— Ну, так это, нах, — Слава заелозил под прижатым ко лбу стволом, цикнул зубом: — Послали нас, нах…

— Что, прямо так нах послали, и вы пошли?

— Не, ну типа найти попа. За ним приходили. Служек взяли. А его нет. Мы и пошли, а тут громыхнуло. Ну и завалило нас, нах… Не выбраться там было. Пошли в другую сторону. Поп же сбежал куда-то, нах… Раз там не нашли, значит, выход должон был быть, нах…

— Ну а дальше?

— А шо дальше, нах? Тут ты… Сашку завалил, нах… Меня поранил… Перевязать бы, нах…

— Перебьёшься. Да и нечем…

— Так у меня есть, — чуть ли не радостно воскликнул Слава. И это насторожило Гребнева. Видать, не такая уж и смертельная рана, раз вон как поёт…

— Перебьёшься, — ещё раз повторил Игорь. А что дальше делать с пленным — понятия не имел. Убить просто так, потому что он враг, и выстрелит при случае в

спину — рука не поднималась. Да что там — даже мысль такую он прогнал. Разоружить и использовать как мула… Тоже опасно. Но и владыку надо бы дотащить до выхода из подземелья. Сам Игорь это не осилит. Да ещё и с подстреленным жандармом за спиной… — Я сейчас уберу пистолет. Ты снимаешь амуницию. Идёшь вон туда, — Гребнев указал направление, где постанывал и, судя по шорохам, пытался сесть владыка. — Медленно идёшь. Без резких движений. Там тот, за кем вы пришли. Вот ты его и понесёшь.

— Так я ж ранен, нах…

Гребнев уже успел осмотреть рану пленника. Хватило одного мазка фонарём, изъятым у Славы — световой меч Саши по-прежнему упирался в стену. К величайшему сожалению Игоря, кость, похоже, была не задета. То же, что стрелок с автоматом не совладал, — чистое везение. Шок или испуг. Но сейчас он уже оклемался. И в любой момент может показать свои жандармские зубы.

— Снимай каску. И бронник.

Слава нехотя начал рассупониваться. Игорь, подсвечивая ему фонарём, глаз не спускал с противника. Но всё же упустил момент, когда Слава, вроде как сбрасывая под ноги бронежилет, ринулся на Гребнева с зажатым обратным хватом в левой руке лезвием ножа.

Вряд ли это было штатное оружие жандарма, не было под него задач у войск, предназначенных для подавления инакомыслия в согражданах. Официальных, по крайней мере. Так что нож оружие скорее криминальное. Но не простое. Ведь и имя ему было финский нож. Как повелось на российских просторах ещё с времён империи, рухнувшей в семнадцатом. Потому как был такой нож удобен для всяких подлых дел. Коими славились служители НКВД. Взявшие его на вооружение.

Финка была у него где-то под рукой, вот он и выхватил её незаметно. И тут же наотмашь полоснул перед собой, едва не задев Игоря. Тот только в последнее мгновение успел шагнуть назад. Но из-за этого, зацепившись за остывающего Сашу, начал запрокидываться на спину.

Это была верная смерть. Вояка был тяжелее и выше Игоря, с финкой, с которой он, видать, умел обращаться. Да и терять ему было чего. Так что в этой схватке Гребневу нечего было и думать победить.

То, что он был моложе своего возраста, сохранив былой опыт, сейчас мало могло пособить. Жандарм был ещё моложе. Но что куда важнее — и крепче, и куда тренированней. Натасканней на убийство. Как хорошая гончая на зайца. Поэтому Гребнев не стал искушать судьбу.

Падая, он успел нажать на спуск, дважды, а потом, когда уже лежал, а жандарм давил на него всем телом, выстрелил ещё раз. В упор. Приложив ствол прямо к груди врага, который не принял поражения.

— Сука, нах…

Пуская кровавые слюни, Слава застыл на груди Гребнева, тяжким грузом вдавив его в пол и в тело покойного Саши.

Переведя дух, Игорь начал выбираться из-под трупа. Используя другой труп в качестве опоры. С помощью которой мир ему было не перевернуть, но сбросить с себя мёртвое тело — запросто.

На это барахтанье ушло несколько минут — покойник оказался не только выше, но и весьма грузен. Впрочем, после смерти вроде как все становятся тяжелее. Хотя это всего лишь обманчивое впечатление. Но в борьбе с трупом Игорь сбил дыхание, стал задыхаться. А потом и вовсе едва не потерял сознание, когда буквально над ухом просвистело:

— А я уж думал, что таки заберут меня…

Часть четвёртая

1

…— Он забил мне «стрелку», а сам попёр с ножом…

Игорь изрядно запыхался — владыка хоть и был невысок, и лучевая болезнь вроде как выжгла из него жизнь, но в тесном коридоре тащить его оказалось нелегко. И на очередном привале, в который раз переспросив «Далеко ещё?», он принялся вроде как оправдываться за совершённое убийство. Не то чтоб ему нужно было понимание или прощение владыки. Просто слишком уж легко он стал отнимать чужие жизни. И это напрягало куда больше, чем людское порицание. Или наказанье божье.

— Последний поворот пройдём… И дома…

Владыка, состояние которого было куда хуже, чем просто уставшего после всех передряг Гребнева, тащившего на себе и священника, и два автомата с боекомплектом, с каждым словом посвистывал, как резиновый ёжик. Но не дырочкой в боку, а вполне себе естественным путём. Выдавливая из себя застоявшийся воздух. Вместе со словами.

— Ща пойдём, — выдохнул и Гребнев, восстанавливая дыхание.

— Не спеши, сын мой, — Игорь не успел, да и не смог, потому как не было сил, возмутиться тем, что владыка вновь записал его в сыновья. Не лейтенанта Шмидта, а в свои — почему его это задевало, Гребнев и сам не знал. Но в этот раз спустил священнику. Потому как тот неожиданно выдохнул, вполне себе спокойно. Словно и не задыхался последние минут двадцать. — Кажись, всё. Пришёл я. Здесь меня оставишь.

— С чего бы это? — Игорь принялся подниматься на подкашивающиеся ноги. Но не преуспел.

— С того, сын мой, что там, наверху, за мной всё равно придут, а тут хоть умру без мук. И не от подлых рук…

— Вы мне это бросьте, падре.

Гребнев, стоявший рядом с лежащим священником на коленях, был не очень убедителен. Хорошо ещё, что тьма скрадывала усталость и безысходность, проступившие во всех чертах его лица. Ведь он и сам не понимал, зачем с маниакальным упорством тащит владыку и упорно топает вперёд, прётся в руки если не своих врагов, то недругов так уж точно. Потому как, если за ним или за владыкой пришли в храм, из которого они бежали подземным ходом, то в обители владыки их точно будут ждать. Или, в лучшем случае, несомненно, придут. Если только войско Руси изначальной после ошеломительного обстрела не разбежалось окончательно. Судя же по тому, что отрезанные от мира жандармы продолжали исполнять волю пославших их на поиски владыки, пусть и вынужденно, спасая собственные шкуры из-под завала, если войска и разбежались, то далеко не все. А уж прикормленные властью убегут последними. Когда точно уж не будет чего ловить. В смысле благ, ради которых они и состоят в услужении. Потому как предать вовремя, говаривал кто-то, это не значит предать. Нужно просто уметь вовремя вынуть, чтоб потом не платить всю жизнь, поддакивал кто-то, не менее ушлый, но более пошлый.

Игорь не был уверен, что для жандармов и прочих, посланных за ним и владыкой, наступил этот «час икс», время делать выбор. Так что, хоть и был подземный ход секретом секретов средь служителей культа, в вотчине владыки их могли поджидать. Пусть и совсем с другой стороны, не из-под земли. Так что в словах владыки резон был — дожить оставшиеся дни, если не часы свободным. Пусть и под землёй. Но до естественной кончины, а не

мученической смерти в застенках. В том же, что застенки обязательно будут, Гребнев, в отличие от сомнений в чём-то ином, не сомневался. Возомнивший себя самодержцем постельничий убого царька на московском троне вряд ли бы дорос до этих высот, не будь он столь же подл, как и его хозяин. То же, что он против оного восстал, ещё не доказывает наличие меж ними противоречий. Два сапога — пара. Хоть и оба на левую ногу. В том смысле, что толку от них народу — ноль. Даже скорее в минус уводит их «служение» отчизне. Мимолётно выхваченные Игорем сведения о делах на фронтах и в экономике убеждали в том однозначно. Так это когда ещё было! С той поры могло стать только хуже. И прирастание территориями слабое утешение. Если вообще утешение. Ведь после боёв это бесплодные земли, как и зона отчуждения на месте падения атомолёта. Поэтому опять скорее вред, чем польза. Но этим двоим, схватившимся не на жизнь, а насмерть, на смерть своих подданных, принесённых ими в жертву, было всё равно. Пусть и были они одной крови, дурной и подлой, но остаться мог только один. Как пауки в банке, где выживает сильнейший. Поэтому, пока один не победил, второй может строить козни своим же. Тому же владыке. Ринувшемуся прислуживать, да не угодившему. Что всегда случается даже с самыми верными слугами — во все века, у всех властителей их исход один. Если ты верен, аки пёс, то обращаться с тобой будут как с собакой. Рано или поздно итог один. С вариациями только форм — ссылка, тюрьма, петля, пуля или ножом по горлу исподтишка. Служение злу всегда получает одну награду. Смерть.

Так что владыка, раскаявшийся в своих ошибках и заблуждениях, заслуживал снисхождения. И Гребнев, не устояв от усталости, вновь опустился на холодную кладку пола подземного хода.

— В таком случае и мне особо некуда спешить. Ведь и меня там могут ждать. Пусть уж пока разбираются с московским упырём. А там — посмотрим. Чья возьмёт.

— Это может затянуться надолго, — просвистел владыка. — Замёрзнешь. Возьми пальто моё. А там, как выберешься, под половицей на кухне, там увидишь… Документы и ключи. Машина у соседки. Она не ездила. Но хранила. Всё, что я заработал…

— И что это, владыка, вы себя хороните? Да не просто так — завещание, считай, огласили… — Гребнев вскользь, про себя отметил, что падре, видать, был не такой уж и бессребреник. Как и юбку соседки не пропустил. Но владыка сам почти покаялся.

— Я не праведник… Далеко не праведник. Но чую свой смертный час. И на пороге вечности хочу… Нет, не прощения, нет его мне. Присягнул власти, подлой, лживой. Сам возжелал судьбы вершить. Людей изводил ложными проповедями… В услужение мирской власти их вёл. Как баранов на бойню. А не в царство небесное… Но хотя бы с чистыми помыслами право имею умереть. Вот и хочу искупить. Хоть малую толи́ку…

— Ну так я не гожусь на отпущение грехов. И сам грешен, и вообще считаю, что каяться — смешно. Если не грешно. Но точно знаю — недостойно человека. Не хотел бы — не грешил. Так нет же, я вот, к примеру, даже с удовольствием порой… Особенно когда прелюбодействовал. И в чём тут каяться? Сплошное лицемерие, падре. Но у вас ложь — не грех. Но то — у вас. У меня свой ад. Как в том анекдоте.

Гребнев кашлянул, бросив взгляд на притихшего владыку, провёл рукой по лицу, одёрнул, как курсистка короткую юбку, свой свитерок, который давно уже, с момента стычки с убиенным жандармом почти не грел, и продолжил:

— Я тут побогохульствую малость с вашего дозволения, раз уж нам спешить некуда. В общем, умирает атеист и попадает, само собой, в ад. Ну, и там дежурный чёрт на ресепшене проводит ему лёгкую ознакомительную экскурсию. Типа «Там вон бар, любая выпивка бесплатно. Вот ресторан, заказывай любые блюда, о которых ты только мечтал, в любом количестве. В соседнем здании бордель с самыми крутыми блудницами в истории человечества. В общем, устраивайся и не скучай». Атеист в шоке. Но, прогуливаясь по аду, вдруг видит: в каком-то загаженном закутке стоят котлы, смола кипит, грешники в ней варятся, черти с вилами их охраняют, сковородки лизать заставляют… В ужасе прибегает он обратно к дежурному чёрту: это, мол, что, как не ад? Чёрт же, отмахиваясь, так небрежно через губу, или что у него там в пятаке, рыльце его свином: не обращай внимания, это христиане себе так захотели. Так вот, падре. Вы как знаете, а я хоть и крещёный, но в сказки с говорящим змием, искусившем Еву, не верю. Так что проехали, ни в чём я не раскаиваюсь. Но и другим их грехи не прощаю и не отпускаю. Что истинно тяжкие, что мнимые. А ежели случайно чо вышло, вот как у меня с этим, который всё «нах» посылал после каждой фразы, то тут и каяться нечего.

— Может, ты и прав. — Владыка опустил своё «сын мой», чем несказанно порадовал Гребнева. Но тут же присвистнул, задыхаясь: — Если веками выжимать из нации всё лучшее, что останется? Жмых. Отстой. Осадок. Дерьмо… На себе испытал… И вот конец. В подземелье. Хорошо не в подвале НКВД, или кто они там теперь. Братья по классу нашего самодержца…

Привалившись спиной к кладке подземного хода, владыка с трудом подбирал слова. По крайней мере, Игорю так казалось. Хотя на самом деле все их беседы шли именно в таком тоне. Просто сейчас владыка говорил

всё слабее и слабее. Но при этом непримиримость его речей становилась всё явственней. Это вначале Гребнев временами не понимал, на чьей стороне его ментор. Сейчас всё было предельно ясно. Неужто на пороге смерти у человека открывается если не второе дыхание, то зоркий взгляд?

— Но я не о том. Об отходах. В человеческой массе за многие века истребления лучших накопилось столько дряни, что в ней выживают только приспособленцы, доносчики, палачи и надзиратели. Никаким праведникам их не осилить. По крайней мере, сейчас. Даже свергнув упырей, которых тут же заменят их ближайшие сподвижники. Но, что ещё страшнее, человеческая масса, ради которой и надо бы свергнуть что нашего самодержца, что московского сатрапа, первым делом избавится от тех, кто её спасёт. Как выплеснули меня. Не по болезни. Испугавшись правды, на которую я им открыл глаза.

Владыка содрогнулся, его губы искривились от какой-то внутренней боли. Или обиды, за то, что с ним так поступили. Те, ради кого он попёрся в эпицентр взрыва. Чтобы в награду оказаться в эпицентре недовольства. И тех, кому служил, и тех — ради кого…

— У нашего богоизбранного народа есть одна черта, уж простите падре, я остаюсь при своём мнении... Поэтому утверждаю, что от всех прочих русские отличаются не столько отсутствием эмпатии, сколько наличием жестокости. Патологической. Необъяснимой. На уровне инстинктов. Жестокости во все времена. И ко всем. К своим прежде всего. Так что им сколько ни дай свободы и счастья, всё будет не то чтобы мало — будет завидно, что и у других тоже что-то есть. А если ещё и не дай бог больше…

Гребнев перевёл дух, потёр озябшие ладони — в подземелье хоть и было сухо, но холод одолевал. Чтоб согреться, он продолжил. С того же места, где умолк:

— И эта правда, что моя, что та, из-за которой вы пострадали, всех россиян, всех поголовно, бесит больше, чем что бы то ни было. Ибо в этом его избранность — подлейший из подлых народец вышел из рук создателя. Не терпит истин, отличающихся от вдолбленных в голову. Будь они хоть трижды верны.

— Неужто-таки все?

— А сколько должно быть не таких, чтобы я оказался прав? 10, 20? Человек или процентов? Когда человека можно назвать лжецом? После одного обмана или нужно десятки лживых посулов, чтоб сказать: вот он — лжец, подлый и коварный? Лично для меня достаточно одной маленькой лжи. Не то чтоб я сам не врал. Я не всегда говорил всю правду, в этом грешен. Но не лгал, как те, кто мнит себя мессиями. И убивает не только пулями, но и ложью своей. Достаточно выйти из этого погреба, чтоб в том убедиться. С любой стороны. Что бывший постельничий, что его всемогущий патрон… Все они достойны вашей геенны огненной. Да только в вашей же религии наказание за ложь не предусмотрено. Вот они и пользуются. Как и ваши коллеги…

— Не знаю, может, и так. Бог рассудит, — не стал спорить владыка, слабо отмахнувшись от речей Игоря. — А ты, покуда шанс есть, ступай с миром. И пальтишко моё накинь. Продрог весь…

— Я бы с удовольствием, да маловата кольчужка…

Договорить Гребнев не успел. Хотя и собирался сказать, что не оставит умирающего наедине с подземельем и смертью. Но владыка его опередил.

Дёрнулся, вытягиваясь в струнку, и затих. Игорь даже пошевелиться не успел.

— Видать, всё ж не худший человек был, — пробормотал он, и, потянувшись, прикрыл грязной ладонью веки усопшего.

Гребнева поразило, как легко и быстро ушёл священник. Не мучился, не дёргался в конвульсиях. Пощады не просил… Словно его действительно прибрал под свои покрывала тот самый незримый бог, которому он служил. А вдруг тот и в самом деле есть? А Игорь столько всего наговорил…

Под впечатлением от этой смерти, он, посидев ещё пару минут, поднялся, собрал амуницию и зашагал в ту сторону, где должен был быть дом владыки. Хотя нет, какого там владыки — обычного настоятеля сельского храма. Это он уже потом во владыки вышел. Да ещё и так неудачно…

2

Выход пришлось искать ощупью — ума не хватило вместо философских бесед расспросить священника. И о соседке, и о том, что там вокруг тайного лаза… Хотя кто ж знал, что тот так легко и быстро уйдёт. Даже схлопотавший три пули в упор жандарм дольше мучился. Но, видать, на то и болезнь такая была ниспослана владыке. Вроде всё на месте, целёхонек, а жизнь уходит. Словно вода сквозь пальцы, как ни сжимай ладошки.

Последние метров сто — в темноте сложно было определить точнее, Гребнев размышлял о том, на чём оборвался его диспут с владыкой. О культуре русского народа. Которой, если копнуть поглубже, не было от слова совсем. Чем народ и гордился. Мол, нам в грязи привычно, пусть другие попробуют выживать в дерьме. Хотя чем тут гордиться? Немытыми телесами и грязным исподним?

Игорю вспомнился один его бывший сослуживец. Да, по национальности не русский, даже из более

культурных европейских народов, некогда привносивших культуру в русские просторы. Но родился и вырос он, дальний потомок переселенцев из прусских фольварков, в советской России. И переболел всеми её болезнями. Самой отвратной из которых оказалась привычка плевать на личную гигиену. С его-то избыточными килограммами и склонностью потеть даже в лютый холод. А грязь… Грязь, считал коллега Гребнева, она сама отвалится, когда время придёт. Так что мыться, стирать одежду — это было не про него. Свои «ароматы» он заливал литрами одеколона. Такого же дерьмового по запаху, что только усиливало убойное амбре, от которого бежали прежде всего министерские барышни. Да и не все мужики выдерживали.

Гребневу даже показалось, что эти убойные запахи достали его даже здесь, в подземелье. Ведь ему почти два года пришлось сидеть в одном кабинете с «ароматизатором». Который не понимал дурного к себе отношения, не видел к тому оснований. А все попытки вежливо и культурно объясниться заканчивались скандалом. Потому как это Игорь подбирал культурные слова. Его визави о культуре только слышал. И продолжал благоухать…

Чему удивляться, если действительно самые прозорливые из культурных съехали из страны сразу после выстрела «Авроры», самого мощного в истории человечества. Ведь когда ещё он прогремел, а разруха, как минимум в головах, — до сих пор. Самые разумные из культурных уехали сами. Следом отправились «философские пароходы», увозя первых, говоря уже нынешним языком, иноагентов. Которые недопоняли, что им здесь не рады. Потом пришёл черёд просто умных. Заодно большевики вычистили и свои ряды. Хотя долгие годы кичились: мол, молодое советское правительство было самым образованным в мире! На самом же деле даже одного из немногих в правительстве деятелей с высшим образованием, самого

председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ленина, до того с пеной на губах требовавшего высылать «инакомыслящих», выперли из власти. С билетом в один конец. За ним последовали «шпионы» и «наймиты» иностранных разведок, потом расхитители и вредители, дошло и до детей врагов народа…

Бредя по закоулкам подвала, Гребнев думал о том, что колесо истории вновь вращается на тех же подшипниках. В виде недалёких, жадных до денег и власти недоучек. Которым страшны образованные. Ведь они видят всю их убогость. Так что дело Ленина, требовавшего от соратников, чтобы «этих военных шпионов изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу», продолжается. Но теперь далеко не всегда доходит до высылки. Заплечных дел мастера наловчились решать такие вопросы по-быстрому. Куда проще убить исподтишка, посадить на немыслимые сроки и там, на зоне, прикончить. Или ещё как-нибудь избавиться. Чтобы ещё и самим позабавиться. Вместе с русским народом, охочим до таких зрелищ. А уж кто там будет во главе — самодержец или упырь, которого Гребнев упустил и не убрал в детские его годы, — не важно. Беда от них на всех падёт одна. Просто кому-то больше достанется. Вот как сейчас, когда на город обрушился ракетный удар. От своих же. И не надо ни с какими внешними врагами силой мериться — в России всегда найдутся желающие своих же истребить. Они не остались в далёком 1937-м, когда убивали примерно по тысяче — тысяче! — человек в день. Они рядом. Убили вон священника. Пусть и кадившего опиумом в народ, но в целом-то, как оказалось, был он не таким уж и плохим человеком. Но это то, что рядом. А скольких всего накрыло ракетным ударом? А в сопредельной державе? Детей которой якобы кинулись защищать, спасать, а убили в разы больше, чем погибло усобице, русскими же

и срежиссированной. Дети-то в чём были повинны? Что соседские, что свои… Ведь даже не избирали себе на голову будущего самодержца — его им навязали. Те, кто потом по ним же и ударил ракетами, забросал бомбами, целясь прямо в знак Красного Креста…

Оказавшись в тупике подземного хода, у лестницы, ведущей куда-то ввысь, во тьме невидимую, Гребнев прислонил к кладке свою ношу — два автомата с боекомплектом и броник, перевёл дух. Вроде и немного прошёл, а устал. И довольно сильно. Как бы не случилось с ним то же, что и с владыкой. Ведь и сам он пробыл в эпицентре взрыва неведомо сколько, и рядом с облучённым вначале лежал, потом шёл, да ещё и на себе его тащил. По-всякому мог облучиться…

В неверном свете фонарика, однажды уже спасшего ему и святому отцу жизни, Игорь присмотрелся к балясинам лестницы. Старые. Но добротные. Выдержат. Но что там, над лестницей? И как открыть то, что закрывает вход в подземелье?

Поднимаясь во тьму, Гребнев невольно вспомнил слова казавшегося порядочным журналиста. Окладистой бородой, тот походил на Солженицина, хотя и изображал, да что там — жил жизнью вечного странника. Но, в отличие от действительно людей божьих и многих других журналистов, даже предпочитавших сытую жизнь правде слова, опустившегося всё же до одобрения творившегося ужаса. А ведь когда-то был разумным…

Вот с той поры и остались у Гребнева воспоминания о словах из творчества «очарованного странника», как именовал себя борзописец. «В России культуры нет, ибо нет её в головах подавляющего большинства… У нас чуть ли не вся страна жульничает, обвешивает, обирает, приписывает и списывает, берет и дает… Моя Родина — это пьяные, наркоманские города и веси, вокзалы, смердящие

бомжами. Школы, кишащие педофилами. Смертельно опасные ночные улицы и подъезды. Милиционеры, коррупционеры, аферисты, садисты, фашисты. Евсюковы, Пичужкины, Гречушкины, Агеевы… Весь русский патриотический запал уходит на болтовню о святых истоках, о коварности инородцев… А при подъезде к любому русскому городу — горы мусора и смердящая гниль».

И ведь прав был, каналья. Да только сам в итоге незаметно перешёл на сторону зла. Мёдом там, что ль, намазано…

Гребнев головой упёрся во что-то неподъёмное…

В поисках задвижки, защёлки, секретного механизма открытия люка в мир живых, он зашарил руками по кладке, кирпичной, надёжной. Уж если века выстояла, то какой ещё её назвать? Но пока ничего похожего на задвижку под руки не попалось, в голову пришло ещё одно воспоминание. Тоже из работ далеко не однозначного человека. Многое, если не всё, понимавший, он ради трёх Сталинских премий принципами-то, как было модно говорить в годы перестройки, поступился.

Но и прав был во многом. Работая над романом «Пётр Первый», он писал: «Есть две Руси. Первая — Киевская имеет свои корни в мировой, а по крайней мере в европейской культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал их весь западный мир. А есть еще другая Русь — Московская. Это — Русь Тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую жестокость. Эта московская Русь издревле была, есть и будет полнейшим отрицанием всего европейского и яростным врагом Европы».

И не только Европы, добавил от себя Гребнев, и нажал на что-то, удачно подвернувшееся под уставшие из-за отлившей крови вытянутые выше головы руки.

Перед глазами появилась узкая полоска света. Тусклого. Явно вечернего. Да и не с улицы это свет проникал. Что-то мешало ему.

В образовавшуюся щель, Игорь сунул рукоять пистолета, выдернув его из-за пояса — так была надежда, что люк не захлопнется, пока он вернётся за автоматом. И тогда уже попытается выбраться.

Пока он спускался за вещами, а потом возвращался к подающему надежду лучику света, в его голове уже другой Толстой, Лев Николаевич, такой же брадатый, как и тот борзописец, с мыслей которого начался экскурс Гребнева по волнам памяти, напомнил: «До тех пор, пока мы будем восхвалять патриотизм и воспитывать его в молодых поколениях, у нас будут вооружения, губящие и физическую и духовную жизнь народов, будут и войны, ужасные, страшные войны, как те, к которым мы готовимся и в круг которых мы вводим теперь, развращая их своим патриотизмом».

Последствия ужасной и страшной в своей бессмысленности войны, войны против своих, Гребнев опасался увидеть сразу, как только перевалится через низкий, почти вровень с полом хлева порожек, которым то ли начинался, то ли, как сейчас, заканчивался лаз. Ход, по которому от храма на берегу Волги, он добрался до какой-то усадьбы.

Но Игорь, выбравшись из подземелья, оказался действительно в хлеву, как на то и намекал владыка. Даже не хлев, сарай, обычный для обитателя сельской местности. Гребнев не знал о Романове, где служил покойный до того, как возвыситься, ровным счётом ничего, без интернета он был как без рук. И даже хуже. Ну да ему сейчас было не до того, чтоб изучать экономическую географию какого-то городишки. Хватало того, что сарай был добротный, звуков наружу не пропускал. Впрочем, как и внутрь.

Так что Игорю пришлось прильнуть к подслеповатому оконцу, чтобы разобрать, что же происходит снаружи.

А снаружи был двор, огороженный частоколом. За забором — ещё один. И уже там на подворье сновала шустрая бабёнка. Чем она была занята, не разобрать. Но во дворе, где подсобные помещения занимают места больше, чем хозяйский дом, по определению должно было быть немало забот.

Хозяйка соседнего подворья была одна. Это уже хорошо. Да Гребнев всё ж не повёлся на такую простоту. Долго оглядывал окрестности, дом самого владыки… Везде было тихо. Где-то вдалеке поднимался столб дыма, да не один — не зря ж громыхало под землёй. Дым стелился над землёй, пряча разрушения, если таковые были. Но по соседству всё было целёхонько. Что внушало надежду на минимум вреда после обстрела. И всё же он решил дождаться темноты. Благо об эту пору вечереет рано. Если бы ещё не холод…

В сарае, стараясь не шуметь, Игорь нашёл какую-то дерюжку, накинул на себя, да и привалился к стоящим у стены мешкам. Постепенно отогреваясь, он и не заметил, как уснул. Ещё и всхрапнул, кажется. Отчего и вывалился из сна. Едва не выронив автомат, который прижимал к груди.

Подслеповатое, мутное от грязи окошко не пропускало света. Да его и не было уже — тьма окутала подворье. Зато в соседнем доме светилось одно окно. Едва ли не прозрачное на всю глубину дома. И там, в свете лампы, неприкаянно маячила, метаясь из угла в угол, всё та же женская фигура. Чего ей не сидится…

Летнюю кухню на подворье владыки Гребнев рассмотрел ещё до того, как стемнело. Поэтому, закинув за спину один автомат и взяв другой наперевес, проскользнул к ней, не задев даже травинки. Хотя двор владыки, как

для удобства называл покойного Игорь, изрядно зарос в отсутствие хозяина, ввязавшегося в державные дела. Доска при входе поддалась легко. Что его насторожило. Но под ней, как и было обещано, оказался пластиковый пакет, голубой, на застёжке, а в нём топорщились ключи с брелоком сигнализации и бумаги.

Сунув находку под свитер, Игорь выскочил во двор и перебежками, кланяясь на луну, чтоб не отсвечивать, добрался до разделявшего соседние усадьбы забора. Ну как забора… Несколько вкопанных столбов были лишь обозначением границы. А меж ними лежали давным-давно брошенные и забытые доски, почерневшие от времени. Зато тропинка была протоптана хорошо. Знать, соседи друг друга не чурались.

Ещё в два прыжка Гребнев добрался до светящегося окна. И тихонько поскрёб стекло у самой рамы.

Однако женщина, видать, ждала такого сигнала. Или иного какого. Но ждала. И сразу кинулась к окну. А после — в сени, и тут же загромыхала засовами.

Увидев вместо священника Игоря, всплеснула руками, и, похоже, без слов всё понимая, отрешённо опустилась на какой-то бидон, стоявший прямо при входе в дом.

— Простите, — одними губами прошелестел Игорь. — Владыка не успел назвать ваше имя…

После этих слов он ожидал, что встретившая его баба, пусть и была она довольно молодой, но днём вела себя исключительно по-бабьи и так же была одета, взвоет, начнёт заламывать руки, судьбу-злодейку проклиная. Но ничего такого не случилось.

Женщина просто сцепила ладони, глубоко вздохнула и выдавила из себя:

— Как… Как он ушёл?

— Как великий праведник, — ничуть не покривив душой, заявил Гребнев. — В один миг отошёл. У меня на

руках. При этом думал о другом. Предлагал взять его пальто. Да только маловато оно мне…

Деревенская баба, которую он видел в соседском дворе сквозь стекло окна в сарае, вблизи оказалась совсем иной. Никакая она не баба, тем более деревенская. Да, днём была в болоньевой куртке с платком, укутывавшим голову и плечи. Заодно этот наряд скрадывал и неплохую фигуру. В общем, нормальная такая молодуха. За тридцать-то, конечно, далеко. И как бы даже не больше. Но копна чёрных волос сединою не тронута. Пусть и причёсками не избалована, так, обычная стрижка. Зато груди…

Груди так и рвались сквозь неплотную вязку кофты, накинутой поверх футболки. А уж под той и вовсе ничего не было. Так что громадные тёмные соски были как на ладони.

Правда, это Игорю хотелось, чтоб они оказались у него на ладони. Но о том оставалось только мечтать. Вряд ли владыка, как мужчина, пропустил такие прелести. Да и то, что женщина оказалась кем-то вроде душеприказчицы покойного, не оставляло в том сомнений. Так что губы можно было и не раскатывать. Хотя организм и отозвался пока ещё скрытным желанием.

3

— Нина я… А Николай, значит, всё… Отмучился…

— Типа того, — Гребнев не знал, какими словами то ли утешить женщину, то вселить в неё надежду, что не всё так плохо.

Но тут кто бы ещё его если не утешил, то хотя бы накормил — сквозь щель неприкрытой двери в сени вынесло аромат жареного мяса. И желудок Игоря предательски возроптал. Да так громко, что Нина, всплеснув руками, опрометью подхватилась со своего

импровизированного кресла из крышки бидона. Обычного молочного, на 40 литров. Зачем ей? Коровы и коз на подворье не наблюдалось, а бидон, и не один — в наличии…

Но размышления Гребнева хозяйка прервала прежде, чем он о бидонах задумался:

— Что ж это я расселась! Коля бы мне не простил. Гость на порог, а стол не накрыт. Вы проходите, проходите, не стесняйтесь. Продрогли поди. Сейчас ужинать будем…

— Мне бы машину… Николай говорил, у вас она стоит…

— Успеется! Вначале за стол. Вы не подумайте ничего такого. Мы жили с Колей, но как брат с сестрой. Он вдовец, я мужа схоронила. Вот и сошлись. Но ничего такого. В смысле меж нами. А после того, как его в экстремисты едва не записали, и быть не могло…

Вот тут Гребнев реально опешил. Поп-экстремист?

Впрочем, в нынешней России и не такое возможно. Если даже шамана, шедшего изгонять упыря из Кремля, террористом или кем там обозвали и в психушку упекли да заперли, без суда и следствия.

Пропустив Игоря вперёд себя в горницу или кухню-столовую, хозяйка заметила его удивление, и пояснила, суетясь вокруг стола:

— Избивали его там. В Коровниках-то. Смертным боем били. Он сам мне признавался. Потом. Когда выпустили. Донос на него пришёл. Вот и шили дело: мол, готовил переворот, власть хаял в проповедях… Таки да, так и было. Но не про переворот. А про власть. Но он правду говорил. Ведь воровали все. Кому не лень. Но из депутатов и мэров никто не ленился. Однако никого не тронули, не турнули. Зато Колю — в Коровники. Тюрьму нашу, значит, — заметив недоумённый взгляд Игоря, пояснила

хозяйка. Она многое подмечала. Хотя, не исключено, не обо всём говорила. Всё-таки что-то было в её лице вызывавшее не подозрения, а сомнения в искренности излишней суетливости. Но она не умолкала: — Вот там его и били. Сам начальник этого, экстремистского управления, значит, отметился. Уж больно выслужиться хотел. Потому как проворовался. И надо было доказывать, что он верный слуга царю и отечеству. Но не вышло. Зато Колю выпустили. Правда, уже после того, как отбили всё, и мужественности этим боем лишили. Потому и выпустили. Чтоб там не помер. А начальника, что его искалечил, через неделю всё равно взяли. Так что б вы думали? Он жалобу накатал. Что его там бьют. А кто? Вчерашние же дружки. А то и подчинённые бывшие. Ибо сказано: и каждому аз воздам!

Гребнев подивился новой информации о почившем владыке. Но ничуть не удивился каре настигшей вертухая. Это ещё один пример того, что колесо катится по уже проложенной колее. И так уже было: товарищ Сралин, произошла чудовищная ошибка… Однако вслух ничего не сказал. Обвёл взглядом просторное помещение с овальным столом в центре и стульями вокруг, громоздким, под старину, тёмного дерева буфетом у окна. Большую часть оставшейся части комнаты занимала плита, с которой и издавал восхитительный аромат чугунок, пришепётывающий крышкой. Там же пыхтел медный, вот чудо, и откуда такой, чайник.

— Вы проходите, садитесь, — Нина отодвинула стул, и тут же метнула на стол две тарелки, следом две вилки. Ножей в сельском доме, видать, не полагалось. Но Гребнев не придал тому значения. Как и не сел на предложенный стул — прошёл дальше, в угол. Так, чтоб видеть дверь. И не сидеть спиной к окну.

С этого места комната казалась ещё больше. И ещё уютнее. Но Игорь взгляда не спускал со стола, где каждую секунду появлялось новое блюдо. Так что комнату он оценил позже. Скользнув взглядом по дверному проёму, ведущему вглубь дома. Но там темнота. А тут…

Ходики на стене справа. Явно тоже не старинные, на циферблат ещё даже не успела налипнуть кухонная гарь. А должна была — вытяжки над плитой, топившуюся через дверцу и гревшую чугунную плиту, на которой булькало умопомрачительное по запахам варево, не было. Да и топилась она дровами, вон и задвижка грубки, от которой по комнате разливается тепло. От него Гребнев едва не размяк. Но врезавшийся в живот пластиковый пакет с ключами и документами взбодрил его:

— Мне бы руки помыть. Не знаю сколько, воды вообще не видел. Да и в передрягу попал, — это он добавил, чтобы в случае лишних расспросов объяснить засохшее пятно крови на свитере.

— Так я вам прямо здесь, над ведром солью. А рукомойник в сенях. Нет у нас водопровода. От колонки носим. Ну да я как раз нагрела. Можно даже помыться… — Нина вроде как засмущалась от такого своего предложения, но мысль закончила: — Вон и корыто приготовила, мне после работы тоже не помешает ополоснуться…

— Ну дак я вам всю воду изведу, — Игорь не то чтобы отказался, помыться не помешало бы, однако и рисковать так не хотелось. А ну как и сюда нагрянут жандармы? Тем более двоих, как минимум, они потеряли. Или пока недосчитались.

— Да вы не бойтесь, и воды хватит, и сюда никто не явится, — словно прочитав его мысли, стала мягко настаивать Нина. — Утром как громыхнуло, так они все и понеслись в губернию. Там, сказывают, совсем худо, нас так, краешком задело. Церковь, правда, Колину снесло

наполовину. Ну как наполовину… Нижний храм. Почти весь в Волгу съехал. Говорят, там и служки погибли, и жандармов накрыло. А неча было там шарить в Колино отсутствие. Вот их и того…

— Николай был там. Или всё же Пётр? Всё-таки владыка… — Гребнев осторожно прощупывал почву, однако пока никак не мог понять хозяйку. Слишком говорливую, не в меру суетливую. Так она и весь день так носилась, иначе, видать, с хозяйством не совладать. Зато кормит её подворье — вон какой стол накрыла, слюнки текут. Не исключено, что и владыка, будучи сельским священником, жил не только дарами паствы. К нему он и вернулся мыслями: — Ему, возможно, и без разницы теперь, Пётр, Николай… Да только крест, что он на себя взвалил, нелёгкой ношей оказался. Мы с ним недолго общались. Не всё успел он рассказать. Но умер своей смертью.

Игорь не знал, в курсе ли Нина о наличии тайного хода. Но раскрывать его прежде времени не спешил. Зато она сама раскрыла. И ход, и куда больше, показывая, что владыка от неё почти не имел секретов. Раз уж признался, что лишили его достоинства мужского. А в этом, по мнению Игоря, признаться было куда труднее, чем в остальных прегрешениях. И тайнах.

Суетясь вокруг стола, Нина бросила через плечо:

— По ходу ушёл? И вы, значит, с ним? Уж не тот ли вы, кого он из лап самоназванного самодержца выдернул? — и тут же, без всякого перехода: — Идите, я вам хотя бы на руки солью. А потом, если захочете, и искупаетесь. Воды хватит. Я как чувствовала, наносила…

…Томлёная говядина таяла во рту. Гребнев хоть и терпеть не мог самогон, но стопарик, гранёный, на резной ножке, в себя опрокинул. И чуть не задохнулся от крепости. Которая и отшибла привкус сивухи. Он быстро закусил хрустящим солёным огурцом, потянулся за кусочком

розоватого сала, бросил его на краюху ржаного хлеба, душистого, словно только из печи.

— Берите, берите, хлеб сама пеку, — подтвердила его догадку Нина. — В очередях недосуг стоять, да и завозят на наш берег свежий хлеб не так часто. Точнее, пока довезут из Данилова, он уже и не свеж. А с того берега накладно выходит. Вот был бы мост… А то и скорой не дождёшься, и в центр не выберешься. Город-то там, а у нас так, погост да церквы.

Гребневу эта информация мало что говорила, и он больше слушал. Да усердно кушал. А ведь даже не подозревал насколько проголодался. И ладно бы только оголодал.

Не заметив мягкой, обволакивающей силы, убаюкивающей подозрительность, он полностью оказался в плену у хозяйки. За руль уже не сядешь — а ведь и не думал пить. И пешком не уйдёшь — почти ночь на дворе. Да и нужно быть последней неблагодарной тварью, чтобы встать из-за стола и уйти. А ведь ещё есть шанс и помыться — Игорь тайком принюхался к себе. В нос шибануло кислятиной немытого тела и горелого пороха. Вот бы и одежонку сменить…

— Ешьте, ешьте, я сейчас вам рубаху сына найду. Переодеться. Свитерок-то в крови, — словно угадав его мысли, подхватилась из-за стола Нина и выскочила в тёмный проём двери. Но и оттуда продолжала говорить, не оставляя гостя наедине с мыслями.

«Ишь ты, заметила-таки», — буркнул про себя Игорь, а хозяйка из другой комнаты продолжила:

— Он с вас аккурат будет. Разве что чуток в кости потоньше. Ну так ему двадцать всего. А вам?

— Я уж и со счёта сбился, — назвать свой истинный возраст Гребнев не рискнул. Чтоб не спугнуть потенциальное любовное приключение, уж больно хорошо всё

к тому шло. С другой же стороны, а на сколько он сейчас выглядит? Явно не на шестьдесят, раз хозяйка так вокруг увивается. Самой-то ей, как приглядевшись, прикинул Игорь, точно за сорок, без всяких скидок на деревенский быт. И вдова. В самом цвету, можно сказать. Вот и вьётся. Или это потому, что усопший владыка обманул её в желаниях? Она и изголодалась… Ведь сколько-то же они прожили бок о бок, вдова и вдовец. И у кого-то из них точно возникало нескромное желание. Ясно, что не у священника. Особенно после того, как побывал в казематах этих, как их, Коровников.

Вместо того, чтоб гадать, на сколько он выглядит, Игорь решил перевести стрелки:

— А где же сынок ваш? Не обидится ли…

Будь он повнимательней, а не мусоля мысли о грешном и не пялясь на изобилие на столе, давно невиданное, Гребнев мог бы заметить, как тень пробежала по лицу женщины, выглянувшей из комнаты с байковой рубахой в руках. Тень была неясная, но всё же мрачная, как грозовое облако.

— Где ж ему быть. Забрили. Как стукнуло девятнадцать, так и забрили. В солдаты. А он ещё и контракт подписал. Почти сразу, как всё началось, — в её словах была какая-то недосказанность, но кто сейчас полностью откровенен с незнакомцем? Пусть даже и сидя за одном столом.

— Жив ли? — всё ж не удержался Гребнев, понимая, что ступает на зыбкую почву: а ну как потеряла хозяйка единственного сына? Других-то детей не видать и следа, да и откуда им взяться, не от попа же. А вдовствует она давно видать — шкаф посудный ждёт мужских рук, болтается одна дверца. Всякий раз провисает, когда хозяйка достаёт то тарелки, то лафитничек с самогоном, то менажницу под сальцо и колбаску.

Прижав к груди рубаху сына, хозяйка опустилась на свой стул.

— Письмо прислал недавно… Жив…

— Простите, я вечно лезу с неуместными вопросами. Всю жизнь лезу, за что и корю себя постоянно, — Игорь поднялся из-за стола. Не столько насытившись, сколько желая замять разговор. Ну и заодно показать свои умения. — Отвёртка у вас есть?

Он подошёл к провисшей дверце буфета, приподнял край, выровнял:

— Тут на две минуты работы.

Ещё не успев закончить эту фразу, за стопкой тарелок он углядел что-то вроде божницы — пара икон, на деревяшке, с позолотой рисунка, там, где и положено, в нимбах и узорах одежд. И потому, почти без перехода, добавил, уже вопросом:

— Веруете? Или это дань вере Николая?

— Я давно перестала молиться, — одними губами прошептала Нина. — И к Николаю в храм не ходила. Он говорил, что это дом божий, а на самом деле это был его дом. Свой-то, по соседству с моим, он, считай, забросил. Ночевать только приходил. Всё кому-то помочь норовил. За что и отплатили ему… Доносом… Когда ко мне заходил, я говорила ему, что бог в каждом из нас. Не может быть иначе. И уж если творит подлость человек, то там богом и не пахнет. А он тыкал меня носом в писания. Дескать, все мы люди божьи. По образу и подобию… Пока на себе не испытал муку смертную. И только в последнюю нашу встречу, перед тем, как за вами пойти, сказал: мол, ты, видать, права была. А я чо… Только и сказала однажды, что не может же отец своим чадам желать зла. И проверять их любовь испытаниями всякими. А после требовать, чтобы они ещё и на коленях просили прощения. Даже за то, что не совершали. Это ж он, сотворив тебя по

образу и подобию своему, и пороки тебе даровал, и удовольствия. А ты их грехом зовёшь. Ты, а не он. И как мог он, тебя создавая, тут же и ад сотворить? Чтобы тебя в нём сжечь? За то, что ты, а не он, считаешь грешным делом. Любовь, например. Как любовь может быть грешной? Она либо есть, либо её нет…

Гребнев так и стоял, застыв с приподнятой за край дверцей в левой руке. Он-то в Нине видел деревенскую, пусть не бабу — тётку, недалёкую, уставшую от одиночества. А она просветила его лучше покойного владыки. Может, потому что вторила его мыслям? О том, что священные писания не могут в себе нести никакой святости хотя бы потому, что в них ошибок больше, чем человек в состоянии совершить за свою жизнь. И всё, что в этой жизни нужно, без всяких писаний и наставлений — относиться к другим так, как ты бы хотел, чтоб относились к тебе. И поступать так же. А не сжигать на костре за то, что кому-то воздух кажется более голубым, а небо — прозрачным. Когда у тебя кошки на душе скребут, и ты не видишь красоты окружающего мира. Который и есть твой бог. А не старец на облаке.

Уж сколько богов кануло в Лету — египетские, греческие, а до того шумерские и ацтекские, или иные какие. И все были всемогущими. А выжил — человек. Не всегда хороший, тем более не лучший. Но выжил. И родил новых богов. Чтоб прощали ему его подлости. Вот только не будет прощения. Потому как бессмысленно просить себя не наказывать себя же у того, кого сам и сотворил.

И вообще, бог есть азм. Я не последняя буква. Человечья. А значит, божественная. Вот и веди себя по-божески. А не это вот всё — иконы, поклоны, покаяние, подношения… Кому? Богу? Всемогущему? Так у него и без тебя, без твоих подачек есть всё. Всё вокруг его. Если он владыка всемогущий. А все твои дары идут его слугам.

Которые себя возомнили себя выше бога. Присвоили себе его права карать и миловать. Обещая рай или ад. Но и без их обещаний мы все умрём. Однако только тогда, когда поверим в это. Ведь жить можно и с адом в душе. А прожить жизнь нужно без оглядки на надзирателей, без страха перед геенной огненной. Просто оставаясь человеком. В каждый отмеренный тебе день. А не только по праздникам первопрестольным или иным каким, к съезду партийному или по случаю дня рождения вождя. Жизнь, а не миллионы на счетах, любовницы и власть — это единственное, что есть здесь и сейчас, единственное, что делает тебя человеком.

Отвлёкшись на мысли о божественном и людском, Игорь слишком поздно понял, что красный огонёк меж икон не лампада, а нечто другое. И уже даже можно было не совать туда руки. Раз уж горел огонёк над мутно блеснувшим объективом. Он и так был как на ладони. У кого-то, кто следил за кухонькой Нины через объектив видеокамеры. Спрятанной в божнице. Пусть и такой неправедной, среди рюмок и тарелок.

Знала ли приютившая его женщина о камере, о слежке с её помощью?

Спросить Гребнев не успел.

За его спиной от удара чем-то тяжёлым, сапогом, как минимум, распахнулась дверь, звонко ударив ручкой в стену. Так, что посыпалась штукатурка. И чей-то голос, грубый, прокуренный, довольно прохрипел:

— О какие гости! А мы ужо и не ждали!

И загоготал. Так, что в буфете перед лицом Гребнева задребезжали тарелки.

«Подставился! Впервые спиной к двери повернулся, и тут же влип!» — мелькнула запоздалая мысль.

— Спасибо, Нинон. Шикарный подарочек, на блюде, можно сказать, ты преподнесла. Сынок будет

доволен. Отпустят его. Возможно. На побывку. Ты ж не думала, что его отпустят насовсем? Воевать-то кто будет, Пушкин? А так обмен. Обоюдовыгодный. Ты нам беглеца, мы тебе — сына. На время. Сына на время. А беглеца насовсем, заждались его. Там, где надо заждались…

И вновь загоготал.

Следом за длинной тирадой, оборванной гнусным хохотом, в комнату ворвались ещё двое. С автоматами. Все, и болтун тоже. И все в бронниках. Но без морально устаревших сфер на головах — каски, обтянутые защитного цвета тканью, болтались на поясах, как у американских джи-ай, только что выбравшихся из джунглей. И как он не услышал их приближение? Ведь в сенях-то поди с минуту болтались…

В секунду, которая растянулась на целую вечность, Гребнев понял всё, что не хотел признавать мгновением раньше. Пусть и догадался о том, едва рассмотрел за иконами огонёк камеры.

Его взяли, как сопливого щенка. Взяли лаской, заманив куском хлеба. Да, с салом. Да, со стопариком. Но по итогу взяли же…

На это мгновение осознания, которое всё длилось и длилось, Игорь закрыл глаза.

Каким бы молодым и крутым он ни был в этом теле, но против троих обученных, вооружённых, пусть и велено им взять его живым, что не факт, ему не устоять. Скрутят в бараний рог. На раз-два скрутят. Значит, нельзя допустить чтобы до двух досчитали…

Гребнев, как стоял у буфета, так и ломанулся мимо него. Прямиком в окно. Большое. Без перекрестий рам, как это обычно бывает в окнах деревенских домов. Тут уже сошлись село и город. И в деревянной — пластик всё ж не дошёл сюда покуда — раме окна было одно большое стекло. С меленькой фрамугой сбоку. Для проветривания.

В большое стекло Гребнев и вышел.

Ну как вышел. Пушечным ядром вылетел. Успев сгруппироваться и выбив стекло не головой — её он втянул в плечи, а уже корпусом.

В ореоле поблескивающих осколков стекла, вылетевших вместе с ним, он опустился в очерченный светом квадрат. Упал на четвереньки. Но подниматься на ноги не стал.

Вместо того, что от него ждали и что по логике побега он должен был совершить, Игорь метнулся не во тьму двора, а к стене дома. К тому самому углу окна, где он поскрёбся перед тем, как Нина его впустила.

Оставленный автомат, никем не замеченный, так и стоял, прислонённый к стене. Патрон — в патроннике. С предохранителя снят…

Так что когда в свете окна показалась голова, а потом и торс первого преследователя, Игорь спокойно дождался, когда тот почти полностью перевалится через подоконник, уступая место второму, и нажал на спуск.

Три патрона. Чтоб наверняка. Из-за броника.

Ещё три второму. И Гребнев встал в полный рост. Заглянул в комнату.

Нина так и сидела на своём месте. А вот третьего жандарма или кто там они, гвардейцы или иная какая нечисть, не было видно. Но он сам себя показал, вывалившись в разбуженный выстрелами двор из входной двери. И получил почти в упор длинную очередь, перерезавшую его надвое.

Брони не спасли. Ни одного из троицы. И только первый нарвавшийся на пули ещё подавал какие-то признаки жизни.

Добивать его Гребнев не стал. Хотя и понимал, что нельзя оставлять врагов в живых. Ведь дальше может

быть только хуже. Но одно дело убить в бою, пусть и в таком скоротечном…

Над тёмным речным берегом, разбуженные выстрелами, бесновались собаки, заходясь заливистым лаем. Но в эту какофонию звуков внезапно вклинился ещё один. Тоже лающий. Правда, на другой частоте.

Волей-неволей, Гребневу пришлось-таки приблизиться к трупам под окном и перевернуть верхний.

На его разгрузке требовательно пульсировала рация.

— Третий, что там у вас за пальба? Взяли попа?

Игорь, откашлявшись, подражая голосу того, кто благодарил Нину за участие в его задержании, небрежно выплюнул в микрофон:

— А то. Что там с пацаном? Забрать когда? Типа в благодарность. На обмен…

— Ты там что, рехнулся? — голос из рации безапелляционно перебил Гребнева. — Какой пацан? Куда забрать?

И уже в следующее мгновение Игорь понял, что с Ниной играли примерно так же, как и с любым другом обречённым, у которого близкий в заложниках. А она купилась. Стоит ли винить её за это?

А рация не умолкала:

— Винти попа, и на базу, шуриком. У нас тут целый день чёрт знает что творится. Только дежурная смена осталась. Даже за бухлом послать некого. А вы втроём болтаетесь весь день где-то. Хорошо хоть с пользой. Что, нельзя было без стрельбы обойтись? Тоже мне, героя брали. Или он не один пришёл?

— Типа того, — буркнул Гребнев, и добавил перед тем, как выключить рацию: — Конец связи.

Рация, как и ещё три автомата были ему ни к чему. Но и оставить их он не мог. Собрал, закинул на плечо,

прошёлся по разгрузкам. Боекомплект пополнен, мысленно доложил он сам себе, и шагнул в дверь.

Нина, глазами полными слёз, встретила его молча. Как чужого. А то и вовсе не видела. И Гребнев, тоже глаз не поднимая, буркнул, складывая оружие у двери:

— Он не придёт. Вас обманули.

Он ждал чего угодно — рыданий, безудержных слёз, проклятий в свой адрес, попыток выцарапать глаза. За то, что сам уцелел, а её сын — нет. Но женщина даже не шелохнулась.

Её руки, по-прежнему прижимавшие к груди рубаху сына, то ли подрагивали, то ли отбивали какой-то неслышимый такт. В память о том, кто не придёт. Ведь она всё поняла, хотя и не было произнесено роковое «Ваш сын мёртв». Но и того, что Игорь сказал было достаточно. Да и рацию она могла слышать. Гребнев потому-то и не стал уточнять. Чтоб не быть вестником дурных новостей.

— За окно простите.

Хозяйка помотала головой из стороны в сторону.

— То пустое… Теперь…

И только после завыла в голос. Вторя затихающим псам. Но тона на полтора ниже…

4

У попавшей в беду лягушки, будь она хоть трижды царевна, есть только два пути. В первом случае, бултыхаясь в молоке или в сметане, взбить масло и не просто не утонуть — выбраться. Во втором, умиляясь тёплой водичке, плавать, пока не сварится.

Как правило, обычно выбирают второй путь. Что лягушки, что люди. Чтоб не барахтаться. И не чувствуют, как вода постепенно закипает. На этом построена большая часть управленческих моделей в странах, где демократия даже на помойках не валялась.

Вот и Нина, оказавшись в такой кастрюльке, предпочла не барахтаться. Плавала себе, втайне надеясь, что отпустят её сыночка, её Геночку. Но Гена давно уже ушёл на встречу с богом, которого Нина не привечала в своих мыслях. Не то чтоб ему поклоны бить. Хотя, как она проговорилась, но всего только раз, посещала её мысль, что если бы веровала, то, может, и жив был бы Гена. И сама же себе отвечала: была обманываться рада, готова какую угодно понести кару, лишь бы сынок был жив. Но его не было в живых задолго до того, как её поставили перед выбором.

Не веруя в бога, а потому и не доверяя властям, право властвовать у которых от него же, она, на каком-то подсознательном уровне, провожая сына договорилась с ним о тайном коде.

«Ты ж понимаешь, Геночка, там война, чтобы ни говорили. А значит, всё будет в тайне. От нас, простых смертных. Даже в ту войну, действительно освободительную, не только солдатские, но и офицерские письма штамповали: «Проверено цензурой». И вымарывали всё, что считали опасным. Благо писали тогда чернильным карандашом. Теперь такого не будет. Но и правду писать не дадут. Так что ты, если всё в порядке, просто ставь точку перед словом «мама». Вот так: «Здравствуй. мама». Точку, не запятую… Ну а вдруг беда, ранили там или ещё что, о чём прямо не скажешь, я по запятой пойму, что плохи дела…»

— Смешно, конечно, тоже мне, код. Но тогда мне казалось, что то был выход…

…Нина вжалась в сиденье, вцепилась руками в ремень безопасности. В свете фар перед носом внедорожника встал дыбом кусок асфальта, а за ним чернел провал воронки. И Гребнев виртуозно — навыки вождения никуда не делись, пусть не садился он за руль лет пять, не

меньше, не считая поездки от вокзала до эпицентра взрыва, вырулил из, казалось бы, неминуемой беды.

Метров пять машину протащило юзом. Но дальше она сама почти выровнялась и пошла с прежней скоростью, под девяносто. Здесь и в былые годы вряд ли можно было ехать быстрее. Сейчас же, когда дорогу разбили гусеницы танков, а сверху прошлись «Грады» с «Ураганами» там, где на трассу не хватило бомб и жалко было тратить ракеты, и шестьдесят было запредельной скоростью. Но Гребнев выжимал из машины куда больше. Хотя и куда меньше, чем она могла дать. За тёмное время и покуда опять не пошёл снег, превращающий и без того ужасную дорогу в каток, он хотел уехать как можно дальше от негостеприимного города, едва не ставшего его могилой. Или, как минимум, тюрьмой. Считай, что побывал в камере предварительного заключения, на том и кончилось.

Впрочем, всё ещё далеко не закончилось.

Выплакавшись, Нина долго просила прощения. Что не предупредила о слежке.

…— Я и сама не знала, что они там поставили. Видать, когда во дворе была. А они вчера по дому долго рыскали. Перед тем, как в храм идти. За Колей…

Но Игорю было не до её оправданий. Он вообще думал, какое ему дело до женщины, сидящей на соседнем кресле в машине, которая короткими рывками двигалась в сторону Ярославля. Короткими — из-за многочисленных воронок на шоссе. Которое и шоссе-то язык назвать не поворачивался. Гребнев в очередной раз чертыхнулся, оглянулся на Нину, а та продолжила изливать свои тайны:

— Когда Коля в немилость впал, пришли ко мне. Это уже когда он владыкой был. У нас же всё просто. То тюрьма и сума, то вдруг слава и почёт. Так вот… Пришли ко мне. С письмом от Гены. Так, мол, и так, мама, помоги добрым людям. А они мне помогут домой вернуться,

хватит, навоевался. И всё было складно. Да только в самом начале письма запятая стояла. После «Здравствуй». И почерк… Вроде как и Генка писал, да слишком складно, слова какие-то незнакомые. И буквы с завиточками. Так Коля обычно открытки мне подписывал…

На очередном прямом отрезке дороги Нина оборвала свой рассказ, удивлённо вглядываясь в ночь:

— Что-то я места не узнаю. Я тут ездила порой. Машина хоть и Колина, да на меня записана. Специально он так сделал. Чтоб отследить его не могли. Приход-то был не ахти как богат. А он всё ж на иномарку накопил. Не стал с епархией делиться, когда к нему за благословением пришли… Честно скажу, да и он знал, что деньги были нечистыми. Но взял. Устал, говорил, в нищете прозябать…

Гребнев хмыкнул. Даже хлев, куда вывел его подземный ход, нищетой не отличался. Как и летняя кухня, под половицей в которой были документы на машину. Что уж там у владыки в доме-то было… Ну да бог, которому он служил, ему судья.

— Так что там с письмом-то? — решил он вернуть Нину к прерванному рассказу.

— Это я уж потом поняла… Допрежь того пропали из дома письма. Старые. И открытки Колины. Не все, но некоторые. Вроде ж вот тут лежали, а нет. Думала, что забыла, переложила. Но не из ума же я выжила… И когда ко мне опять пришли, и начали убалтывать за Колей следить, да передавать им, где он и что, сложила два и два. И за две ночи все глаза выплакала. Но никому ничего не сказала. Надеялась… Она ж всегда умирает последней… Надежда-то… Вот и я надеялась. Хотя знала: не Гена то письмо писал. Да и сердце подсказывало: нет его среди живых. Ещё до того, как с письмом пришли, было мне видение. Вроде как Гена у калитки, но в двор не идёт. А после и вовсе

пропал. Я обернулась только, тяпку бросить, чтоб не на кусты, а его уже и нет.

— И давно это было?

— В самом начале осени. А пришли уже в октябре. Коля только-только из больницы вернулся. Лысый. Хромой. Сознание терял…

Так вот, значит, как… Владыка давно был приговорён. И смерть не стала для него открытием. Скорее избавлением. Как и для Нины. Которой теперь не нужно было ни за кем следить. Но сын так и не вернулся. Зато появился незваный гость. За которым тоже пришли. Потому что если не следила она, то следили и за ней…

— Чёрт!

В свете фар замаячил остов моста через Волгу. Именно остов! В темноте Игорю показалось, что на дорожном полотне моста живого места нет.

«Как же так! Взрывов-то было всего ничего! А тут такие разрушения! И как он ещё стоит…»

Гребнев мягко нажал на педаль газа. Внедорожник, пятитысячный «Пежо», давняя его мечта, ещё с той поры, когда он на машине ездил, плавно накатил на бетон моста. И тут же вильнул в сторону, объезжая прореху, сквозь которую видно было пока ещё не воду, а чёрную растительность под мостом. Если так и дальше пойдёт, то велик шанс, что придётся машину бросить. И почему это никто не занят ремонтом моста? Сутки уже прошли после налёта. А вокруг — тишина. Правда, тут и местность была пустынной до самого моста, черным-черно вокруг. Ни огонька. Тем более — ни души.

Но хотя бы закрыть движение могли-то. А запрещающих знаков нет. Значит, мост всё же проезжий?

— Если свалимся с моста — выскакивай из машины, дверь я разблокировал, — выдавил из себя Гребнев, внутренне задыхаясь от неизбежности встречи с

неотвратимым полётом навстречу чёрной воде. Вцепившиеся в руль пальцы побелели от напряжения. И куда он прёт? Что забыл в Москве, куда он намылился? И как надеется добраться туда через линию фронта? Что там говорил владыка? Где-то под Переславлем передовая? Как они хотя бы туда доедут… Через блокпосты, которые должны стоять на каждой дороге… Дорог же Игорь-то и близко не знает. А карты в машине не оказалось — владыка с Ниной далеко не ездили. И навигатор не работает. Или это Гребнев с ним не разобрался? Ну так и радио молчит. Без песен ещё можно прожить, а вот без навигации…

Нина оказалась плохим помощником, она умела только водить. Да и то лишь по знакомым местам. А им — пилить и пилить. До Переславля часа два как минимум. Без подсказок и по прифронтовой дороге. Где на проверку можно запросто нарваться. Не отстреливаться же на каждом блокпосту… И это только на этой стороне фронта столько проблем. А дальше? Ведь там Игоря могут ждать те, от кого он бежал. Из-за чего и провалился в иные времена. Но теперь-то он возвращается. И как бы не прямо в лапы к тем, от кого бежал…

Не спуская взгляда с неспешно ползущего под колёса серого полотна моста, Гребнев одним глазом стрельнул в зеркало заднего вида. Привычка. О которой он ввиду долгого отсутствия практики забыл. С этого и движение нужно было начинать, но он только сейчас, через полчаса в пути, удосужился взглянуть за спину.

И тут же нажал на тормоз.

Хорошо ещё что скорость была невысока. Не то бы Нина, которая изготовилась по его команде к прыжку из машины и сбросила ремень безопасности, вылетела через лобовое стекло. Что, однако, не помешало ей недоумённо взглянуть на замершего за рулём Гребнева. Чей взгляд теперь неотрывно был прикован к зеркалу заднего вида.

Но ничего позади машины он не увидел.

Игорь тупо пялился на своё отражение. И не узнавал того геройского вида молодого человека, который запросто уложил троих гвардейцев-жандармов, одним махом закинул в машину целых пять автоматов и пару баулов с вещами и едой.

Из зеркала на Гребнева смотрел… Гребнев.

Гребнев той поры, когда его выпроводили на пенсию…

5

…Что ему за дело до этой женщины на соседнем сиденье? Кто она ему? Не спасительница, но предательница? Или ещё кто?

Этот вопрос неожиданно напомнил ему курсантскую юность. Когда он впервые побывал за морем, в чужой стране. Не с корабля он смотрел на пальмы и песок — курсантов отпустили в увольнение. Но не по одному. С корабля сходили пятёрками. И, не таясь, шутили, тогда ещё можно было: мол, в каждой пятёрке есть «шестёрка». Которая и настучит куда следует.

С той поры прошло немало лет. И многое изменилось. Теперь в каждой пятёрке не только «шестёрка». Ныне есть и подслушивающий, и прослушивающий. С подглядывающим. Вот и выходит, что теперь все против одного. Оставшегося при своих идеалах…

Но Нина-то тут причём?

К этой мысли он возвращался уже не впервые. Они ведь даже не переспали. Хотя и было у него такое желание. У неё-то, сына потерявшей, вряд ли. Но Гребнев о сексе с Ниной думал почти неотрывно. И до того, как его едва не убили или не повязали, тем более — после. Однако нужно было бежать. Срочно. В любой момент пропавших жандармов-гвардейцев могли хватиться. И прислать

подмогу пропавшим. Пусть и говорил голос в рации о каких-то проблемах. И нехватке людей. Но для своих-то расстарались бы. Так что, выкатив из приземистого гаража запылённый внедорожник, Игорь предпочёл по-быстрому загрузиться и удалиться. Для начала. И желательно куда подальше. А уже потом разбираться со своими нескромными желаниями. Которые вряд ли бы нашли отклик у зарёванной хозяйки дома, узнавшей о гибели сына. Пусть и чуяло материнское сердце, что нет его в живых.

…Впрочем, о чувствах Нины и её видениях Гребнев узнал далеко не сразу. А вот о том, что резко состарился — ещё позже. Только на мосту.

Пялясь на себя в зеркало, лишь слегка подсвеченное приборной панелью, он не долго размышлял над тем, откуда взялись седины и проплешины на висках. Объяснение могло быть только одно. Как молодел он, проваливаясь в прошлое, так и стариться должен был, оказавшись в будущем. И хорошо если он просто вошёл в свой возраст, а не забросило его ещё дальше, туда, где он ещё не мог быть. Потому что не жил до этого времени. Ну так бывали же ему видения из будущего. Пусть и не болтался он там так, как бродил по прошлому, лишь одним глазком взглянул на происходящее.

Прислушавшись к себе, Гребнев не уловил больших отклонений от прежнего состояния. Хотя после двух клинических смертей очень точно улавливал приближение очередного приступа. Которые давно, с той поры, как он ступил на скользкую дорожку меж временами, не случались.

Не похоже было и сейчас, что ему поплохеет. Поэтому, мысленно простившись с подаренной молодостью, второй, можно сказать, он вновь нажал на педаль газа, сделав вид, что не заметил недоумённо-вопросительного

взгляда Нины. Объясняться с ней ему не хотелось. Кто она ему…

Мысль опять пошла по кругу.

Они даже не переспали. А теперь уж и переспят вряд ли — Игорь выглядел куда старше своей попутчицы. Если он молодым её не заинтересовал, то теперь и подавно…

Он насупился. Не из-за этой мысли. Впереди чернел ещё один провал, прямо над рекой. Хорошо ещё, что они стояли — половины его полосы движения как не бывало. Но по второй дыру в дорожном покрытии можно было объехать. Если мост выдержит.

По спине сбежала струйка холодного пота.

«Что же здесь произошло? Откуда такие разрушения? Почему мост с такими повреждениями не перекрыт? И где ремонтники? Опять извечный русский бардак?»

Со скоростью пешехода, сцепив зубы, Гребнев миновал провал. И кажется не дышал до момента, когда чёрный рукав реки не исчез за спиной. И тут же Нина то ли всхлипнула, то ли вскрикнула:

— Да что же это такое!

Игорь понятия не имел о чём это она, но на всякий случай прижался к обочине, остановился и повернул напряжённое лицо к женщине:

— Что не так?

Он уже и сам понял, что не хватает света — вроде же как в город въехали, а вокруг тьма египетская. Ну да после обстрела всяко могло случиться. Но Игорь решил дождаться мнения местной жительницы. А она, воздев к ветровому стеклу правую руку, только и могла, что невнятно бормотать:

— Там… Там…

Там, куда Нина указывала, была тьма. Но и в этой тьме Гребнев рассмотрел остовы машин по обочинам

дороги, ведущей с моста. И груду каких-то обломков впереди.

Ничего удивительного для него в том не было — ведь был же обстрел. И даже часть храма, в котором покойный владыка до восхождения к вершинам церковной власти был настоятелем, съехала в реку. Как сама же Нина и говорила. Что же её здесь так поразило?

Проследив направление вытянутой руки, Гребне всё понял.

Пока он смотрел вперёд, полагая, что ему туда ехать, Нина взглянула левее. Как знаток местных дорог. Потому как съезд с развязки после моста был именно там. Точнее, должен был быть.

Однако на месте развязки небо, мрачное, без единой звёздочки, подпирали какие-то столбы.

Впрочем, почему какие-то. То были опоры обрушившейся части моста.

— И куда теперь? — Игорь впервые растерялся. Дорога обрывалась, а справа и слева не было даже намёка на съезд. Разве что попробовать перевалить через бордюр, довольно высокий и крутой. Но для внедорожника вполне сносный. Если не гнать во весь опор. Да коробка-автомат и без того уже была в ручном режиме ещё после первого провала, на том, романовском берегу. Хотя это, как объяснила Нина, был уже Ярославль. И в развалинах перед ними лежал торговый центр. «Рио», уточнила его спутница. Словно они в Латинскую Америку угодили. Ну разве что судя по развалинам…

— Нам туда надо. Если в Москву…

Взбираясь на бордюр и прицеливаясь к развороту, Гребнев продолжал удивляться. Про себя, не вслух же высказывать сомнения, причину которых он уже уяснил. И не знал только как далеко забрался. В будущее. Но то, что

это было оно, сомнений не возникало. Сомневался он в датах. А так…

Судя по всему, времени с того утра, когда ракетный обстрел застал его рядом с умирающим владыкой на подземной тропе, прошло уже немало. Развалины нигде не дымили, разбирать их никто не спешил. Ограничивать движение по едва живому мосту — тоже. Было некому? Или не было смысла? Потому как никто и не собирался там ездить. Потому что опять же было некому…

Эти смурные мысли могли означать только одно. Война между московитами и Русью изначальной завершена. Не в пользу последней. И потери, судя по всему, не просто значительны. Они катастрофичны. И никакие союзники на помощь не пришли. А сидевший в Кремле упырь сил на истребление усомнившихся в его верховенстве и власти не пожалел. Город, по которому внедорожник под управлением Игоря с подсказками Нины неторопливо катил, был мёртв. От слова совсем.

И это касалось не только разрушений. Они ехали через центр города минут двадцать. К Московскому тракту, как назвала открывшийся после манёвров по разным улочкам проспект Нина. И нигде не попалось ни души. Мёртвые машины — пожалуйста. Разграбленные и едва ли не вывернутые наизнанку магазины — во всей красе. А людей — нет. Даже трупов.

— Как… Как такое могло случиться? И только за одно утро… — не выдержала Нина.

— Объяснять долго, но, боюсь, прошло уже далеко не одно утро, — буркнул под нос Гребнев. И укололся нижней губой о жёсткую щёточку усов. Он и забыл, когда их подравнивал. Но они не забывали расти по мере того, как он старился. И в зеркале заднего вида отражалась уже не только его посеревшая кожа с паутинкой морщин

вокруг глаз, но и недельная щетина на щеках, вислые усы, полностью закрывавшие рот…

Но мало того, что щетина росла даже не по часам — по минутам. Подозрительно быстро начало сереть и небо. А ведь выехали они незадолго до полуночи. Ну как незадолго… Не позже, чем в 21.00. А тут тебе уже и утро. И это всего лишь после сорока с небольшим минут поездки…

На выезде из города, взглянув на приборную панель, Игорь, повинуясь дорожным знакам, свернул на заправку. Такую же тёмную, как и остальные здания, что они миновали. Тёмные, безжизненные, но, насколько можно было судить, относительно целые. В большинстве. Хотя были и обрушившиеся. Частично, насколько Игорь мог видеть. Не то что заправка, на которую он свернул. Что он там надеялся нацедить, если нет электричества? Да и бак почти полон.

— Я заправлялась… Полный бак. Под горловину, как Коля учил, — подала голос Нина после натужного молчания, длившегося во время поездки по мёртвому городу.

— Вижу, — процедил сквозь зубы Гребнев. Он всё ещё пребывал во власти мыслей о том, что ему за дело к этой женщине. Но путь предстоял неблизкий. И он решил перестраховаться. А ну как повезёт урвать хотя бы канистру про запас…

Эта заправочная станция совсем не походила на самую первую в истории. Ведь то была аптека, в которой жена Карла Бенца купила кварту то ли керосина, то ли спирта, чтоб заправить самобеглую коляску, которую она угнала у своего мужа. И вошла в историю. Она — первым в мире автопробегом. Аптека же — как прообраз заправочных станций, ещё далеко не АЗС.

Заправка, на которую свернул Гребнев, была уже не АЗС. Но могла стать последней. В их с Ниной путешествии, как минимум. Прежде всего в ней просто не могло быть никакой автоматики. По причине отсутствия электричества. Павильон зиял выбитыми окнами, а информационный щит на въезде и вовсе загораживал половину проезда, сбитый чем-то большим и тяжёлым, никак не меньше КАМаза. Иначе бы его было не вывернуть вместе с бетонным основанием, торчавшим теперь над землёй как корневище векового дуба. Но бетон — не дуб, его на век не хватило…

Он остановил машину у первой колонки, заглушил мотор. Нина удивлённо уставилась на Гребнева, медленно и осторожно открывавшего дверь. Так, словно открывал люк подводной лодки. Опасаясь, что в него хлынет вода.

— Посиди тут. Неизвестно, что там, — Игорь кивнул не столько в сторону остова павильона, сколько просто в сторону приоткрытой двери. Вдаваться в объяснения не было желания. Однако он всё же выдал самую малость, настолько, чтоб не увязнуть в домыслах и не зависнуть от новых вопросов. Которых пока не было, но они подразумевались. — Может быть излучение. Как то, что убило твоего Николая.

Объяснять подробнее он вновь ничего не стал. Сам ещё не всё понял. А делиться предположениями… Так это и дня не хватит. Вот вырулят на трассу, может, и расскажет.

В свете фар, медленно гаснущих после остановки двигателя, Игорю показалось, что в руинах мелькнула какая-то тень. Но с чего бы выжившим прятаться в таком месте? Когда вон сколько пустых домов…

Сунув поглубже в карман ключ дистанционного доступа и вытащив из-за пояса пистолет, изрядно уже натёрший поясницу, Гребнев шагнул в сумерки. Эх,

фонарик бы… Но, загрузив автоматы и боекомплект с вещами и пропитанием, спасший ему жизнь фонарик владыки Игорь оставил на холодном полу у входа в подземелье. Не специально — просто забыл.

Он взглянул на небо. Серое, затянутое облаками, низкими, тяжёлыми. Но не похоже, что дождевыми. И это притом, что дождя, видать, не было очень давно — земля под ногами была усыпана мелкими осколками битого стекла и каменной крошкой, которые покрывал плотный ковёр пыли. Лунной, можно было бы сказать. Потому как на ней не было никаких следов. Ни человеческих, ни иных каких. Только завитки, оставленные ветром. Да и то лишь меж крупных камней. А теперь вот и ботинками Игоря.

Но уже на третьем шаге он замер, вслушиваясь в темноту.

Следов нигде не было, но в развалинах кто-то был.

6

Спиной он чувствовал испуганно-напряжённый взгляд Нины. А сам вглядывался сквозь сереющие сумерки туда, под устоявшую в катаклизме крышу павильона АЗС. Получалось плохо — глаза отвыкли смотреть на мир без света фар. Да и подсветка машины мешала. Но она уже угасала, и Гребнев увидел. Для начал тень. Не простую видать. Ведь она была как живая. Потому что шевелилась в отличие от остальных теней.

— Эй, кто там? Не подскажете, который час? Чтоб пройти в библиотеку…

Ничего лучше Игорь придумать не смог. Но тень в том месте, где на АЗС когда-то предполагался магазин, замерла. И Гребнев сделал ещё пару шагов, сокращая расстояние до тени. Одновременно он вытянул вперёд руку с пистолетом, шаря мушкой в поисках цели.

— Я ничего не сделал! — Внезапно, ещё до того, как Игорь нашёл испуганную тень стволом пистолета, из-за битых витрин АЗС, раздался писклявый голос. Скорее мужской, но больно уж какой-то немощный.

Вот только Гребнев не купился на эту показную слабость.

— Стой, где стоишь! — скомандовал он. — И я вопрос задал.

— Какой? — едва ли не захныкала тень.

— Который час? — повторил Игорь, хотя его натуре всегда было противно дважды повторять элементарное. Но тут случай был особый.

— Так откуда ж мне знать? Я и людей-то давно не видел, не то что часы с курантами…

— Два шага вперёд. Так, чтоб я тебя всего видел. И руки, руки держи над головой.

Прошло не меньше минуты, прежде чем из-завалов стеллажей и полок бывшего магазина при АЗС под тяжёлое серое небо выползла бесформенная, как показалось на первый взгляд, масса. Но у тени не должно было быть массы. А если она есть, то это уже не тень. В чём Гребнев и убедился. Его глаза уже полностью привыкли к сумеркам, и он увидел не только контур мужской фигуры.

Из темноты павильона на призрачный сумеречный свет выбрался высоченный мужик в чёрном бесформенном плаще. Скорее даже в плащ-накидке. Или целой палатке. И как бы, судя по её чёрному цвету, едва ли не флотской. Но из-под плащ-накидки, доходившей явившейся Гребневу тени едва ли до колен, вместо того, чтоб волочиться по пыли и мусору, торчали грязно-серые армейские брюки с вшитым кантом, цвет которого было не разобрать. И из-за слабого освещения, и из-за грязи на нём. Выделявшейся куда явственней, чем сам кант.

Коротки были и сами брючата — настолько высок был мужик с писклявым голосом. И уже из-под них, по внешней стороне ноги белела тройная линия лампасов брюк спортивных. Почти «Адидас», только на босу ногу. В смысле, без кроссовок. Но в тапочках, подвязанных проволокой к ногам в обмотках из грязных бинтов.

В целом же в облике этого переростка лет шестидесяти от роду, что стало заметно куда позже, мало что могло вызвать благоговейный трепет. Разве что отвращение…

Запоздало Гребнев подумал, что плащ-накидка могла скрывать даже не пистолет — автомат, и тогда бы ему пришлось несладко. Но в поднятых руках, заставлявших мужика в накидке горбиться, не было оружия. Да и не чувствовал Игорь от него угрозы. Скорее страхом и грязью от мужика тянуло, такие только в самый последний момент могут попытаться напасть, когда деваться просто некуда, и уже поздно пить боржоми. Да и всё остальное тоже поздно…

Но не из таких же ли и сам Игорь? Он ещё не понял, что случилось, но уже был готов зубами грызть, чтобы выжить. Почему и что случилось знал он скорее приблизительно, но тут и не нужна была точность. Когда с результатом всё было ясно. Предельно ясно.

Как минимум истреблена Русь изначальная. Судя по тому, что Гребнев видел своими глазами. И уничтожена давно уж, судя по пыли на камнях. Не исключено, что и Московии досталось. А то и вовсе ничего не осталось. Ни от кого. Потому что мёртвый город был намёком на некое новое оружие. Когда истребляется всё живое, но дома и заводы, что куда важнее, остаются целыми. Да только работать на них уже некому. Как и воевать за них. На том всё и заканчивается.

Но так ли это?

— Ты кто? — не отставал от тени Гребнев.

— Так это… Молчанов я…

— Да будь ты хоть Пустобрёх-Говорунчиков. Кто ты спрашиваю, а не фамилию. Что мне с ней делать? В паспортный стол идти? Чтоб выяснять откуда ты такой красивый нарисовался?

— Так это… Живу я тут… Поблизости…

— Один? Или много вас тут таких?

— Откель много-то? Как шмальнули по нам, так и не осталось, считай, никого. Кто не умер сразу, тот пылью стал.

— Как это? — не понял Гребнев. Но взгляд долу опустил. В эту самую пыль. Которая, не исключено, в прошлой жизни была хорошим человеком.

А стоящий напротив мужик в плащ-накидке словно мысли его подслушал:

— Да ты откуда таков будешь, раз не знаешь, што тут было? Где так хорошо уберечься-заныкаться удалось? Мож, и я туды подамся… Надоело шариться тут по помойкам, ничего уж не осталось, чтоб выживать… Всё подъели…

— И сколько ж ты по ним шаришься? И вообще, как сам уцелел, если все пылью стали?

— Дык с того самого дня и шарюсь…

— С какого? С какого такого дня? Ты можешь с толком объяснить, по порядку. Считай, что я только что родился, и ничего про ваши дела не знаю…

Молчанов или кто он там был, опустил к плечам прежде покорно вскинутые руки, сбросил капюшон плащ-накидки. И на свет божий, при полном отсутствии света в прямом его понимании явилось нечто. Похожее на лицо.

Приплюснутая с макушки голова, в вязаной шапочке некогда красного цвета с завитком «NICE». На широком лице — щёлочки слезящихся глаз, с мешками под

ними. Точнее даже с бурдюками — вина в мешки не нальёшь, а в бурдюки наливали. Или в прошлой жизни этого недобитка, или он и ныне умудрялся где-то заправлять свой сизый нос. Плоский, мясистый. Чагой или капом нависающий над пухлыми губами, прикрытыми сверху раздёрганной макловицей усов. Росли-то они в разные стороны и разными цветами. От рыжего до иссини-белого, седого. По щекам — россыпь прыщей. Вряд ли подростковых — в таком-то возрасте, скорее от грязи. Или от неведомой хвори. Что было не из приятных предположений, и Гребнев отступил на шаг. Не столько от страха заразиться.

Стоящий перед ним мужик был на голову выше и, чтобы видеть его лицо, Игорю приходилось задирать голову. Дабы не рисковать, прозевав неожиданное нападение, которое тот мог выдать мимикой. Даже с учётом того, что Молчанов был как минимум не моложе, если не старше Гребнева, подставляться не хотелось. Ведь этот гигант был уникум — выжил там, где почти никого не осталось. И что там у него на уме… Великовозрастном. Это если судить не только по прыщавому лицу, но и по рукам. Морщинистым, грязным, с обломанными ногтями. На левой руке. Правая была в вязаной перчатке. Но такой замызганной, что её исходный цвет уже не определялся. Что, впрочем, могло не иметь никакого отношения к делу. Вот только сути этого дела Гребнев досель так и не узнал. Разве что получил некие подтверждения своим домыслам.

— Так, давай с самого начала. Когда всё случилось? И что?

Игорь оглянулся на машину. Нина, прильнув к стеклу, пыталась разобрать о чём идёт речь.

Вот ещё взялась на мою голову. Намедни едва не сдала, а теперь ещё и думай о ней. Раз с собой взял.

Самому бы выжить, вздохнул про себя Гребнев. А вслух скомандовал:

— Нина, иди сюда, чтоб дважды потом не повторять!

— Так ты ещё и с бабой! — неожиданно оживился Молчанов. — Не видел ни одной с того самого дня…

— Но-но, никаких баб. Это Нина, — не оборачиваясь на звук хлопнувшей дверцы, представил свою нечаянную попутчицу Гребнев. — А ты давай, рассказывай… И с самого начала.

Молчанов не был таким краснобаем, как покойный владыка. Тот всё по полочкам разложил. А этот перескакивал с пятого на десятое, потом наоборот. Да ещё и гнусил неимоверно. Так, что и голос его пропадал порой. От слова совсем. То ли горло пересохло у рассказчика, то ли от жизни такой — в развалинах — слов нормальных из него не выдавить. Но из путанного рассказа Игорь и Нина почти сразу узнали, что с того времени, как они выехали из дома, прошло… десять лет! Плюс-минус. Но десять!

Гребнев ничуть не удивился, а вот Нина, охнув, едва не опустилась в пыль, покрывавшую всё вокруг разбитой и заброшенной АЗС.

— Только не здесь, — удержал её Игорь, уже видевший под ногами не столько пыль, сколько останки исчезнувших жителей.

Как, почему — не вопрос. Не вопрос почему видел. И даже не почему останки исчезнувших людей — это пыль под ногами. Просто так ему подумалось. И увидел он в Нинином посягательстве на пыль, топтании её ногами, посиделками на ней осквернение их памяти. Хотя, по сути, мы всегда ходим по останкам. Былых цивилизаций. Людей, ушедших прежде нас. Наших родных. Да, они прорастают в цветах и деревьях. Одни мы рвём, другие рубим. Для тепла или украшения наших домов. И о том, что

удобрением им послужили наши предки, не думаем. Как и о том, что сами им станем. А тут Гребнева внезапно пробило на сочувствие. К тем, кого он никогда не знал. И уже не узнает. И даже память о них уйдёт с ним. С Ниной. С этим полусумасшедшим Молчановым, заросшим жидкой щетиной по самые глаза.

— Ты рассказывай, всё говори, как есть. И не тяни, — бросил он уже оборванцу, едва тот в очередной раз умолк. Сам же шагнул ближе к рассказчику, понимая, что неминуемо окажется в ореоле его ароматов. Но деваться было некуда. Мало того, что Молчанов гнусил, так ещё и голос его, писклявый, стал совсем не различим в налетевшем утреннем бризе, пошевелившем пыль под ногами.

— Дык я и говорю… После того, как сковырнули нашего самодержца, — «Сковырнули-таки», — не без злорадства констатировал Игорь, но только про себя, — Всё и началось. Мы ж вроде с НАТОй тогда воевали, просто она к тому времени ещё не подошла. А как подошла, так и в Москве не стало с кем разговоры разговаривать. Оно ж вишь как вышло-то. Поначалу нам вирус кинули. Из Москвы. А потом сами в ответку получили. Да кое-что похуже.

Гребнев не стал поправлять Молчанова в том плане, что вирус был свой, местный. Ну, да, по заказу Москвы. За что и поплатились, получив зону отчуждения на правом берегу. Но что получила Москва? И куда уж хуже?

— Там, вишь ли, эти, из НАТы, изобрели… Вирус, не вирус… Как-то они его называли, забыл уже. Говорили вроде это вам за вашего новичка. Немного нашего типа старичка. Как-то так. Не понятно, да и не важно. Суть в том, что посеяли они эту заразу над нами. Как когда-то поля обрабатывали. Этими, «кукурузниками». А тут шмальнули ракетой в белый свет, а когда долетело —

взорвали. Над всеми, не только над Москвой. А уж народ-то и расстарался. Кто вдохнул, тот и помер. Сразу. А кто не помер, пылью стал. Чуток погодя…

— Ты же как живой остался?

— Так я ж говорю… Вирус не совсем был вирус. Не на всех действовал. Маркеры там какие-то… Не разбираюсь я в том. А за давностью и ненужностью позабыл уже. Но сам оказался счастливчиком. Счастливчиков Молчанов, — попытался хохотнуть рассказчик, но вместо этого зашёлся в кашле. И стал говорить ещё тише.

Чтоб разбирать и без того едва слышную и частично бессвязную речь, Гребнев сделал ещё шаг вперёд. И тут же в кармане пискнул брелок дистанционного доступа к машине. Сигнализируя, что он вышел за радиус его действия. А сама машина за спиной Игоря подмигнула ему подфарниками, напоминая, что закрылась ввиду того, что он её оставил без присмотра.

Игорь непроизвольно оглянулся. И тут же ещё менее осознанно дёрнулся в сторону, уходя из-под удара какой-то дубиной, взметнувшейся над его головой.

Как он заметил этот замах в предрассветной серости, было непонятно. Да и не до того было, чтоб разбираться в этой счастливой случайности.

Ведь в тот же миг, по другую сторону от Игоря, вскрикнула Нина.

Краем глаза — во все глаза он пытался разглядеть напавшего на него, Игорь увидел, что его женщину, пусть меж ними и не было ничего, с двух сторон уже подхватили две бесформенные тени. Точно такие же, какой предстал перед ним Молчанов, выбираясь из мрака павильона АЗС. Невзрачные, бесформенные. Не похожие на людей.

Но Нина была его женщиной хотя бы потому, что, указывая дорогу, она ехала рядом с ним сквозь мёртвый город. И он не мог позволить, чтоб теперь над ней

надругались какие-то мерзкие типы. Как тот, что нанёс не достигший цели удар ему самому. И нужно было на что-то решаться. Уйти переворотом в сторону, догнать вцепившихся в Нину. Убить нападавшего со спины. Но для этого нужно было сделать кувырок. Потом вскочить, и…

Вот только кувырок делать не хотелось. Потому что под ногами была пыль. Густой слой. В котором и задохнуться можно, если вся эта пыль взлетит после кувырка. Более того, если верить Молчанову, то была не просто пыль — прах людей, на которых подействовал вирус, оказавшийся бессильным перед Молчановым. Но поразил всех или почти всех остальных. И падать в эту пыль, рассеивая её по ветру, — кощунство.

Но сейчас ему было не до почтения к мёртвым. Прах мог быть и ядом. В котором остался жить вирус. Так что дышать отравой было никак нельзя. Как и устраивать из неё дымзавесу.

Стараясь не упустить из виду Нину, Гребнев опрокинулся навзничь, вскидывая пистолет в ту сторону, откуда ему едва не прилетело по башке. Глупой, расслабившейся. Расчувствовавшейся. И из-за чего? Из-за пыли? Вряд ли. Но в любом случае голова оказалась слишком доверчивой. Хотя и получала уже не раз за свою доверчивость.

По умолчанию настроенные на троекратное подмигивание при запирании машины, подфарники подсветили ему цель. На последней вспышке, вроде как последнем издыхании, но всё ж. И он, не целясь, нажал на спусковой крючок, жалея, что не прихватил из машины хотя бы один автомат.

Врагов было как минимум четверо. Включая Молчанова. А он один. И всего лишь с пистолетом. Пусть и много в нём патронов. Но стрелять можно только одиночными. А нужна очередь. И длинная.

И тут уже после первого выстрела кто-то взвыл. А Гребнев, резко переведя ствол в другую сторону, пальнул в пытавшегося откашляться и потому стоявшего истуканом Молчанова. И уполовинил тем самым, как он решил, число нападавших. Точнее, тех из них, что видел. Но их оказалось больше. И, видать, значительно больше…

7

Его упорно тянуло в Москву. Неведомо зачем, но он знал, что ему надо именно туда. Откуда знал? Просто знал, и всё.

Нет, не всё. Он и держал путь в Москву. На сиденье рядом, нарушая порой молчание, тяжкими вздохами всхлипывала Нина. И это нервировало, не позволяло сосредоточиться на мысли о цели самой поездки. Но пока Игорь просто рулил. Временами прикладывая руку к груди, чтобы унять гнездившуюся там боль. Получалось так себе. Хорошо ещё что дорога, когда город остался далеко позади, не была изрыта воронками так, как это было в самом Ярославле, где он вначале едва не сверзься с моста в реку, позже едва вырулил переулками на Московский тракт. А после, уже за городом вовремя затормозил перед огромной ямой — на обе полосы шоссе. И объехал по обочине ловушку, рассчитанную на тех, кто бежал из города.

Ловушка вряд ли была природной. Но и не совсем рукотворной. В том смысле, что яму не копали. Здесь рванули резервуары ещё одной АЗС, конкурировавшей с той, на которой едва не закончилось его путешествие. А в этот раз он уцелел потому, что скорости не было. Ведь метров за триста до ямы он останавливался в городской черте, на той самой, конкурирующей АЗС. Когда-то давно конкурировавшей. Останавливался, и едва выжил. В скоротечной схватке с новым городским дном.

…Дважды выстрелив в нападавших, Гребнев по скулежу справа решил, что как минимум одного подстрелил. Того, что целил ему дубьём в голову. И тут же попытался встать — из положения лёжа на спине много не навоюешь. Но в тот же миг его, начавшего движение влево, чтоб опереться на свободную руку, едва не пригвоздил к бетонному крошеву, оставшемся на месте асфальтобетонного основания АЗС, осиновый кол. Как вурдалака какого-то. Или бабочку.

Но бабочки были у него в животе. Как всякий раз, когда ситуация выходила из-под контроля.

Впрочем, не исключено, что и ситуацию он пусть не контролировал, но держал на прицеле, и кол не был осиновым. Вот только и дополнительных жизней у Гребнева не было. Тем более крыльев, и порхать он не мог. Но ещё мог противиться неизбежному. Вроде как неизбежному…

Кол, скользнув по рёбрам и прихватив остриём свитер, всё ещё хранивший пятна крови убитого в рукопашной жандарма, с визгом вонзился в какую-то щель в асфальте.

В следующее мгновение, когда Игорь уже смог рассмотреть возникшее из ниоткуда орудие, едва не ставшее причиной его преждевременной смерти, пришла и боль. Саднящая, перехватывающая дыхание, но отнюдь не смертельная. И Гребнев продолжил свой переворот влево. Потому-то и упёрся чуть ли не носом в грубо затёсанное остриё. Которое должно было пронзить его, но лишь порвало вязаную руками покойной жены водолазку.

Кол, на который он налетел всем телом, стоял как вкопанный. Чего нельзя было сказать о том, кто его держал. Его, в отличие от орудия убийства, Игорь разглядеть не мог — так, бесформенная тёмная масса. Мало отличающаяся от Молчанова, когда он предстал в самый первый

момент, выйдя из темноты павильона. И эта тёмная масса, не отпустившая кол, была у Игоря за спиной. Но когда Гребнев навалился на застрявшую в бетоне заострённую оглоблю всем своим весом, чёрная масса, едва не убившая его, пролетела мимо. Словно выпущенная баллистой. Пусть и была эта метательная машина всего с одним плечом. Но и оно сработало. Рычагом сработало.

Кол, застрявший заостренным концом в расщелине, лишь распрямился, когда на него начали действовать в противоположных направлениях две силы. И швырнул вцепившегося в него своего носителя через голову Гребнева. А уж Игорь не сплоховал на сей раз.

Не обращая внимания на боль в боку, он подхватился вначале на четвереньки, а после и выпрямился. Мигом окинул взглядом поле боя. И принял нелёгкое, но верное решение.

Две тёмные фигуры тянули Нину куда-то вбок, в сторону крышек резервуаров АЗС. Ещё две тёмные кучи указывали на тех, кто уже попытался завалить Гребнева. Причём из-под одного капюшона доносился надсадный вой — это тот, что целил дубиной в голову. Вторая плащнакидка пока ещё только ковырялась в пыли, пытаясь подняться и вцепиться в свой кол. Молчанов исчез. То ли получил своё, то ли сбежал. Или просто затаился в темноте павильона. Но никем из этой «великолепной» пятёрки Игорь, выронивший падении пистолет, не заинтересовался.

Он, вопреки логике боя, метнулся к машине. Которая, едва он вошёл в радиус бесключевого доступа, радостно подмигнула ему. И открыла замки дверей. Всех.

Рванув на себя левую заднюю дверцу машины, Гребнев подхватил верхний автомат. Давно, ещё перед выездом изготовленный для стрельбы очередями. С патроном в патроннике. И повёл стволом в сторону

уводивших Нину. Ему, правда, пришлось в два шага обойти машину, прежде чем они оказались на линии огня. Но и он времени зря не терял:

— Стоять! — ещё от двери взвыл Игорь нечеловеческим голосом. Годы на командных должностях, да среди моряков, где далеко не все и не всегда всё понимают с первого раза, не прошли даром. Окрик был такой силы, что один из тех, кто тащил Нину, даже присел от неожиданности. А уж когда над их головами прогрохотала автоматная очередь, и второй откинулся. В прямом смысле — отпустил женщину и рухнул мордой в пыль.

Ему бы тут же и добить их, подхватить Нину и умчаться. Смотаться по-быстрому. Куда угодно. Но лучше в сторону цели своего пустого по смыслу путешествия. Однако вместо этого Гребнев вынужден был переключить своё внимание на нарастающий гул со стороны подступавшей к АЗС посадки. Некогда здесь, видать, были только отдельные деревца. Но за минувшие годы, а их немало миновало, рощица стала почти лесом. На самой окраине города.

И из этого подлеска на АЗС изломанными шеренгами в три линии с воплями и улюлюканьем валила нестройная толпа. Таких же тёмных теней, с которыми Игорь только что сражался. Только теперь их было не в пример больше. Уже пальцев и двух рук не хватит сосчитать.

Он и не стал считать. Развернул автомат в ту сторону и дал три очереди. Длинных. Веером. Не над головами, а на уровне груди. И тут же отступил к машине. Сопровождаемый криками боли и ужаса.

Толпа поредела и осела. Но не вся. А ещё на одну очередь патронов не было.

В этом автомате.

Зато у него был целый арсенал. Так что упавшие под его выстрелами не успели ни нарыдаться от боли, ни встать из пыли — те, кто уцелел, отделавшись лёгким или не смертельным ранением. А в руках Гребнева был уже второй автомат. И тоже с патроном в патроннике.

В этот раз он вёл огонь в щадящем режиме. Щадящем для боекомплекта. Зато вой по периметру АЗС стоял знатный. На каждый выстрел стоны отвечали с удвоенной силой. И уже через считанные секунды над полем боя возвышалась только Нина, оставшаяся стоять, хотя её более никто не держал, и можно было бы попытаться добежать до машины. Но она стояла, не шевелясь. Словно застыв от холода. Пронизывавшего и Игоря, оценивавшего результаты своей стрельбы, выглядывая из-за внедорожника и поводя автоматом от одной шевелящейся кучки к другой, где только стоны выдавали наличие жизни.

Не меньше дюжины убитых и раненых остались на месте скоротечной схватки. Последних — никак не меньше половины от поражённых целей. Преследовать выстрелами тех, кто пустился в бега уже после первых очередей, Гребнев не стал. Но автомат сменил. И тут же сменил использованные магазины — больше на счастливый случай он не собирался полагаться. Только снаряжённые автоматы и спасли их с Ниной. Ну и капелька удачи.

В предутренней тишине, омрачаемой стонами раненых, за спиной Гребнева заскрежетал камень под чьей-то ногой.

Игорь вскинул автомат, теперь уже поверх капота машины. И вовремя.

Забытый после выстрела из пистолета любитель увесистых дубинок вновь заносил своё орудие, чтобы садануть по Гребневу. И вновь не вышло. Пуля из автомата пробила нападавшему грудь, отшвырнула на несколько шагов. Однако дубина, уже занесённая для удара,

пролетела по намеченной траектории. И упала. На капот. От чего Игорь дёрнулся так, словно это ему досталось. Пусть и была машина чужой, но к автомобилям питал он непонятный другим пиетет.

Коснувшись ладонью крыла внедорожника, легко, словно извиняясь за причинённую боль, Гребнев ещё раз огляделся.

Две чёрные кляксы — те, кто держали Нину, растворились в рощице. Но в ином от бежавшей толпы направлении. За разрушенной стеной павильона, словно угодивший в капкан зверь, ныкался на одном месте — шаг влево, шаг вправо и назад, хмырь с колом. Отточенное жало его орудия, оставившего зарубку на теле Игоря, отсвечивало в предрассветных сумерках грубо содранной древесиной. Этот не сбежал, что удручало и напрягало. Ещё и оружие своё, застрявшее в асфальте, прихватил, пока Гребнев был занят. Но не убегал он не потому, что хотел вновь напасть. Скорее, боялся возвращения тех, что атаковали АЗС со стороны города. Потому как на Игоря и внимания он не обращал, качался себе из стороны в сторону и качался. Хотя был практически на мушке.

Одного только Молчанова видно не было. Но Гребнев не сомневался: если он его не ранил и не убил, то хитрый амбал, отвлёкший сказками его внимание, где-то прячется в развалинах, никуда не убежал. А ведь были ещё и раненые и потому не сбежавшие члены банды, скопом навалившейся на АЗС. Никак вражда у них была с засевшей здесь пятёркой чумазых обитателей окраины? А Гребнев с Ниной попали меж ними…

— Ты как? — окликнул он женщину, всё ещё не определившись, как к ней обращаться. Нина же пребывала то ли в прострации, то ли вовсе в иных мирах. Но явно не площадке у разрушенного павильона АЗС, ставшей полем

боя. И едва не ставшей её последним пристанищем. Если бы не автоматы Игоря.

Впрочем, автоматы были не его. Ему принадлежали умелые руки, не позабывшие некогда отточенные навыки. Вот и выбрались они из передряги. Почти выбрались.

— Нина, давай-ка в машину, — наконец-то назвал он её по имени, чтобы вывести из транса. — И за руль садись. Не исключено, что дальше ты поведёшь. И пока не скажу — ни шагу из машины.

Женщина повела в его сторону очумелым взглядом, содрогнулась всем телом, но в итоге, кажется, всё ж поняла, что от неё требуется. И мелкими шажочками, как гейша, засеменила к задней, распахнутой двери машины.

— Не туда! — окрикнул её Игорь, уже сделавший с полдюжины шагов к павильону АЗС. — За руль, я сказал, за руль. Ты поведёшь. Не забыла ещё как это?

Только сейчас он почувствовал, что ранен, и не исключено что серьёзно — левый бок нестерпимо жгло. Как и грудь. Что не удивительно. Кол, видать, не просто скользнул по рёбрам и порвал не только водолазку. Да только сейчас было не до раны — следовало серьёзно пообщаться с Молчановым.

Не месть двигала Гребневым. Желание понять и разобраться в происходящем подталкивало поставить точки над «i». Но не во вражде двух банд, в чём он почти не сомневался. Оставались вопросы нынешнего мироустройства. А никто иной, кроме Молчанова, ответить на них не мог. Не гоняться же ему за этим дебилом, что с колом. Ещё двоих и след простыл. Да и от машины нельзя далеко отходить. Нина, испугавшись, чего доброго, может и на газ нажать, оставив его здесь. Далеко не уедет, но и Гребнев без своего арсенала долго не продержится. Тот же хмырь с колом не просто так притаился. Чует, как игуана,

куснувшая свою жертву. Ждёт, что выпущенная отрава парализует. В данном случае — просто рана, Гребнев всё ж надеялся, что не был кол смазан каким-нибудь ядом. В противном случае ему хана, аптечка из машины — это так, для ГАИ отмазка. Да и той уже нету. Пользы от жгута с зелёнкой почти никакой. Особенно если рана на груди, где жгут и вовсе бесполезен.

Убедившись, что Нина заняла место за рулём, Игорь сделал ещё шаг к павильону:

— Молчанов, если не хочешь, чтоб я тебя пристрелил, — выходи. Мне только поговорить с тобой. А дальше — как знаешь, ты мне не нужен.

Тут же в глубине павильона шевельнулась тень — утро хоть и не торопилось, но света уже было достаточно, чтобы отличать чёрное от серого.

— Точно не убьёшь? — раздался сиплый голос. Но почему-то из другого угла.

— Не я это начал, так что не торгуйся.

Гребнев повёл стволом автомата в сторону голоса, и понял, почему ошибся.

На фоне сквозного пролома в стенах павильона качнулась подвязанная к уцелевшему потолку верёвка. С её помощью, похоже, Молчанов поддёрнул кучу какого-то зашевелившегося барахла, что и отвлекло внимание Игоря. А они тут серьёзно воевать изготовились, с ловушками, распределением ролей… И если бы не его перевес в огневой мощи, ещё неизвестно, кто бы вышел победителем. В мире, где прежние критерии утратили своё значение, всё не так, как было прежде. И, как знать, может томагавки в руках новых индейцев, теперь уже российских, с кольём и дубьём, вновь сильнее пуль, как утверждал старик Купер. Который Фенимор. Утверждал устами своих Чингачгуков, а Гребнев запомнил. Он вообще очень многое помнил. Но Купер ошибся, и томагавки не победили.

Так то ошибка была для американского континента, у нас же свои ебеня…

— Выходи, нет у меня времени с тобой в прятки играть. Да и тебе, похоже, надо валить. Пока твои друганы не вернулись.

— Не друганы они мне, — подтвердил Молчанов догадку Игоря о враждующих бандах. — Грабить шли. У нас тут как бы блиндаж. И склад. Вещевой. Собираем барахлишко окрест. Торгуем помаленьку. На еду меняем. А им токо бы грабить. Уж не впервой. Но везло покуда. Хорошо ещё огнестрела у них нет, это центровые таким пробавляются. Хотя патроны и они считают. Не то, что ты…

— А чего мне их беречь, — хмыкнул Гребнев. — На мой век хватит. А наследство мне оставлять некому. Нет достойных. Не твоим же шакалам, бьющим исподтишка…

— И то сказать, — неожиданно легко согласился Молчанов. — На открытый бой нас уже не хватает. Ещё неведомо, как бы всё закончилось, не устрой ты тут пальбу. Вот только Ганса, что ты положил, жалко, самый крепкий был из нас. Ну да сам дурак, с дубьём на ствол попёр. С одного раза не понял. Что с него возьмёшь, немец. В смысле немой. И упёртый. Был. Потому и Гансом звали, упокой господи его душу. Так что я не в претензии. Спрашивай, что хотел. А то ведь, того и гляди, вернутся нефтестроевцы.

— Кто-кто?

— Ну, эти, дружки которых воют вон там, — Молчанов выпростал руку из-под своей плащ-накидку, указав на границу рощицы. — Мы, пока их нет, пощипаем недобитых, ты уж не обессудь. Что добудем, то наше. Но если хочешь — первым иди. Бери, что хошь…

— Нет уж, покорно благодарю.

— Тады я своих отправлю, ты уж не пуляй в них. Раз сам от барахла отказался, — Молчанов всё тем же сиплым голосом просвистел что-то в темноту.

Он очень быстро оправился от потрясений, и вновь стал полновластным хозяином развалин. Это не понравилось Гребневу, но он не стал перечить Молчанову. На зов которого из мрака павильона появилась ещё одна тень. Тоже в плащ-накидке — похоже, такое одеяние было непременным условием выживания в этих местах и временах.

Новая тень была приземистая, неуклюжая. А её накидка — короткая. И из-под неё торчали кривые ножки. Гребнев готов был поклясться, что женские, пусть и были они в таких же трениках, как у Молчанова. Хотя Молчанов и божился, что баб не видел со времени происшествия, которое подвело черту под всем, что было до того.

Выйдя из мрака павильона, новая тень действительно оказалась женщиной. Но такой страшной, что Молчанова можно было и простить за его ложь.

Пучок седых, спутанных волос, крючковатый нос, глаза навыкате, слюнявый рот. Определить её возраст было невозможно, разве что уважать седины. И… болезнь.

Скорее всего, подруга Молчанова или кем она ему там доводилась, служанка, экономка, но вряд ли любовница, потому как это должна была быть совсем уж неземная любовь, чтобы спать с такой, была сумасшедшей.

Она что-то бормотала себе под нос, разводила перед собой руками невидимые заросли, втягивала, сложив гузкой губы, воздух. Который становился заметно прохладнее. Или это уходило тепло, что Гребнев прихватил с собой из машины? Или же тепло уходило через рану?

Надо бы перевязать, подумал Игорь. Но чуть погодя. Вначале дело — закончить разговор с Молчановым. У которого свои дела, и долго терпеть расспросы он не

станет, даже под дулом автомата. Нырнёт в свои трущобы — и поминай как звали. Тем более что Гребнев и не спрашивал имени…

Старуха, неловко ступая по обломкам, но повинуясь жестам Молчанова, не очень понятным посторонним, зато доступным её больному мозгу, прихватив дубину Ганса, поковыляла в сторону, откуда доносились стоны. Компанию ей, шагнув с того места, где застыл, сбежав с поля боя, составил копьеносец. Или, точнее, колоносец. Но так же молча.

Молчанов, не удостоив своих подданных вниманием больше, чем нужно, обернулся к Гребневу:

— Так-то спасибочки, что подсобили. И добыча, какая-никакая, будет. Да и нефтестроевские поубавят прыть. На недельку-другую. А там, глядишь, и прибьётся кто к нам. Заместо Ганса…

Игорь приложил руку к раненому боку, глядя как мародёры идут чтобы поживиться тем, что он добыл. Не то чтобы ему совсем ничего не нужно было в мире, где ничего, почитай, не осталось от прежних благ цивилизации. Но вряд ли он хотя бы что-то ценное найдёт у раненых. Так что это была бы пустая трата времени и сил. Да ещё и за молчановскими нужно было бы присматривать…

— Ты мне, Молчанов, лучше вот что скажи… — проводив взглядом нарисовавшиеся на опушке рощицы тени парочки, едва не похитившей Нину, устало обронил Гребнев, надеясь, что не придётся отбиваться ещё и от этих уцелевших обитателей АЗС. Но тут старуха, добравшись до воющих раненых, хряснула кого-то по макушке дубиной, так что треск лопнувшей черепушки заглушил все остальные звуки, в том числе и вопрос Игоря.

Вот оно, будущее. Наступило. Со всей своей пролетарской ненавистью наступило. И прямо на горло. Или

просто снялись все запреты, и открылось истинное лицо народа? То, что пряталось до поры?

8

Косноязычный рассказ Молчанова мало что прибавил к предположениям Игоря. Разве что Нину расстроил бы, окажись она рядом. Но Гребнев благоразумно закрыл её в машине. Заняв же место за рулём, после того как его женщина неумело — ему самому пришлось грязными руками прилепить к ране надорванный лоскут кожи, но старательно перевязала ему грудь бинтом из аптечки, попытался связать всё воедино.

Получалось плохо. И складывать, и результат. Из хорошего была только рана. Поверхностная — частично обнажившееся после удара колом ребро уцелело. Только кожу сорвало. До кости, правда, но это так, несерьёзно.

Из плохого же было то, что даже бадлон, как называли его водолазку в бандитском Ленинграде начала прошлого века, оказался безнадёжно испорчен. И переодеться было не во что — Нина рубаху своего сына, которую предлагала Гребневу прежде, оставила дома. Пришлось ехать в окровавленном рванье, противно липнувшем к телу. Но это вроде как помогало поддерживать незримую связь с покойной женой. Она и после смерти заботилась о нём, согревала. Как и при жизни — Гребнев только сейчас понял, сколько всего было на ней — забот, проблем, дел. Особенно после того, как старуха с косой едва не порешила его. Но промахнулась. И отыгралась на его жене. Которая при всей своей если не святости, то куда большей, чем у Игоря, человечности была убита. Безнаказанно убита. Представителем власти. Которая должна была стоять на страже закона. Она и стояла. Вот только законы всякий раз переписывались, чтоб соответствовать тому, что эта власть защищала. И это ещё Гребнев не знал, что в

годы, минувшие в его скитаниях между временами, представители этой самой власти затребовали от той самой части самих себя, что издавала законы, внести изменения даже в правила дорожного движения. И прекратить уже в конце концов карать их за пьянство за рулём, наезды на пешеходов и прочие «мелкие» нарушения. Хорошо ещё не потребовали наград за свои прегрешения и преступления на дорогах. Ну да они и так были не в накладе. Взятки, неправосудные решения, у которых была своя цена, та же безнаказанность…

Впрочем, не это сейчас занимало Гребнева. Просто всплывшее в памяти воспоминание о жене вывело его на другую мысль, имеющую практическое значение. Он ещё не знал какое точно, но был уверен: нет худа без добра. Хотя, куда более важным было то, что она, эта мысль, ещё и примиряла его с поверженной властью — о мёртвых ничего, если хорошего сказать нечего. А хорошего действительно не было. От слова совсем. Да и власть была такой. Мягко сажем, нехорошей. Задолго до того, как сама себя извела. Под ноль. Жаль только, истребила вместе с остальным людом. Впрочем, и по заслугам как бы. Что власти, что людишкам, убогим, поклонявшимся бездушным и безумным тварям, захватившим эту самую власть. Ведь и не протестовал почти никто. Когда ещё можно было…

Теперь же, как напоминание о том, что уже ничего не исправить, вдоль дороги на Москву по обочинам ржавели остовы машин, большей частью легковых — грузовики валялись в кюветах или были сожжены. Когда с них ничего взять уже стало нельзя. Пронизанные трассой посёлки были пусты. И мертвы. С людьми-то было всё ясно. Вирус, о котором говорил Молчанов. Но куда делись собаки и прочая домашняя живность? По идее, должны были одичать. Но выжить. Однако ни одна тень нигде не мелькнула за два с половиной часа в пути.

Деревенские дома, что мелькали за окнами машины, в большинстве своём уцелели. И разрушались скорее под воздействием времени. Оказавшись без присмотра. Да под напором растительности. Удивительно, что асфальт дороги, хоть его и хаяли все кому не лень, до сих пор окончательно не сдался траве и кустикам, заполонившим полосу отчуждения трассы. Но пару раз Гребневу всё же пришлось ехать в тоннеле из ветвей, сомкнувшихся над серединой дорожного полотна. В трещинах которого в свете разгорающегося утра топорщились не до конца облетевшие листики и травинки странного оранжевого цвета. Ясное дело, осень, поздняя, почти зима. Но это не был цвет умирания зелени. Это был цвет новой жизни. Которая настала после смерти. Не травы — людей. Трава выжила, и мутировала. По крайней мере, цветом. Чего-то подобного можно было ожидать. Может, и не нужен теперь хлорофилл траве. Или она из воздуха ещё что-то берёт, что окрашивает её в оранжевые цвета. Как сборную Нидерландов по футболу — иных привязок этого цвета Гребнев не помнил из прежней жизни.

Не было, как заметил Игорь после того, как окончательно рассвело, и птиц. Улетели в тёплые края? Ну так не вороньё же… И летающие крысы — голуби — тоже не летают дальше двора, где можно поживиться. Об этом Молчанова он не спросил — что ещё осталось или изменилось после вирусной атаки. Как и о количестве выживших не задал вопрос. Да, кроме нефтестроевских были ещё и какие-то центровые. И даже с огнестрельным оружием. Вот только судя по тому, что Молчанов с таким малым числом последователей по собиранию отходов и добычи из них пропитания, выживал все эти десять лет, врагов у него должно было быть не так чтобы много. Значит, количество неподвластных вирусу могло исчисляться

сотнями, максимум тысячами. Но не десятками тысяч. Вот и всё население…

Пыль поднималась из-под колёс. И это зимой? Молчанов в своём рассказе обронил, что до нового года осталось двадцать дней. Старого нового. Не того, что был по старому стилю, потому как теперь он стал древним стилем. А старого, потому как после вирусной атаки годы начали считать от неё. Как и их наступление. Вот их-то и прошло почти десять. Старый же счёт вёлся с недельным отставанием от нового нового года. На две недели опережая древний счёт. О котором выжившие уже начали забывать. Чтоб не путаться в датах. Но Молчанов не забыл. Он потому и сказал, что памятью решил прихвастнуть. А там и насчитал дни до нового года. Хотя лучше бы канистру бензина нашёл. Но, как бы то ни было, до этой новогодней даты и осталось двадцать дней.

У Переславля скорость совсем упала. Не из-за пыли — из-за воронок. И белевших кое-где скелетов. Тех, кто пал задолго до того, как некий вирус уничтожил всех, кто вдохнул распылённое ядовитое облако. Это по словам Молчанова. А как помнил Гребнев из рассказов скоропостижно вознёсшегося владыки, здесь-то, под Переславлем и были основные бои с московитами. Отсюда и обглоданные до костей, а не ставшие пылью трупы. Они умерли или погибли прежде, чем вирус проник в их лёгкие.

Владыка же был вознёсшимся во всех смыслах — и во власти, и в смерти. Причём, действительно скоропостижно. В обоих случаях. Не то, что Игорь, объезжавший рытвины и провалы в асфальте даже не медленно, а едва ли не ползком, если это применительно к поездке на машине. Проскочить разрушенный участок по обочине или и того дальше, по подмёрзшим полям, он не рискнул. Справедливо опасаясь, что поля давно, ещё в пору боёв, могли стать минными. Вот и крался со скоростью

пешехода. В руль вцеплялся побелевшими пальцами перед каждой новой ямой. И ехал по самому краю многочисленных провалов. Всякий раз ожидая или взрыва, или провала в воронку.

Когда же превращённый в груду камней пост ГАИ, бывший некогда долговременной огневой точкой на линии фронта, остался чуть позади и справа, и из сумеречного тумана выступил остов часовенки, удивительно целой на фоне окрестной разрухи, Игорь перевёл дух.

— Мне нужно вздремнуть, — бросил он в пустоту за лобовым стеклом, в котором отражалось его посеревшее лицо. И свернул с дороги.

Нина ничего не сказала на это. Она сама была готова отключиться, и цеплялась из последних сил за остатки сознания, уставшего созерцать мёртвый пейзаж за стёклами машины.

Гребнев мысленно отметил, что часовня только со стороны дороги оказалась уцелевшей. Так что никакого божественного провидения, сохранившего её в относительной целости, не было. А был снаряд, который снёс повёрнутую к лесу задом часть часовенки. Снёс начисто. Чтоб богу было удобнее заглядывать в свой дом. Если это был его дом, а не ложных идолов…

Ещё через минуту, откинув спинку сиденья и рухнув на неё всем телом, Игорь уже спал. Точнее, спало тело. А мозг продолжал упорно складывать мозаику из последних и давних событий…

Но прежде, ещё не успев смежить веки, он представил свою дочь. Как-то она там, далеко, за морем? Если здесь такое… Был ли ответный удар? И если был, то какой? И выжила ли в этом случае его Оки-доки? А если выжила, то хорошо ли это? В таких-то условиях… Когда живые могут позавидовать мёртвым…

Додумать он не успел. Эту мысль. Потому что переключился на другую. Почти сказочную. Ставшую сном.

…И снилось Гребневу, что всё случившееся произошло из-за мерзкого старика Похабыча. Плешивого недоросликa. Отличающегося от волшебника отсутствием бороды. Но вознамерившегося жить вечно. Не в кувшине — в бункере. И при этом желавшего вечно же править. Хотя его в Джаханнаме, мусульманском аду, давно уже заждались иблисы. Те самые, которых он давно, в самом начале своей карьеры подставил, использовав как расходный материал. Чтоб власть получить. Пообещав им одно, и тут же сдав их — с потрохами. В прямом смысле — от их тел мало что осталось. Кого взорвали, других в упор расстреляли. Свидетели Похабычу были не нужны. Зато после всего, что он учинил с помощью преданных и тут же проданных иблисов, напуганные людишки сами, на блюде и с поклоном принесли ему власть над собой. Потому что ничто не делает людей сговорчивыми более успешно, чем страх. Доброе слово, конечно, важно. Но куда внушительнее оно вкупе с пистолетом, приставленным ко лбу. Это ещё Аль Капоне говорил. А этот — усвоил. И запугал. Ему было чем пугать. Ведь он сам создавал эти страшилки. Взрывы домов. Захваты школ и театров. Заказные убийства. Чтобы взять власть, все средства были хороши. И тогда её можно было даже не просить — сами давали в обмен на защиту. Испокон веков так было. Приходил князь с дружиной, грабил городишко, а после говорил: теперь я ваш хозяин, и в обиду более не дам. Но слушайтесь меня во всём. Все и смирялись. Вот и этот не выдумал ничего нового. Даже лозунги, с которыми он шёл во власть — необходимость видимости демократии требовала выборов, его окружение воровало у предшественников. У тех, что были с такими же диктаторскими замашками. Да что там диктаторскими — прямо

надо говорить, фашистскими. Сразу то мало кто разглядел. А увидевших едва ли не камнями закидали. Какой он вам Похабыч? Спаситель Отечества! Ну, да, жену бросил, детишек чужих в пупок целует. Но он же за скрепные ценности! И что с того, что сам им не следует? На то он и вождь, право имеет…

В Джаханнаме, утверждают мусульманские богословы, растёт дерево заккум, у которого вместо плодов — головы. Вот этими головами он и играл. Вырастив древо террора и насилия. Но ему этого мало было. Потому как в волчьей стае место Акеллы, вожака, всегда нужно завоёвывать, постоянно доказывая своё право на него. А иных методов, как игра мускулами, для этого пока не придумано. Вот он и заигрался. Одного соседа прищучил, второго, во вкус вошёл. Ведь никто ж по рукам не дал. А в стае уже поднимали головы новые претенденты на роль вожака. И нужна была свежая кровь…

Нет, не в должности верховного. А там, где она льётся рекой — на войне, как её ни обзови. Льётся по приказу старика Похабыча. Давно оторвавшегося от реальности, живущего с подачи своих холуёв в эфемерном мире грёз. Детских обид, материализовавшихся в убийства тех, кто мыслил иначе. А мир тем временем офигевал, глядя как тысячи мобилизованных маршируют на смерть. За цели, которые едва ли не ежедневно меняются. Потому что возникают они не из добротно составленного плана пусть и неправедной войны. А из того, что получилось: чего сегодня добились, то и было целью. Беспроигрышный сценарий! Всегда победа. Даже там, где нас нет. И не было. Так и было задумано! Но как, как на одних и тех же улицах могли родиться стихи Мандельштама и бред новоявленного фюрера!? Гребнев не понимал это ещё в пору, когда по тем же улицам ночами ходил гулять с Кирой. Когда они уставали от любовных утех…

А ведь Похабыч и сам уверовал в то, что так задумано было. Колонны-то маршируют. Разве что без криков «Аве, Цезарь!». Так и это будет. Стоит ему только возжелать.

Он и желал, устраивая порой смотры всеобщего обожания. И верил в сказки о реальном бессмертии. Для себя. Любимого и неповторимого. А когда не вышло у криворуких подданных, и пришлось бросить бомбу, дабы избежать более разрушительных последствий, винил в провале своего бывшего постельничего. У него всегда наготове был список виноватых. От печенегов до Ленина. А уж его-то постельничий, губернатором поставленный в ближайшей к Кремлю, и по этой причине очень заметно депрессивной волости, и вовсе оказался, как и предупреждали доброжелатели, редкостной сволочью. На которую можно многое свалить. Вишь ли, он же и в спину ударил. И когда! Страна в опасности! Мы напали, чтоб на нас не напали! А он…

То же, что гибли русские люди, те самые, которым он защиту обещал, ради которых якобы и земли некогда русские вернуть вознамерился, Похабыча не волновало. Прикажет — и бабы, на заре его властвования визжавшие, «Хочу от него детей!», ещё нарожают. Уже не от него. Но нарожают. А он потом пошлёт новонарОжденных умирать. Ради своих хотелок. И они, что самое смешное, пойдут. Как пошли их отцы. Которые так и не увидели сынов. И в этом виноват не Похабыч, а он, Игорь Гребнев.

А всё почему? Не довёл дело до конца. Когда провидение, само мироздание подводило его не только к мысли, но и к необходимости избавить мир от подрастающего монстра. Тем более, что не был он дитём человеческим. А послан был из преисподней. Или ещё откуда-то, едва ли не более дальнего и ещё более гиблого места. Не зря ж настоящий сын девы Марии, чудом выжившей после

того, как была она снасильничана будущим мужем, женившемся вынужденно, был умерщвлён точной копией Катюши, едва не убившей и самого Гребнева. Который был приговорён именно потому, что слишком близко подобрался к монстру. И знал то, что не знают другие. Но, увы, так и не сделал последний, решающий шаг. И вот вам результат… Или это закономерность? Закон Мерфи. Если что-то может пойти не так, оно обязательно не так и пойдет. И из всех возможных худших ситуаций произойдет именно самая худшая.

Извечный вопрос и предсказуемый результат. Нужно ли силой истреблять зло? То зло, которое ещё злом не стало. А вдруг это не Гитлер, а Бетховен? Если не знать будущего… И Гребнев бы не сразу принял нужную сторону, случись ему выбирать между человеком, наделённый талантом аквалериста, или глухим ребёнком из неблагополучной семьи, дед которого лишил его родителей покровительства. Один пошёл на фронт добровольцем, не отсиживался в тылу, сражался с врагами, лишился зрения из-за газовой атаки, был тяжело ранен. Вернулся, но оказался не нужен и неугоден власти. Стал пламенным трибуном и страстным патриотом, поднял отечество из руин, дав сотням тысяч кусок хлеба с маслом и цель — миллионам. Когда же понял, что его родина не приняла его жертв и сдалась, покончил с собой. Другой из-под палки учился, пробавлялся случайными заработками, продавал свой талант враждующим сторонам, воспевая сегодня одних, а завтра — их противников. При этом страдал от депрессии и глухоты. Пока не стал великим композитором. А его противник — главным злодеем двадцатого века…

Но если бы был сделан выбор…

Да, с грязной водой всегда можно выплеснуть и ребёнка. Но если не выплеснуть грязную воду…

Вот только… Если диктатора не берёт суд божий, значит, должен быть суд мирской, безжалостный. Это бог имеет право на жалость. Хотя никогда и не жалеет своих чад. Независимо от того, каются они, нет ли, веруют ли… И любой диктатор должен жить в страхе не перед божьим судом, а перед этим, человеческим. Перед его неизбежностью.

Вот Похабыч и прячется, живёт каждый день в страхе за свою никчёмную жизнь. Которая стоила сотен тысяч других жизней. Но он-то, мерзкий Похабыч, жив. По крайней мере был. И устроил эту бойню, из-за которой землю покрыл не снег — пепел. От миллионов человеческих душ. Потому что Гребнев не исполнил предназначенную ему свыше роль. Не выплеснул его с водой. Хотя и знал, что будет. Не в деталях, но знал. И то знал, пусть и косвенно, что младенец, которому уготовано стать монстром, занимает чужое место. Если даже его мать не признавала сына, пусть в том почти не сомневалась принимавшая роды Кира. Но Игорь-то видел. И знал. Но не сумел…

В общем же, сон ещё хоть и не оборвался, но подвёл Гребнева к выводу, не совсем такому, как могло ожидаться. Вывод был прост и сложен одновременно.

Нет никакой загадочной русской души. А то, что под неё маскируется, используя приёмы и методы фашистской пропаганды, загадило всё вокруг, превратило в безжизненную пустыню. И изгадило отношения со всем окружающим миром. В котором, как Гребнев надеялся, осталась его дочь. Если выжила.

Откуда взяться русской душе, такой возвышенной, как её воспевали! При одном диктаторе миллионы писали доносы. При следующем — безропотно шли убивать. И убивали! А сами падали на колени: правь, нами, сирыми и

убогими, великий карлик! И несли ему на заклание своих детей. Даже не рождённых. Как их с Кирой ребёнок…

Игорь во сне потянулся обнять Киру, чьё дыхание уловил рядом с собой. Нащупал тёплое тело, коснулся груди. И тут же проснулся, внезапно вспомнив пустую, наполовину разгромленную квартиру, в которой и следа его Киры не осталось. И его следа тоже, хотя они и прожили там вместе несколько месяцев.

А сейчас Киры не могло быть рядом. В давно остывшей машине. Намертво застывшей в паре метров от наполовину разрушенной часовни. В память о ком-то там. Но явно не по убиенным в братоубийственной войне.

— Простите, — буркнул Игорь, заметив, что его движение и нечаянная ласка тоже не остались незамеченными. На соседнем кресле проснулась Нина. В такой же, как и он, позе. С той лишь разницей, что его рука была на её груди, а её — гладила его руку. Вроде как удерживая.

«Давно ли она проснулась?», — подумал Гребнев, но тут же и забыл о своих сомнениях и не совсем чистых помыслах.

Изнутри по стёклам машины ползли ручейки влаги от их дыхания. Снаружи внедорожник присыпало снежком. И в машине стало темно. Интимно так…

— Надо ехать, пока нас совсем не занесло, — не очень уверенно проговорил, он, поднимая спинку сиденья.

— И куда мы поедем? — всё ещё немного сонным голосом спросила Нина, тоже принимая вертикальное положение и никак не вспоминая несвоевременные ласки. Которые к тому же и не задались.

— В Москве у меня квартира, — не без сомнения, сказал Игорь, и коснулся кнопки пуска двигателя.

Квартира может и есть, но кто его там ждёт? Или это уже не имеет значения? Ведь и прошлого уже нет…

10

— Вы во сне звали кого-то, — в пути первой нарушила молчание Нина, тронув себя за грудь. Словно вспоминая невольное прикосновение Игоря. И прощая ему его вольности.

— Мне некого звать, я один, — не отрывая взгляд от дороги, которую быстро заносило снегом, буркнул Гребнев.

Мусёнка. Мелкий зернистый снег покрывал всё вокруг. Стучал в стёкла. Бился о крышу. Укачивал монотонностью. Но Игорь тёр глаза, и продолжал вглядываться в подступающую ночь. Долго они проспали. Да и короток зимний день…

— А кто такая Кира?

— Это было очень давно. Вы тогда ещё и не родились, скорее всего. Да и я тоже.

— Это ж как же понимать?

— Да так же, как и минувшие за одну ночь десять лет…

Нина помолчала. Однако, похоже, она уже устала молчать. И вновь подступила с вопросами.

— Вот приедем к вам. И что дальше?

— А я откуда знаю? Даже не знаю приедем ли. И куда. Для меня ведь прошло куда больше десяти лет.

Нина, вместо того чтоб удивиться, насупилась и ушла в себя. А Гребнев и без того был не расположен вести беседы. Будущее было куда туманнее, чем выводы из ошибок. Его ошибок. Не сделал он то, что от него ждало мироздание. Уж как только оно ему не помогало… А он всё испортил…

— Мене, мене, текел, уфарсин, — неожиданно для самого себя, выдал он сквозь зубы.

Нина дёрнулась, как от удара, медленно повернула к нему голову.

В широко распахнутых глазах был ужас. Не тот, летящий на крыльях ночи. А ужас непонимания. Под свалявшимися во время сна прядями волос, белело испуганное лицо. И Гребневу некуда было деваться, как только рассказать обо всём. Стараясь вести рассказ складно, по прямой, хотя это и было почти невозможно. Ввиду отсутствия линейного сюжета. Ведь сколько раз его бросало между прошлым и будущим, не особо заботясь о том, чтоб вернуть в исходную точку. И продолжить от неё…

— Видите ли, Ниночка, жизнь такая штука… Мало того, что мы не знаем своё будущее. Так ещё и прошлое никогда не бывает однозначным.

— Как это? — выдохнула женщина, во все глаза всматриваясь в своего спутника. Да что там — в своего повелителя. Ведь она была в полной его власти. И то, что он ещё не воспользовался этой властью над ней, здесь, посреди пустынной дороги, если не считать за чьё-то присутствие обломки машин вдоль обочин, ничего не значило.

— На мой взгляд… Ну, просто потому что меня так этой жизнью било… Так вот, по-моему, жизнь — это череда возможностей. Которые возникают в каждое мгновение бытия. Не каждую секунду, а куда чаще. Да, это мы принимаем решения. Но мы не властны в том, чтобы изменить путь, по которому пойдём. Ступив на него, мы предопределяем его конец. Однако сам будет меняться в каждое мгновение, покуда мы будем по нему идти. Там поскользнулись, тут споткнулись. А после галопом понеслись. Это в нашей власти. Но никак не влияет на конец пути. Который предопределён. С этого мгновения. Но в следующее он уже будет иным! Если я сейчас остановлюсь среди этой снежной замяти, то дальше у нас всё сложится совсем иначе, чем если бы я нажал на газ. Потому что, ну, к примеру, мы могли бы влететь в яму, — машину

тут же ощутимо тряхнуло, но это была ещё не яма, так, трещина в асфальте. — Или налететь на минное поле. А уснув в остывающей машине, никогда бы не подорвались на мине. Это, конечно, грубое, упрощённое представление. Потому как будущее не меняется так медленно. Это ж замедленная съёмка какая-то получается. А жизнь несётся вскачь. И мы даже не осознаём, как в каждое следующее мгновение движемся уже в ином мире. Не направлении, а именно мире. Потому что невозможно изменить настоящее. Но можно уйти в иной мир. Лучше он будет или хуже, знать нам не дано. Да и нашего желания в тот или иной мир уйти нас никто не спрашивает. Даже парашютист в свободном падении может менять направление движения. По своему усмотрению. В пределах существующих законов — тяготения, сопротивления воздуха, ещё каких-то. Мы же не просто ограничены в выборе. У нас его вообще нет. Хотя и в пределах некоей свободы воли. Мы можем повернуть или остановиться. Но это ничего не значит. Потому как в мельчайшие мгновения наших действий миры многажды изменятся. И в каком мы окажемся… Но точно где-то будем. Пока не исчезнем.

— А мы исчезнем? — полушёпотом спросила Нина.

— Ну, разве что не насовсем…

Москва встретила путешественников ещё большей пустотой, чем их проводил Ярославль. Там хоть на выезде оказалось сразу две банды. Тут же, проехав пусть и по окраине, свернув с кольцевой, о том, чтобы увидеть свет, и речи быть не могло. На сколько хватало взгляда, Гребнев не заметил ни малейшего движения. Даже его признаков. Разве что деревья кланялись под налипшим мокрым снегом, шевелили ветками в такт порывам ветра. Их, деревьев, стало не в пример больше, чем помнилось Игорю по прежней жизни здесь. Зато дома уцелели. Пока. Его

дом тоже оказался на месте, и даже без разрушений. А на лавочке напротив подъезда маячила тень.

Проезду теперь, когда все машины оказались на обочинах дорог и жизни, внедорожник, доставивший Игоря с Ниной к дому, не мешал, где бы его ни бросить. И бензина в баке на самом донышке. Так что нечего переживать, что его сольют. Как это бывало в перестроечные годы. Всё равно ехать дальше некуда. А ведь бак был под завязку в начале пути. Очень много дефицитного топлива ушло на объезд рытвин и колдобин. Но зато теперь они были на месте. Так что место парковки Игорь выбирать не стал. Просто заглушил мотор. И первым выскочил на скользкий асфальт у дома. Чтобы тут же уставиться взглядом в черноту тени прямо напротив входа.

Уж не та ли это девица, что засекла его приход в прошлый раз? Но больно грузна…

— Добрый вечер, баба Тоня, — Игорь не стал даже пытаться вспоминать имя-отчество соседки. Выпалил так, как её называли за глаза.

— Ой, Игорёк, никак вернулся! А я уж и не чаяла тебя увидеть…

— С кем это вы разговариваете? — за спиной Гребнева Нина хлопнула дверцей машины, прервав едва начавшийся разговор.

Вглядевшись в темноту, Игорь понял свою ошибку. Не было никакой бабы Тони: за лавку зацепился большой чёрный пакет, в таких в былые годы мусор выносили. Но откуда тогда голос соседки? Ничуть не изменившийся с той поры, когда она ему о дочери рассказывала. Ведь не могли же слуховые галлюцинации совпасть со зрительными? Да ещё и так точно наложив звук на изображение…

Он не ответил Нине, сожалея, что беседа с соседкой оборвалась на полуслове. Пусть и было это хоть трижды наваждением. А ну как всё ж было правдой? Но, закинув

автоматы на плечо, Игорь ничем не выдал своего недовольства и зашагал к дому. Его попутчица, так и не дождавшись ответа, пошла следом.

Дверь в квартиру оказалась опечатана. Однако, когда Гребнев тронул ручку, замки оказались открыты. Но лента, оставленная службистами, опечатавшими его жильё, была целёхонька.

Это ж надо, до какой степени был запуган народ, чтобы десять лет обходить стороной клеймо, оставленное выходцами из спецслужб!

С одной стороны, то, что квартира уцелела, устояла перед мародёрами, которых не могло здесь не быть за минувшие годы, откровенно радовало. С другой же, показывало на сколько рабское сознание у его соплеменников. Даже теперь, когда прежний мир безвозвратно рухнул.

Конечно, он мог и ошибаться. Ведь могло так статься, что даже такого малого числа людей, как в Ярославле, не уцелело в столице. Над ней-то как раз и рванула ракета с вирусом, о котором рассказывал Молчанов. И если его поражающая способность оказалась более всеядной, и не был он так привередлив, как в провинции, то и выжило народу куда меньше. Если вообще выжил хоть кто-то. Чем и могла объясняться целостность его жилья. Но верить в это уже Игорю не хотелось. Тогда всё напрасно. И эта поездка, и попытка что-то исправить. Хотя он ещё и не знал как. Зная, что реальность не изменить. Разве что в ином времени…

— Проходите, я сейчас свечи найду, была у меня парочка где-то, — Игорь не пропустил вперёд, а позвал Нину за собой, толкнув незапертую дверь.

Его гостья долго не решалась пройти дальше порога, и свернула на кухню, следом за Гребневым.

Прежде чем зажечь свечи, он задёрнул шторы. Которые не были, конечно, светонепроницаемыми, но создавали видимость уюта.

— Присаживайтесь. Накормить не обещаю, даже холодным чаем не угощу. Консервы, должно быть, давно вздулись или вырастили в себе бациллы ботулизма. А макароны варить и не в чем, и неначем.

В подтверждение своих слов Игорь повернул ручку крана конфорки газовой плиты. Ни искры, ни огня. Тот же фокус он повторил с водопроводным краном — в раковину с высокого гусака не сорвалось ни капли воды, нутро водопровода давно иссохло. И даже шипения не раздалось, как обычно бывает, когда воду неожиданно перекрывают. Здесь её никто не перекрыл. Она просто закончилась. Полностью. Совсем. И уже давно. Ну и зачем он сюда приехал?

Умирать.

Если жить нет ради кого, не тратить же оставшиеся дни на благо молчановых и иже с ним, а других-то не было и нет, то какой смысл тянуть?

Так неожиданно даже для самого себя нашёл он ответ в своей голове. Но не стал его озвучивать для Нины.

— Вы не волнуйтесь, сейчас перекусим. Давно надо было, я как-то не подумала. Ведь у нас всё было. Всё, что дома не съели.

Женщина, поколебав пламя свечи, стоящей на столе, выставила рядом с ней пару судочков и баночек.

— Вот, вряд ли это испортилось. Хоть и прошло за ночь десять лет. Мы же не испортились, — сделала попытку пошутить Нина. И первой, не дожидаясь приглашения, опустилась за стол, по-хозяйски принялась тасовать снедь на столе: — Тарелки с вилками у вас есть, надеюсь? Я-то не брала, не сообразила…

Гребнев поставил на стол тарелки, из сервиза, которым пользовался только с приходом гостей. Пришлось смахнуть с них пыль, хотя и не видно её было при таком освещении. Но Игорь провёл грязной ладонью по холодному фарфору. А после ещё и полотенцем прошёлся. И только после этого сообразил, что было бы неплохо переодеться к столу.

— Я сейчас, — коротко бросил он, и уверенно, несмотря на темень, прошагал в свою комнату. Из которой и бежал отсюда.

В квартире не было беспорядка, который обычно оставляет обыск. Да и окно, через которое он сбежал от соглядатаев, оказалось кем-то заботливо прикрыто. Так что ни дожди, ни снега не проникали в его жилище за время его отсутствия. Зато он, выудив из шкафа футболку и блейзер, морщась от донимающей боли в груди, быстро переоделся и шагнул к тому самому окну, что стало его окном в новую жизнь. Жизнь в бегах.

Окно слегка запотело от его дыхания, а на отливе уже набрался приличный слой снега. Чистого, пушистого.

Открыв фрамугу, Игорь вначале сам протёр снегом руки, а потом, набрав горсть, вернулся на кухню:

— Вот, сойдёт вместо воды, руки помыть. На чай не хватит, придётся во двор спускаться, но это потом.

Пока Нина «мыла» снегом руки, Гребнев сходил за своими, фирменными, стаканами под виски. Которые доставал в исключительных случаях. Сейчас и был как раз такой случай.

Прихватив бутылку, початую тем самым вечером, когда он, чтобы выжить, вынужден был бежать, Игорь вернулся через тёмный коридор на кухню. И только там разглядел свою добычу.

За годы, проведённые в книжном шкафу — именно там у Гребнева был бар, импровизированный, виски в

бутылке стало немного меньше, чем он оставил. Как ему показалось. Хотя вряд ли кто-то отпил его излюбленный напиток. Пробка, конечно, подогнана плотно, но вискарик всё же частично испарился. Ну и пусть. Не весь же. Зато крепче стал.

— Надеюсь, те, кто сюда приходил в поисках меня, не отравили благородный напиток, — отчего-то шёпотом сказал Гребнев, плеснув янтарной жидкости на два пальца в стаканы. — Не спрашиваю, пьёте ли вы виски, потому как ничего другого предложить не могу. А продезинфицировать организм надо. На брудершафт? — добавил он уже чуть громче.

— Это чтоб потом с поцелуями? — судя по голосу, засмущалась Нина.

— Это потом как пожелаете. Но мы едва ли не последние люди на Земле.

— На всей? — Нина ужаснулась.

— Нет, надеюсь. У меня дочка там, далеко отсюда, — он неопределённо махнул куда-то рукой, отчего по стенам побежали тени. — Хотелось бы, чтоб она выжила.

Игорь запоздало понял, что причиняет боль Нине, недавно потерявшей сына. И вряд ли смирившейся с утратой. И постарался исправиться:

— Ладно, на брудершафт ещё успеем. Давайте за мир во всём мире. Чтоб жить в нём можно было, а не выживать. Ну и за конец истории. Истории этого мира, которому уже не стать лучше. Лучшим пусть станет новый дивный мир, — закончил Игорь некогда слышанной фразой. Где, когда — он не помнил. Да это и неважно было.

Не дожидаясь, чтоб Нина его поддержала, Гребнев опрокинул в себя содержимое стакана. Залпом, не растягивая удовольствие.

Наливал он экономно. Хотя и не рассчитывал надолго растянуть единственную бутылку, другие ещё

поискать придётся. Это к нему в квартиру никто не влез, а вот по магазинам, если кто-то уцелел, точно пошарили — голод не тётка...

Глоток горячительной жидкости животворным огнём пронёсся по пищеводу, оставляя за собой расплавленный след янтарной лавы и мгновенно согревая. Особенно кончики пальцев, всё ещё немевшие после снега, которым он руки оттирал. А после в горсти нёс Нине. Которая последовала его примеру и тоже выпила залпом.

— Ещё? — Гребнев поставил свой стакан и потянулся за бутылкой.

И тут у него в груди полыхнуло огнём. Не согревающим жаром, а всепоглощающим пламенем.

«Неужто всё ж подсыпали яду в бутылку?» — вспыхнула в мозгу запоздалая мысль.

В следующую секунду, схватившись за грудь, он начал медленно оседать.

Гребнев ещё слышал, как Нина вскрикнула. Но больше уже ничего не чувствовал. Ни ног, которые его не держали. Ни рук, потянувшихся за бутылкой, где ещё оставалось на пару глотков золотистой жидкости.

Он рухнул на пол, задев ногой стол, на котором ходуном заходили тарелки со снедью и забегали, засуетились по стенам тени от потревоженной свечи. И тут же исчезли, когда свеча погасла. Но на глянцевом натяжном потолке в серости тёмной кухни отразился чуть более светлый прямоугольник окна. И уже в нём, где-то на самой окраине периферического зрения мелькнул жёлтый огонёк. Такой же, как был у только что погасшей свечи. Только очень далёкий.

В тот же миг занавес, уже долгое время висевший над глазами, давивший на них всем своим весом, резко упал. И всё померкло…

Предисловие к эпилогу

«23 декабря 2000 года. Дежурство принял врач первой категории Д.С. Бордачёв».

Дмитрий Сергеевич, плотный, улыбчивый крепыш сорока неполных лет, но с уже намечающейся от висков плешью, с доброй завистью оценил каллиграфический почерк, которым была сделана запись в книге-приёма сдачи дежурств. Это не его вечная кривая, с пиками и впадинами вместо пробелов между словами, которая вилась по странице без отрыва пера от бумаги.

Впрочем, у него-то и пера не было, так, шариковый ширпотреб. Это всё Вера, Верочка Чурилкова, старшая медсестра отделения экстренной помощи. Это она писала вечным пером — китайской авторучкой с настоящим золотым колпачком. И с таким же золотым пером. Она была девушкой со статусом, не то, что Дима, хоть и прожил он в полтора раза больше. А добилась большего — Вера. Пусть и не в должностях, не в них же дело. Но у неё всё и всегда складывалось куда лучше, чем у доктора, формально бывшего её начальником.

У Веры было всё. Ну или почти всё. Включая самого Бордачёва. Так что ей можно было пробавляться и с золотым пером. Тем более, что буквы у неё, написанные такой ручкой, получались округлыми, с нажимом там, где нужно, и тонкими соединительными нитями. Как учили ещё в первом классе, отрабатывая уроки каллиграфии в тетрадях в косую линейку.

Дима, как в любовных утехах звала его Вера, уже тогда отличался неумением красиво писать. Вот и пошёл в доктора. А его тайная подруга, хотя это они так думали, что связь их тайная, пришла в профессию куда позже. Испробовав себя в других — родительская поддержка позволяла экспериментировать. В том числе и там, где почерк как раз был важен. Она, несмотря на статусность

родителей, некоторое время даже чертёжницей отработала. И только с третьей попытки, чтоб не прибегать к протекции, пробилась в медучилище. Да и то далеко от Москвы. При этом будучи коренной москвичкой. Благо там, в российских ебенях, с сортиром на улице и без водопровода, родня оказалась. И у неё не было нужды в общаге, вот и приняли даже с оценками ниже средненьких. Но выучилась. И только потом, значительно позже прибилась к своему Диме, который уже третий год к тому времени работал в президентской, как её называли в обиходе, больнице. Хотя президентов там не лечили. Не то бы даже не они, а их министры на местных харчах и среди плесени в коридорах и умывальниках не выжили. Врачи были хорошими, а вот условия…

Бордачёв, хоть и пользовался благами столичной Вериной прописки — родители оставили ей, а не сестре бабушкину квартиру, не спешил брать её в жёны. Говорил, что устал от прежних семейных уз. Да, он развёлся официально, хотя это и могло сказаться на продвижении по службе — его вызывали в партком, но обошлось. У него был особый случай. И все об этом знали. Да и специалист он был из лучших. Но, протянув в браке десяток лет, он всё-таки решился поставить точку. Чтоб Вера даже не сомневалась в серьёзности их отношений, тянувшихся уже не первый год. Так он говорил. В самом начале их тайной порочной связи. Когда он только заманивал её в постель, ещё будучи женатым. В ту пору нравы уже стали свободнее, и никто никого не песочил на партсобраниях за внебрачные отношения. За развод ещё могли укорить, ведь рушилась ячейка общества, статистика портилась. А вот на связь без брака уже смотрели сквозь пальцы. Лет десять как. Да только слышала Вера, что Дима о своём разводе, как о первой ступеньке к будущей семье, и новой докторше из своей смены говорил. Та, чуть постарше Веры,

но весьма импозантная, с изящной фигурой манекенщицы, пришла к ним недавно. Но Диме пока не дала. А уж он как только не увивался вокруг неё… Пока Вера не сказала своё слово. Веское, как она считала. Пообещав отлучить не только от постели, но и от крыши над головой. На это он, конечно, плевать при случае хотел, уже успел поскитаться по съёмным комнатушкам. Но пока был с ней. И при ней — в её однокомнатной квартире на окраине Москвы. И по выходным гулять они вместе ходили, и спать ложились в одну постель. А вот дальше — как отрезало.

Вера, впрочем, не унывала и не сдавалась. На её стороне молодость. Незаменимость в отделении. И дома — в быту. Ходил бы её Дима наглаженным, если бы не она. То же, что до сих пор не представил её коллегам как невесту, она потерпит. Пока.

Сам Дмитрий Сергеевич был уверен, что расставленные Верой брачные силки он благополучно минует. И второй раз под венец не пойдёт, несмотря на все её ухищрения. Он даже упредил разговор о возможной случайной беременности, заявив, что, дескать, не Рокфеллер, наследовать у него нечего, поэтому в наследниках нужды не видит. Детей же не любит. Ему, мол, хватило опыта в первом браке, ещё студенческом. И есть риск повторения трагедии…

Там вообще история была такая, что действительно только жалость вызывала. К Диме, конечно. Ребёнок родился с массой врождённых пороков, и протянул недолго. Так что даже Вера сочувствовала своему любовнику, на словах бравшему вину на себя за такую ошибку деторождения. И действительно подумывала, что Дима мог быть причиной тому, что ребёнок таким родился. Поэтому и не заводила разговоров о детях. Хотя сам Бордачёв точно знал: дело было в его жене. Гены. И далеко не первый

случай в её роду, он сам проверил, полез в архивы, хотя и было это непросто.

Отец его жены, как выяснилось, был участником секретных ядерных учений. На Тоцком полигоне проходили такие ещё до рождения Бордачёва. Там бомбу атомную взорвали едва ли не над головами солдатиков. Не оловянных — живых. Не то чтоб только в СССР так не жалели своих людей, но что кивать на других, когда своим досталось. Тем, кто маршировал через эпицентр ядерного взрыва. Солдатам что, приказали, они и пошли. Тесть Бордачёва был на учениях уже комбатом. Новоиспечённый майор, он примерно понимал, что происходит. Но приказ и для него был приказом. Зато потом…

Супруга Димы по молодости лет на недомогания не оглядывалась, хотя и болела регулярно, с самого рождения. Ну так тогда многие дети болели. Даже без ядерного следа в биографии. Но, поступив в мед и даже начиная понимать природу своих болячек, она старалась жить, как все. А рассыпаться начала после смерти первенца. Который родился с двухкамерным сердцем. Как рыбка. Только не золотая. И до года едва дотянул. Тот год для вчерашних студентов-медиков, едва простившихся с альма-матер, оказался невыносимым. Даже при помощи родителей Татьяны — Бордачёву не на кого было рассчитывать, мать одна, в деревне…

Тогда-то и пробежала меж ними первая трещинка. Не исключено, правда, что Дима просто купился на московскую прописку, и не было никакой большой любви. Да только испытания болезнью и смертью ребёнка в любом случае он не прошёл. Вот после этого Татьяна и слегла. А Дима в исследования ударился. Так и выяснил, что всё случилось благодаря тестю. Старшая дочь которого ещё раньше, подростком, преставилась, но о ней в семье старались не вспоминать. Но пришлось напомнить. Да и сам

отставной полковник уже на ладан дышал. И свою вину перед смертью признал. Мол, всё было ради доказательства силы русского духа. Дух-то, может, и был силён… Но плоть живёт по иным законам. Вот она и не вынесла. Накопленные под радиоактивным облаком гамма и прочие альфа с бетой частицы, невидимые и безжалостные, не только под корень выкосили семью, но и по нерождённым поколениям ударили...

Бордачёв по бабам бегал, но больную Татьяну долго не бросал. Она сама дала ему вольную: так, мол, и так, Дима, устала я от твоих похождений. Но понимаю, ты здоров, а я — обуза. Так что давай по-хорошему расстанемся…

Не знавшая этого Вера, восхитилась бы, наверное, — не всякая женщина отступится от мужика, понимая, что в тягость ему. И себе, прежде всего. Но Татьяна, то ли смерть свою близкую чувствуя, то ли вину отца осознавая в случившемся, рисковать и заводить ещё одного ребёнка, чтобы удержать мужа, не стала. А через полгода после развода тихо ушла. Так, что даже Бордачёв узнал только через неделю после её смерти. И был он теперь абсолютно свободен. Но и Вера не спешила окончательно брать его в оборот. Не то чтоб её всё устраивало. Но своим женским умом она понимала, что может сделать только хуже. Уж больно любвеобилен её Дима. Хоть и старше на восемь лет.

Мысли о запутанных отношениях с Веркой, как он её называл в периоды раздражения или гнева, оставили Дмитрия Сергеевича, когда пришло время ставить свою подпись в книге приёма и сдачи дежурства. А он ещё даже не поинтересовался делами в отделении. Хотя заступающая бригада в полном составе уже толкалась у сестринского поста, а сдающая потихоньку разоблачалась из поношенных халатов, готовясь разбежаться по домам.

— И что вы мне подсунули? — добродушно буркнул Бордачёв, окидывая взглядом разделённую надвое стеной палату. В которой только одна койка и была занята этим утром. Как раз напротив поста.

Его предшественник, предпенсионного возраста, сгорбленный и уставший после суток дежурства, отрешённо кивнул в сторону этой кровати, для убедительности вскинув, указывая туда же, подрагивающую руку:

— Вот, Димочка, всё что осталось… И все… Да и он всю ночь с кем-то воевал. Остальных мы благополучно перевели через Калинов мост. Миновали, так сказать, реку Смородину… Дальше — сами. Кто что заслужил при жизни…

— Владимир Петрович, что ж вы так… Не узнаю… То вы за всех всегда бились, а тут столько сдали. И только за одну ночь… Что, неужто всю дюжину?

— Не, двое умерли до нас.

Статистику отделения такая смертность не украсит, подумал Бордачёв, и мысленно добавил: «Хорошо, что не в мою смену».

Дмитрий Сергеевич очень был неравнодушен к своей репутации. Доктора от бога. Как его звали и больные, и коллеги. Особенно те, что помладше. С Веры начиная.

Он уже занёс свою копеечную ручку, чтобы размашисто расписаться, когда на стареньком мониторе над единственной занятой кроватью что-то пискнуло, и по экрану побежали всплески кардиограммы. Да так густо, размашисто…

— О, и этот отходит, — почти равнодушно пробормотал себе под нос Владимир Петрович.

Бордачёв уронил ручку на журнал, рывком выбросил своё, пока ещё не расплывшееся на домашних харчах, тело из-за стола. Одним прыжком он преодолел три метра

до кровати, успев попутно разобрать неровные буквы, выведенные дрожащей рукой Петровича на прикроватной табличке — тот всегда сам фамилии пациентов вписывал.

Чудна́я какая фамилия, — подумалось Дмитрию. Требнев. Это от трепла, что ли? Или любитель требовать чего-то? Но фамилия фамилией, а думать нужно было о другом. Как обладателя этой фамилии вернуть к жизни. Независимо от того, трепло он или нет. Димин черёд не показать себя треплом.

— Желудочковая фибрилляция! — Дима, Дмитрий Сергеевич заорал так, словно все вокруг куда-то далеко разбежались. И будто они сами не видели, что на мониторе сплошной частокол пиков и провалов между ними. Словно это почерком Бордачёва черканули по экрану, ставя диагноз. — Дефибриллятор!

— Так нет его, — Владимир Петрович отрешённо в спину Бордачёву, склонившемуся над больным, бросил слова, и пояснил: — Намедни в ремонт взяли…

— Как нет! Верка, блять, что за дела? Где второй?

— Так он давно сломан, ремонту не подлежит…

Вера, которую словно по щекам отхлестали безжалостным «Верка» с добавлением непечатной лексики, промямлила нечто в своё оправдание и зашлась румянцем. Но тут же пообещала себе, что не простит этого Димке. Ладно бы дома, в постели, когда они непотребствами всякими пробавлялись, и Дима на её выкрутасы порой говорил: «Ну ты, Верка, и блядь». Так пусть бы поискал другую такую, доступную и изобретательную. От которой исходил соками от удовольствия. Но тут, на работе…

Вот только сейчас было не до выяснения отношений. Да и Бордачёв сбил с мысли резкими командами:

— Голову ему откинь! Назад, назад откинь! И рот открой! Челюсть нижнюю выдвини и так держи!

Пусть и была это не её обязанность, в смене была другая медсестра, более умелая, но Бордачёв ей приказывал, и Вера повиновалась. Безропотно. И всецело. Как отдавалась ему в постели. Но там с выдумкой, а тут — как сказано.

— Кислород! Кто, блять, кислород несёт?

По палате зашаркали, зашуршали ноги, застывшие мгновение назад в немом ожидании неминуемого. Сразу обе дежурных смены пришли в движение, вспомнив кто и что должен делать в таких случаях.

Сам Бордачёв, не дожидаясь кислородной подушки, начал ритмично нажимать на грудь мужчины, распластанного на кровати и едва прикрытого грязной, в каких-то оранжевых разводах простыней.

— Раз, два… пять… Тридцать! Вдох!

— Нет кислорода, — кисло констатировал Владимир Петрович, единственный, кто не участвовал в спасательной суете. — Давай, Вера, рот в рот…

Чурилкова, вскинув свою головку в белом чепчике, только скользнула взглядом по Диме, не отрывавшемся от непрямого массажа сердца. Он в такт ритмичным нажатиям тряс над больным остатками своего чуба, свалившегося на лоб из зачёса назад. Волосы любвеобильность Бордачёва не приняли, и он уже расставался с шевелюрой, кое-как прикрывая следы былых излишеств. Но Вера любила его и таким. А сама в точности исполнила команду Петровича. Формально он был самым опытным. Как самый старший. Но бразды правления в отделении Бордачёв давно перетянул на себя. И не только сегодня.

Дима был лучшим. Как специалист. Это все признавали. Но сейчас отданная команда была, верной, Бордачёв не возразил, и Вера, как учили, пыталась вдохнуть жизнь в опавшие лёгкие умирающего на больничной койке.

— Раз, два… пять…

Бордачёв продолжал считать, нажимая на грудь. Но время и жизнь больного безжалостно утекали сквозь его пальцы, уже покрасневшие от натуги.

— Адреналин! Хоть это-то у нас есть? — выкрикнул Дмитрий Сергеевич, продолжая массаж.

Тут же за его спиной мелькнула тень в белом халате и появилась рука со шприцем.

— Четвертый межреберный промежуток, отступ от края грудины на полсантиметра, — словно на экзамене, подсказала медсестра. Та самая, что должна была делать искусственное дыхание, если следовать должностной инструкции дежурной смены. Но сейчас она, предвосхитив вводную, протягивала шприц с длинной иглой. Подготовила раньше, чем потребовали. Ну что скажешь — выучка. И опыт.

Дмитрий Сергеевич, даже не глянув на подсказчицу, дрожащими пальцами левой руки отсчитал рёбра. И с силой вонзил шприц в бледную кожу. Нажал, вдавливая иглу в тело. Неподатливое, словно каучук.

— Есть провал, — прошептал он пересохшими губами мгновение спустя, ощутив, что после плотных слоёв игла ухнула в пустоту. На чуток. И вновь во что-то упёрлась. Тогда-то он и нажал на поршень.

Наблюдавшие за реанимационными процедурами остальные члены бригад, которым не нашлось пока занятий, увидели, что в шприц тонкой струйкой влилась кровь. И дружно перевели дух — всё получилось. Что и подтвердила мгновение спустя появившаяся на мониторе синусоида.

Бордачёв устало выпрямился.

— Ну вот, а то хотели смену с покойника начать…

Дмитрий Сергеевич снисходительно похлопал больного по щекам, к которым приливал розовый цвет, вытесняя мертвенную серость.

— Ну-с, откройте глаза, уважаемый…

— Больно, — не поднимая век, прошелестели пересохшие губы человека, ставшего проявляться, как фото в ванночке с проявителем, на серой постели.

— Где болит?

До прозрачности серая рука неловко приподнялась над телом, и тут же рухнула на грудь.

— Ах, ну да. Сломано пара рёбер, ничего страшного. В сравнении с тем, что могло быть.

…После полудня, оставшись только своей сменой и приняв по скорой пятерых тяжёлых и не совсем адекватных в таком состоянии пациентов, они собрались за столом обедать — когда возникла пауза, тогда и сели, к вечеру могло и минуты не появиться свободной. Обедали тем, что каждый с собой принёс, не особо вглядываясь в тарелки соседа. Но даже если бы и всмотрелись, никто и не подумал бы ляпнуть, что опять, мол, у Дмитрия Сергеевича вкус с Вериным совпал. Только у них двоих был одинаковый обед в стеклянных банках, закрытых пластиковыми крышками. Эта шутка могла бы ещё вызвать интерес новенькой докторши. Но и её уже просветили, да и Дима к ней подкатывать перестал. Не то чтоб охладел. Ему нужно было подумать о кресле заведующего, а не размениваться на отказывающих в близости баб. По крайней мере, сейчас. Так что за обедом всё было чинно и спокойно. Пока в дверь палаты не постучали. Не из коридора, а со стороны лестницы, ведущей в подземный переход между корпусами.

Бордачёв недовольно оглянулся на звук.

— Кого это принесло?

— Никто не звонил, — пожимая плечами, подхватилась со своего места Верочка. Обычно этот вход был заперт на ключ, и желающие пройти этим путём, а не через приёмный покой звонили заранее. А тут действительно кого-то принесло.

Вера так рьяно кинулась к двери потому, что Дима перед ней за мат извинился. При всех. Пусть и выговорил строго по поводу контроля за материальным обеспечением. Ведь в смену они вошли без какой бы то ни было реанимационной техники. И даже пришлось перенаправить первую бригаду скорой в другую больницу — нечего, мол, к нам везти, лечить нечем. Но это удалось днём, ночью такой номер не пройдёт. И тогда — пропала статистика. Как и молва о том, что Дмитрий Сергеевич Бордачёв вытягивает даже самых тяжёлых.

— Это вас, — кивнула Вера в сторону двери, вновь усаживаясь на своё место. — Лично…

Бордачёв отложил ложку, которой выгребал из банки остатки остывших и слипшихся макарон с волокнами мяса, недовольно зыркнул на Веру, но ничего не сказал. Поднялся, отставив не без сожаления банку, в которой ещё осталось несколько серых волокон. Потом. И доест, и Вере выскажет. Когда разберётся. С тем, кого принесла нелёгкая.

— Дмитрий Сергеевич?

За порогом, на лестничной площадке стоял тощий мужик в тяжелом габардиновом плаще, затянутом на талии матерчатым поясом. Не только не по моде, но и не по погоде — за окном декабрь, мороз и солнце. Под которым тонкий бежевый плащ и кепка на голове визитёра должны были выглядеть нелепо на фоне сугробов.

— Чем обязан? — вскинул голову Бордачёв, нутром чуя неприятности.

Его небольшой, всего двухгодичный опыт службы в армии подсказывал: человек в плаще — куда хуже замполита, поймавшего Диму с бутылкой водки для старослужащих под новый год.

«О, как давно это было!», — со сладкой истомой внутренне потянулся Дима, прикинув, что то происшествие случилось примерно в эти же дни, в самый канун рождества. Католического. О котором тогда и не знал почти никто. Двадцать лет почти прошло! А вот чувства сохранились.

Неприязни. И неприятия. Что замполита. Что этого носатого.

Нос над габардиновым плащом действительно был знатным. Не орлиным, конечно. Так и пришелец не был джигитом. Да и кепка его была явно не кавказская. Но какая-то нерусская — с ушами, завёрнутыми наверх, как у шапки-ушанки.

И всё же главным был нос.

Маленький, с выдавленным книзу кончиком меж двух приплюснутых ноздрей. На широком лице под близко посаженными глазам. Глубоко утопленными в глазницах в ореоле то ли мешков под ними, то ли фингалов.

Этот нос вкупе с приплюснутым снизу подбородком делал лицо незнакомца похожим на сову. Ни дать, ни взять — филин на жёрдочке из плечиков плаща. Только филин был бы во весь рост такой, а у этого — только морда лица совиная. И взгляд — немигающий. Со зрачком, по краю которого шла тёмно-коричневая канва, а между ней и чёрным центром — россыпь серебристо-зелёных мушек.

Хищник, отчего-то подумалось Диме в довесок к воспоминаниям о замполите, который втолкнул его, солдата-первогодка в кабинет особиста, да и «колол» там,

пока Бордачёв всех, кто послал его за водкой, не сдал. За что ему потом было не только стыдно, но и больно — такие вещи в солдатской среде не прощают. А если и смывают такой грех, так только кровью. И Дима не раз умывался ею. Но всё пережил. Сохранив только стойкую неприязнь. И к партийным начальникам, и пособлявшим им моральным импотентам из особого отдела.

Уже только это настроило Дмитрия Сергеевича на непримиримый лад: что бы этот хмырь ни просил — хрен ему в дышло.

— Разговор наш сугубо конфиденциальный, — начал носатый, подтвердив все самые неприятные предположения Бордачёва.

— Давайте без предисловий, — оборвал визитёра Дима. — У меня дежурство…

— Ну, как хотите. Моё дело предупредить. Так вот… У вас в отделении должен быть пациент… Гребнев…

— Не припомню такого, — буркнул Бордачёв, мысленно перебирая всех больных за последнее время.

— Ну как же… Вчера поступил…

Дмитрий собрался было и дальше в несознанку играть, да тут до него некстати дошло. Требнев. Это Владимир Петрович так начёркал, добавил дрожащей рукой лишнюю палочку к букве Г. Или просто двойную провёл, выравнивая. А ещё одной, чтоб это действительно стала буква Т, не хватило. Но мозг Димы самовольно её подставил. Когда прочтение не задалось.

— Ах, этот, — даже не пытаясь изображать, что случайно вспомнил, Дмитрий ладонью отёр рот. Словно стеснялся сказанного. Или потому что была сказана заведомая ложь. Но это была правда. Он действительно только в этот миг осознал, что день начал с того, что спас больного по фамилии Гребнев.

Пока Бордачёв плавал по волнам своей памяти, у него перед носом раскрылся оранжево-красный бутон служебных корочек, бежевое нутро которых украшал меч со звездой на щите.

— Дмитрий Сергеевич, вы уж там не усердствуйте особо, пожалейте себя. Пациент и так скорее мёртв, чем жив. Так и должно остаться.

Сова над подкладками плеч плаща сверкнула глазами, дёрнула носом-клювиком, выплюнула гузкой губ слова. Не рекомендации — приказа.

— Это дело даже не государственной важности. Берите выше. Дело жизни и смерти. Быть может, даже самого мироздания. Понимаю, вы давали клятву, этого… Герострата, нет, Гиппократа… Но есть дела поважнее каких-то клятв заморским божкам. Так что, надеюсь, вы поняли. Этот товарищ… Который нам совсем не товарищ… В общем, не должен он пойти на поправку. В любом случае.

Бордачёв запоздало попытался вглядеться в корочки, но щит с мечом уже исчезли. Так что прочесть имя с фамилией он не успел — корочки захлопнулись.

— Я чёт не понял… Как вас там… Вы что же, предлагаете мне убить больного? Так я богам ничего не обещал. Я клятву советского врача давал. И должен лечить, а не калечить. Это, может, у вас по-другому. А в моей профессии только так. Так что вы не по адресу.

Голос он невольно повысил, но на площадке, да и на всех пролётах лестницы до самого подвального перехода между корпусами никого не было.

— Ну зачем же так…

Совиная морда, будь такая возможность, совершила бы полный оборот, озираясь в поисках невольных свидетелей их перепалки. Но, будучи на человеческих плечах, ограничилась только тем, что оглянулась по сторонам.

— Он и сам умрёт, даю вам слово. Вам же нужно только не пытаться его спасать. Героизма, главное, не надо. И всё. Когда придёт эта роковая минута. Для него… Это мой вам совет. Для вашего же блага.

— Вы мне угрожаете?

— Дмитрий Сергеевич, я лишь прошу о снисхождении. К больному. Как в древнем мире… Знаете, там ещё в армии Македонского безнадёжно раненым помогали избежать предсмертных мук. Так и называлось — удар милосердия… Для этого даже специальный кинжал был. Может, слышали? Мизерикордия…

— Слушайте… Шли бы вы отсюда… С вашим милосердием… От такого милосердия сердце в предсмертной судороге заходится. А мне ещё сутки работать. Да и потом… Не нуждается ваш больной в милосердии. Тем более в таком.

— Неужто отмучился? — внезапно чуть ли не радостно вскинулся человек-сова.

— Хуже. Намного хуже. Для вас хуже. Будет он жить. И, надеюсь, жить долго. Вот где мироздание явило милость свою. После того, как я, вот этими руками вытащил вашего умирающего из холодных вод Стикса. Слышали про такую речушку? А вы мне предлагаете его обратно туда макнуть. И ждать, пока он потонет…

Надставленные плечи в плаще внезапно поникли. С губ, сложенных гузочкой, сорвались не слова — клёкот. Глаза же, как показалось Дмитрию, завращались в глазницах.

Бордачёв попытался разобрать, что там тужится выдавить из себя пришелец с корочками. Но не успел.

На бледном лице, половину которого занимали синюшные подглазья, делавшие его похожим на сову, натянутую на глобус, полыхнула ничем не прикрытая ярость. И тут же Дима получил жестокий удар кулаком в

солнечное сплетение. А в следующее мгновение его, переломившегося от боли пополам, подтянули к периллам, ограждавшим площадку над провалом лестниц, уходившим вниз на три этажа.

Он ещё пытался уцепиться скрюченными от боли пальцами в ограждение. Но его ноги уже были выше перилл.

На крик ему не хватило воздуха — удар вышиб его из груди напрочь. Поэтому летел Бордачёв молча. До самого дна лестничного колодца. В последнее мгновение жизни осознав: прожил он её не зря. Если опасный таким совам человек выжил…

Постскриптум

…Из громыхающего вагона пригородного поезда, отправившегося от Балтийского вокзала, за серой громадой которого остались все его потери, Игорь перешёл в другой, ближе к голове состава. Он надеялся, что следующей остановкой будет его Ховрино, в Москве. Но пока это был вагон из прошлого. И Гребнев вышел в тамбур, из которого собрался сделать шаг над межвременной пропастью.

Но прежде, чем он дотянулся до ручки межвагонной двери, та распахнулась. И в тамбур буквально ввалилась пухленькая, пахнущая приёмным покоем больницы женщина. Девушка. В «плюшке», как она её называла.

Откуда он это мог знать? Оттуда же, откуда и девушку знал.

— Кира?! — вырвалось у Гребнева громче, чем заглушающий все звуки грохот колёс.

Вскинув голову, девушка, едва не осев прямо у двери, сверкнула безумно счастливым взглядом, озарившим сумрак тамбура…

— Игорь…

Слова застряли в горле, и Гребнев не услышал — по губам догадался, что она сказала. Но это не имело значения.

Потому что встреча означала одно.

Всё можно начать сначала. И свершить то, что предначертано. Раз уж даже Кира вернулась…

Конец второй книги.

Но это, не исключено, ещё не конец…